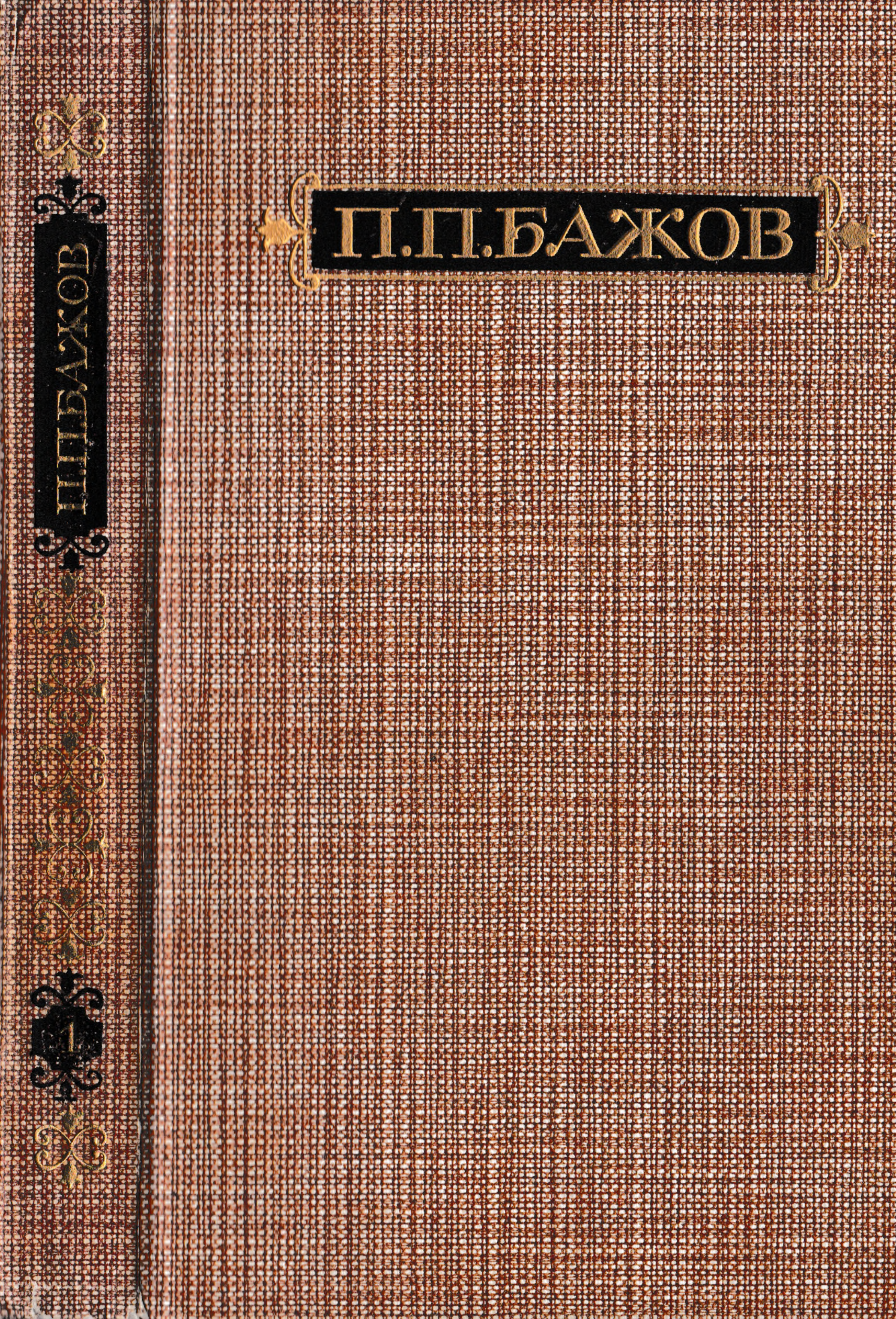
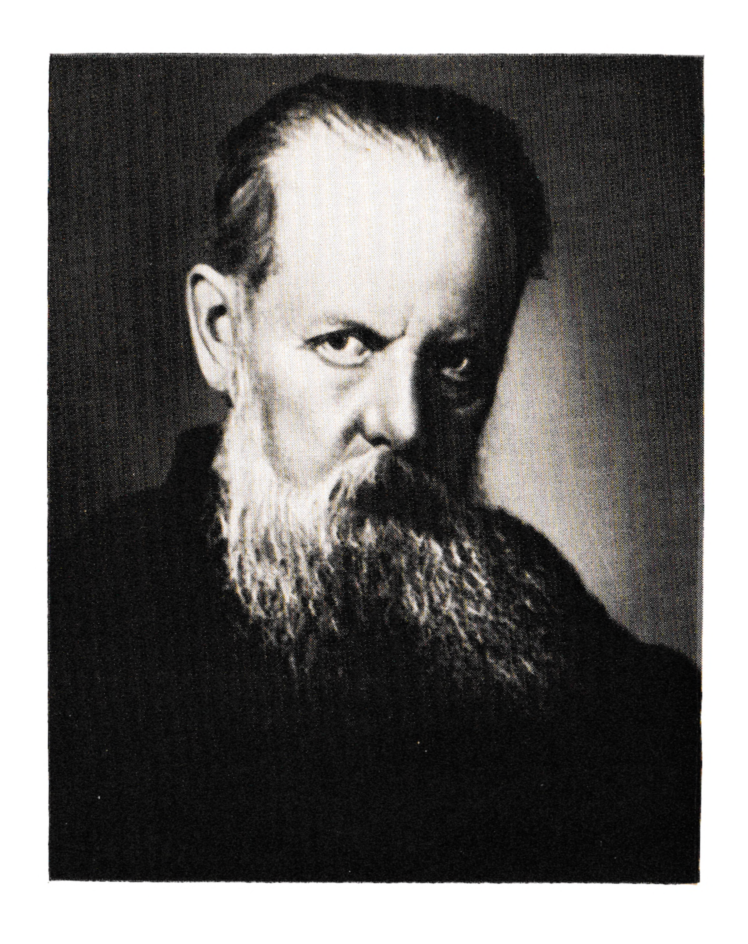

П.П.БАЖОВ
П.П.БАЖОВ
1



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

П. П. БАЖОВ

Сочинения в трех томах

ТОМ I

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1986

Собрание сочинений печатается по изданию:
П. П. Бажов. Сочинения в трех томах.
Изд-во «Правда», 1976.

Иллюстрации художников
П. Я. Караченцова
и
И. И. Пчелко

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ БАЖОВ
(1879—1950)

1

Могучий горный хребет прорезает с севера на юг необозримые просторы русских равнин. Это Урал, в недрах которого хранятся несметные природные богатства: золото и драгоценные камни, медь и каменный уголь, мрамор и малахит. Урал — колыбель русской тяжелой промышленности, русской металлургии: еще при Петре I возникли здесь первые заводы и рудники.

В семье мастера одного из таких заводов 28 января 1879 года родился будущий писатель Павел Петрович Бажов. И отец, и дед его, и прадед всю жизнь провели на медеплавильных заводах старого Сысертского горного округа. Рос, духовно формировался Бажов в рабочей среде; видел и познавал нравы, обычаи уральских горнорабочих, людей суровых и упорных в труде, смелых на выдумку, людей «с полетом». Слушал он рассказы заводских стариков о даровитых мастерах, о тяжком труде в старинных рудниках, о «вольных людях», о бунтах против жестоких заводчиков. Вблизи рабочего поселка высились горы — Думная и Азов-гора, где, по преданию, сам Пугачев некогда «думал свою думу». В тихие вечерние часы заводской сторож в Полевском, один из хранителей горняцких былей и легенд, рассказывал ребятишкам о сказочном змее Полозе и его дочерях Змеевках, о Хозяйке Медной горы или Девке-Азовке, что охраняют богатства уральских недр, пока не придет за ними «смелый да умелый» горщик, «первый добытчик».

С глубоким уважением вспоминает П. Бажов своих первых воспитателей — старых заводских рабочих. Это были не только народные поэты, но и своеобразные историки. К ним

принадлежала и родная бабушка писателя Авдотья Петровна — «коренных сысертских родов», оказавшая на его творчество глубокое влияние певучей своей речью, ярким, сочным народным языком устных рассказов о том, как в старину люди жили, а также тем, что, несомненно, послужила прототипом женских образов бажовских сказов — умных, смелых, мужественных заводских работниц, старательниц, камнерезов, не побоявшихся мастерство проявить в «не женском деле».

На Урале сама земля рождала легенды и сказки. Горщики, рудобои, рудознатцы, медеплавильщики, чеканщики, камнерезы — все, кто неразрывно был связан своим трудом с природой Урала, искали объяснения земляным богатствам и создавали легенды, в которых нашла поэтическое выражение любовь русских людей к родной земле.

Сказы и легенды бережно передавались в рабочих семьях из поколения в поколение, говорили они о неисчерпаемых сокровищах уральской земли, не только уже открытых, но и главным образом о тех, какие еще не найдены и хранятся в недрах гор. Так, Азов-гора неизменно называлась «самое дорогое место». Позднейшие изыскания показали, что догадки старых горщиков были верными — местность вокруг Азова хранила в своих недрах многообразные ископаемые: медные руды, залегания редчайшего по качеству белого мрамора, золотые россыпи. Мечты «первых добытчиков» облекались в кладоискательские сказы, в которых говорилось о несметных сокровищах, скрытых в горах и охраняемых «тайной силой».

Имелась и другая разновидность «тайных сказов» — «разбойничьих», или сказы о «вольных людях», то есть о крепостных рабочих, бежавших с заводов от подневольного труда. Они объединялись в ватаги, вольницы, чтобы с оружием в руках отстаивать свою свободу. Эти сказы народная память связывала с Азов-горой и старым рудником Гумешки. Азов-гора и Думная служили некогда «вольным людям» наблюдательными вышками. Отсюда они могли следить за движением обозов с товарами и за появлением карательных отрядов. Гумешки были обнаружены в 1702 году и оказались старым, заброшенным рудником; кроме рудокопных ям, здесь нашли остатки кузницы. Очевидно, в старину тут находился стан одной из ватаг, долго отсиживавшейся у Думной горы и имевшей в своей среде «плавильщиков» и «ковачей», изготовлявших необходимое оружие.

«Тайные сказы» этого типа прославляли смелость и отвагу вольных мастеров, выражали народный протест против угнете-

ния и бесправия русских трудовых людей, тех, что добывали «земляные богатства», плавили руду, варили сталь.

Однако молодой уральский фольклор (он насчитывал всего лишь около двух столетий жизни, возникнув в восемнадцатом веке вместе с промышленностью Урала) являлся, как и по сей день является, фольклором творимым, а не устоявшимся и представлял собой рабочие семейные предания, отдельные фантастические образы, первоначальные наброски сказочных сюжетов.

Таково было поэтическое наследие, полученное П. Бажовым от своих предков — уральских горнорабочих. С молодых лет ему открылась неписаная история родного края, внутренний мир трудового горнозаводского люда; он учился видеть и понимать красоту Урала с лесистыми его горами, прозрачными глубокими озерами, высоким небом и тенистыми каньонами. Ранние впечатления оставили неизгладимый след в душе юноши, определили его жизненный путь. Но справедливо отмечалось нашей критикой, что Бажов не обработчик уральского фольклора, а сам принадлежит к талантливой семье уральских народных поэтов-сказочников.

Продолжить их труд дано было писателю, взращенному той же средой, что рождала горнорабочие «тайные сказы». И характерно, что сказы «Малахитовой шкатулки» вышли далеко за пределы Сысерти и Полевского. Географически они связаны с различными областями Урала. И география эта особого рода: в сказах повествуется не только о красоте той или иной местности, а главным образом о мастерстве уральских умельцев, о разнообразных ремеслах, вызванных к жизни своеобразием природных условий края. Заводы Сысертского горнозаводского округа с его золотыми приисками и медным рудником Гумешки, Ильменский заповедник, Зюзелка, Мурзинка — знаменитые месторождения драгоценных камней — дали сказам Бажова образы мастеров-камнерезов, опытных рудокопов, которые видят «нутро горы», и старателей, что «прошли все пески» и «знают, что где положено». Герои Бажова — мастера, владеющие секретом особого «хрустального лака», связаны с Тагилом и Невьянском, литейщики — с Каслями, а с Златоустом — чеканщики и мастера «огненного труда», те, что знают «коренную тайность», «как булатную сталь варить, как рисовку и насечку делать, как позолоту наводить».

Хорошо сказал о «Малахитовой шкатулке» Федор Гладков, высоко ценивший самобытное творчество П. Бажова. Восхищаясь книгой уральского мастера, «чудесной поэзией искон.

ного языка и народной мудростью» ее, Ф. Гладков говорит о главном: «Эта книга дорога для меня и тем, что в ней удивительно чутко и проникновенно воплощена глубокая, большая душа народа — могучего работника, великого труженика, которого не сломило вековое рабство, который нес в себе неугасимую правду и творческую красоту...» [1].

2

Ценой многих лишений постарались родители будущего писателя дать своему единственному сыну образование, вывести его «в люди». Бажов мальчиком уехал в Екатеринбург и поступил в то же самое училище, где более двадцати лет назад учился и писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк. Позднее П. Бажов переезжает в Пермь и через шесть лет, в 1899 году, заканчивает знаменитую пермскую духовную семинарию, из которой в разное время вышли такие деятели русской культуры и науки, как тот же Мамин-Сибиряк, как изобретатель радио А. С. Попов, публицист и краевед И. М. Первушин, собиратель прикамского фольклора В. Н. Серебренников и многие другие. Биограф Мамина-Сибиряка Б. Д. Удинцев указывал, что уже в шестидесятых годах пермская семинария была «настроена довольно бунтарски. В ней работала постоянно действующая подпольная библиотека с журналами и книгами по политическим, экономическим и точным наукам».

В 1899 году П. Бажов стал народным учителем. Свой трудовой путь он начал в глухой уральской деревне Шайдурихе (возле Невьянска).

Тесно спаянный с горнозаводской рабочей средой, П. Бажов был глубоко заинтересован и судьбой родного края и судьбами талантливых уральских «умельцев». Будущий писатель с горечью наблюдал, как хищнически разворовывались богатства Урала жадными, невежественными заводчиками, помещиками и купцами, как хозяйничали в русской промышленности «привозные» дельцы из разных стран.

Видел он и другую сторону уральской дореволюционной жизни — талантливый русский рабочий класс, который вопреки гнету разного рода захребетников и тунеядцев создавал горную промышленность, развивал и совершенствовал методы своего труда.

---

[1] Ф. Гладков. «О литературе». М., «Советский писатель», 1955, стр. 210.

В течение пятнадцати лет Бажов каждый год во время школьных каникул пешком странствовал по родному краю, смотрел, «как люди живут», пытливо изучал труд камнерезов, гранильщиков, сталеваров, литейщиков, оружейников и многих других уральских мастеров, беседовал с ними о тайнах их ремесла, вел обширные записи. Так накапливалось «своеглазное знание» — тот запас живых и непосредственных наблюдений, который позднее лег в основу всего творчества писателя. В эти годы Бажов, по существу, проходил свои жизненные «университеты», получал подлинную политическую закалку, наблюдая в гуще уральской жизни те процессы, о которых говорил В. И. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России».

«Образуя район,— до самого последнего времени резко отделенный от центральной России,— писал В. И. Ленин,— Урал представляет из себя в то же время оригинальный строй промышленности. В основе «организации труда» на Урале издавна лежало крепостное право, которое и до сих пор, до самого конца 19-го века, дает о себе знать на весьма важных сторонах горнозаводского быта» [1].

Сущность этого особого производственного уклада заключалась в том, что горнопромышленники были одновременно как заводчиками, так и помещиками, «крупнейшими землевладельцами», а господство их над трудовым населением горного края основывалось «на монополии» и «владельческом праве». Каждому уральскому заводу принадлежали «громадные латифундии, тысяч по сто дес. земли». И как указывал В. И. Ленин,— «Средством приобретения рабочих рук» на Урале являлись «не только наем, но и *отработки*». Уральские крестьяне, пользуясь от заводов землей, выгоном, лесом «либо бесплатно, либо за пониженную плату», попадали в кабалу к владельцам предприятий, а те получали, таким образом, «своих», привязанных к заводу и дешевых рабочих».

Дореволюционные буржуазные экономисты попытались увидеть в этом положении вещей даже положительное начало — ни более ни менее, как осуществление некоего «великого принципа взаимной пользы». Но В. И. Ленин разоблачил пресловутый «принцип», указав, что он «проявляется прежде всего в особенном понижении заработной платы», в жесточайшем бесправии уральского рабочего, господстве подневольного

[1] Здесь и далее: В. И. Ленин. «Развитие капитализма в России». Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. 3, стр. 484—488.

труда и свидетельствует о торможении исторически закономерной «смены двух укладов общественного хозяйства».

В. И. Ленин указывал, что и реформа 1861 года, отмена крепостного права ничего не изменила в условиях жизни и труда на Урале: «...самые непосредственные остатки дореформенных порядков, сильное развитие отработков, прикрепление рабочих, низкая производительность труда, отсталость техники, низкая заработная плата, преобладание ручного производства.., замкнутость и оторванность от общего торгово-промышленного движения времени — такова общая картина Урала».

Беспощадным экономическим и социальным анализом, на реальных фактах В. И. Ленин показал, что к застою уральскую промышленность привели погоня за быстрыми и легкими прибылями, «примитивная и хищнически-первобытная эксплуатация природных богатств края», а также человеческого труда.

Картину упадка горнозаводского дела на Урале видел и осмыслял сын уральского рабочего класса П. Бажов. Позднее, в автобиографических очерках, он рисовал состояние тогдашних заводов. Так, о заводе Полевском, где прошло его детство, писатель вспоминает: «Завод умирал. Давно погасли домны. Одна за другой гасли медеплавильни. С большими перебоями на привозном полуфабрикате работали переделочные цеха». Марксистская литература, с которой в эти годы познакомился молодой народный учитель, помогла ему понять сущность трагических противоречий, определявших жизнь трудового населения Урала, породила активное стремление найти из них выход. Предреволюционные годы в жизни П. Бажова были периодом, когда шло его идейное и политическое формирование, закономерно приведшее будущего писателя в 1918 году в ряды Коммунистической партии.

3

С первых дней Октябрьской революции П. Бажов отдается борьбе за утверждение подлинно народной Советской власти. Добровольцем уходит он на фронт и с 1918 по 1920 год участвует в гражданской войне. Именно в это время Бажов берется за перо. «Вероятно, никаких литературных работ у меня не было бы, если бы не революция»,— писал он позднее. Он редактирует дивизионную газету «Окопная правда», пишет очерки, фельетоны, рассказы. Литература сразу же становится для него оружием бойца.

В армии П. Бажов находится на партийной работе. Его назначают начальником информационного отдела штаба двадцать девятой дивизии. Он участник ожесточенных сражений на Уральском фронте.

В ноябре 1918 года колчаковцы начинают наступление на северном Урале, стремясь соединиться в районе Вятки — Вологды с другими войсками белых и с английскими интервентами. Пермь оказывается в опасном положении, идут напряженные бои, которые заканчиваются поражением красных на этом участке фронта. П. Бажов уходит на подпольную работу в колчаковском тылу, о чем он позднее расскажет в документальной, автобиографической повести «За советскую правду» (1926). Его направляют в Томский урман, где он становится учителем «Бергульской школы Биазинской волости Каинского уезда» и весной 1919 года участвует в организации боевых отрядов повстанцев.

В жизни этой сибирской «глубинки» и наблюдал П. Бажов коренные сдвиги, происходившие в народном сознании, поворот всей массы сибирского населения в сторону красных, то есть то историческое явление, которое В. И. Ленин определил как ценнейший опыт развала такой «гигантской силы», как «колчакия» [1]. Сила ее была в том, что она имела за собой «крестьян сытых, крепких и не склонных к социализму»,— говорит В. И. Ленин,— а также «помощь от всех государств Антанты, от государств всемогущих, которые держат во всем мире власть в своих руках». И все же «получился полный развал колчакии, который мы осязаем руками, когда наши красноармейцы подходят к Уралу как освободители». А причина этого развала: крестьянство на своей шкуре проверило и убедилось в той истине, что есть только два пути — «либо диктатура рабочего класса, диктатура всех трудящихся и победа над капитализмом, либо самое грязное и кровавое господство буржуазии вплоть до монархии, которую Колчак установил, как это было в Сибири».

Вот этот процесс прозрения широчайших масс под давлением их собственного исторического опыта со всей очевидностью представал П. Бажову в окружавшей его среде.

Вспоминая в повести «За советскую правду» об этой поре партизанского движения Сибири — «время действия февраль — апрель 1919 года»,— он говорит, что ему видится особо ин-

---

[1] Здесь и далее: В. И. Ленин. «О современном положении и ближайших задачах Советской власти». Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. 39, стр. 40—41.

тересной «и та полоса, когда движение еще не оформилось, но уже везде чувствовалось». Пристально вглядывается П. Бажов в приметы нового, в бытовые детали, в разнообразные события, казалось бы, мелкие, но все же явно свидетельствующие о неотвратимых переменах,— «ничего яркого, бьющего в глаза в этой полосе жизни Сибири»,— говорит он и добавляет: «мелочи были настолько показательны, что я решаюсь дать маленький кусок тогдашнего быта»...

Воспоминания Бажова рисуют картину колчаковского города, где «держат охрану» пьяные казаки и свирепствуют уездные губернские генералы и атаманы... Хотят «все искоренить» и «ничего не допустить»; где «немногочисленные сибирские рабочие давно сидят по тюрьмам», а «приезжие крестьяне стараются скорее кончить свои дела и до вечерних обысков убраться в деревню. Городской обыватель потихоньку скулит». Предстает и колчаковская сибирская деревня, где «чуть не единственный разговор»: «нет товаров и сбыта хлеба, нет заработков». Даже «домовитые мужики» и те «потеряли надежду устроить жизнь с помощью иностранных рвачей и своих жуликов, обалделых от пьянства и распутства офицеров».

Наблюдая этот мрачный быт колчаковских времен, П. Бажов приходит к выводу: «В каких-нибудь в двадцати верстах от города стало видно, что деревня совсем откачнулась. Говорить плохо о власти боятся, но ни в чем уже ей не верят». П. Бажов не только наблюдал изменения в окружающей его среде, но он был одним из тех сотен партийцев-организаторов и пропагандистов, которые в годы гражданской войны помогали народным массам осознать неизбежность революционного пути, подымали их на борьбу. «Урман одевался. Ярко пылал во всех концах веселый «напольник», сжигая остатки прошлогодней травы...— вспоминает П. Бажов.— Пахаря было не видно. В лесу только группы людей с ружьями. Начиналась полоса открытой борьбы».

1 июля 1919 года красными войсками была освобождена Пермь. 13 июля — Златоуст, а 14 июля — Екатеринбург, нынешний Свердловск. «Взятием Перми, потом Мотовилихи,— этих центров крупнейших заводов, где рабочие организуются, сотнями переходя на нашу сторону и перерезывая железные дороги в тылу неприятеля,— мы достигли многого [1],— говорил В. И. Ленин, указывая, что уральский горнозаводский край вступил в «полосу настоящего рабочего восстания», превраща-

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., изд. 5-е, т. 39, стр. 39.

ющегося в подъем всей массы сибирского населения против «колчакии».

24 июля 1919 года был освобожден от белых Челябинск, 4 и 13 августа — города Троицк и Курган, что привело к полному очищению Урала от колчаковщины.

В июле того же 1919 года П. Бажов под фамилией «страхового агента Бахеева» прибыл для подпольной работы в Усть-Каменогорский уезд, Семипалатинской губернии. Прибыл «в самый трагический для города момент», рассказывает уральский исследователь Н. Рахвалов[1], изучивший архивные документы тех лет: «Только что было подавлено знаменитое июньское восстание узников Усть-Каменогорской тюрьмы, прозванной народом за жестокий режим Сибирским Шлиссельбургом... Недавняя кровавая трагедия в старой крепости потрясла население города и уезда... неистовая сабельная рубка безоружных людей, физическое и моральное истязание пленников (первый председатель Усть-Каменогорского совдепа Яков Ушанов сожжен в топке пароходного котла) вызывали глубокое чувство протеста». В этих условиях предстояло П. Бажову-Бахееву «собрать силы, восстановить разрушенные связи, создать новые боевые ячейки».

Спокойно, настойчиво ведет работу Бажов в накаленной, полной опасностей обстановке. Он осуществляет свои важные задачи, «объединяя силы местного большевистского подполья с организациями массового партизанского движения в уезде, казахской степи, в горах и предгорьях Алтая». Выполняя это ответственное партийное поручение, он «объездил, обшагал всю округу — Горный Алтай и прииртышские степи; Риддер — Бухтарма — Георгиевка — аулы и переселенческие поселения; хутора и казачьи станицы,— рассказывает Н. Рахвалов.— Средоточием же всей организационной и политической деятельности подпольщика был партизанский полк «Горные орлы»[2].

15 декабря 1919 года Усть-Каменогорск был очищен от колчаковцев, в боях за город участвовал П. Бажов. Затем он возглавил партийную организацию уезда и одновременно стал редактором созданной в эти дни газеты «Советская власть».

Но мирная жизнь еще не наступила. Вспыхивали разрозненные кулацкие бунты, банды белых, укрывшиеся за китай-

---

[1] Н. Рахвалов. «Бажов в Усть-Каменогорске», журн. «Урал», 1969, № 1, стр. 80.

[2] Исследователь основывает свой рассказ на материалах историко-краеведческого музея Восточно-Казахстанской области. (См. «Урал», 1969, № 1, стр. 81.)

ской границей, то и дело прорывались на советскую территорию — грабили, убивали, жгли. Голодали промышленные центры Советской России, им надо было помогать продовольствием, хлебом.

П. Бажов участвовал в возрождении знаменитого Риддерского рудника, разрушенного по приказу английского концессионера Лесли Уркварта. Огромные неотложные задачи вновь вставали перед партийными работниками края, а ревком еще «вменил в обязанность П. П. Бахееву... общее наблюдение за работой отдела народного образования» [1].

И он наладил в уезде обучение неграмотных не только среди русских, но также среди казахского населения. П. Бажов «проводит учительские курсы, организует школы... В июле 1920 года в казахские волости посылаются 87 учителей-казахов, подготовленные при его непосредственном участии». По тому времени это еще было совсем новым делом, «чтобы казахов обучали казахи на их родном языке, в собственных казахских школах» [2]. Создает П. Бажов и драматический коллектив в составе двадцати трех человек для работы в казахских аулах. Во все вносит он энергичную, живую мысль, ища новых путей, новых возможностей, чтобы дать простор народным талантам.

В Усть-Каменогорске пробыл он три года — с 1919 по 1921 год. Позднее, вспоминая то время, П. Бажов говорил:

«— Трудные, но прекрасные дни гражданской войны. Каждый день приносил новые неожиданности, новые события...»

Годы, когда писатель-большевик с боями прошел по Уралу, Сибири, Алтаю, обогатили его яркими, незабываемыми впечатлениями [3]. В боевых испытаниях мужает и зреет художник.

По окончании гражданской войны П. Бажов семь лет (1923—1930) работает в «Крестьянской газете» (Свердловск). В качестве корреспондента странствует он по уральским деревням и заводам, печатает очерки и статьи о том, как «перешевеливается» старая жизнь.

Таков был запас жизненных впечатлений, с каким П. Ба-

---

[1] Н. Рахвалов приводит выдержку из протокола уревкома № 44 от 31 мая 1920 года. (См. «Урал», 1969, № 1, стр. 85.)

[2] «Урал», 1969, № 1, стр. 86.

[3] В июле 1929 г., когда праздновалась десятая годовщина освобождения Урала от Колчака, Павел Петрович Бажов был награжден грамотой «как активный участник в строительстве Красной Армии и Красной гвардии, как энергичный борец за Урал». (Н. В. Кузнецова. «Павел Петрович Бажов», биобиблиографический указатель, Свердлгиз, 1960, стр. 24—25.)

жов подошел к работе над сказами «Малахитовой шкатулки». Старые рабочие, хранители горнозаводских преданий и легенд, раскрыли перед будущим писателем страницы народной неписаной истории края, а новые поколения уральских мастеров своими героическими делами пробудили желание переосмыслить прошлое Урала — «осветить то, из чего росла любовь к родине и мощь нашего государства». П. Бажов позднее, уже будучи известным писателем, говорил: «Давно пора рассказывать о прошлом по-другому. Темное — темным, а ведь были в прошлом и ростки того, из чего родилась революция, героика гражданской войны и последующее развитие первого в мире государства трудящихся».

В 1924 году выходит его первая книга «Уральские были» — воспоминания о дореволюционном быте Сысертских заводов. «Уральские были» открывают цикл историко-публицистических очерков Бажова: «За советскую правду» — о сибирских партизанах (1926); «Бойцы первого призыва» — к истории полка «Красных орлов» (1934); «Формирование на ходу» — история Камышловского полка (1936) и другие.

Писатель обдумывает и начинает ряд литературных произведений.

Под шутливым псевдонимом «Егорша Колдунков» выпускает он детскую повесть «Зеленая кобылка» (1939), в которой рассказывает о трудовом быте горнозаводского населения Урала, о том, как в рабочей среде формировались чистые, благородные характеры, как воспитывалось уважение к труду, к мастерству, как росли революционные настроения. Позднее Бажов продолжил эту повесть второй автобиографической книжкой — «Дальнее — близкое» (1949).

Обращаясь к прошлому, писатель искал в исторических условиях жизни своих героев истоки драгоценных черт народного характера, раскрытию которых он посвятил лучшие страницы своих произведений. Определяя, что же главное в его детской повести «Зеленая кобылка», он писал:

«В библиографических заметках отмечают: «живо, весело, занятно» — и коротенько передается содержание. Вот и все, а о главном никто даже не упоминает... Так и быть, скажу, «о чем мечталось, когда писалось». Приключения мальчуганов, помощь революционеру — все это лишь фабульные крючочки и петельки. Главным ставилось другое и совсем не маленькое. Хотелось по-другому показать условия воспитания ребят в средней рабочей семье, в противовес тому, что у нас нередко изображалось. Да, была темнота, но не такая беспросветная,

как в «Растеряевой улице», в подьячевских рассказах или даже чеховских «Мужиках». Были и нужда и материальная ограниченность, но ребята не слабосильными росли: из них ведь выходили те мастера и подмастерья, которые играючи ворочали клещами шестипудовые крицы и подбрасывали в валок тяжелые полосы раскаленного железа.

...Ребята очень рано начинали себя сознавать ответственными членами семьи. Пойти на рыбалку — значило «добыть на ушку, а то и на две», сходить в лес — принести ягод или грибов. Причем количественные и качественные показатели нередко проверялись совсем посторонними людьми. «Ну-ка, покажи, что наловил? Сколько набрал?» И ты волнуешься, что скажет этот неожиданный судья. А дома эти показатели подвергаются дополнительному обсуждению...

Разве это не интересные явления общественного воспитания?

А спорт и соревнование прошлого? Спорта в привычном для современного читателя виде не было, но ребята все же знали, кто сильнее, кто ловчей, кто лучше плавает, лучше бегает, более меток не только среди своих ближайших товарищей, но и у «врагов» — в соседних улицах. Ведь это же все измерялось, проверялось, всячески взвешивалось...»

И еще «заединщина» — это не обычная школьная дружба это явление «не городское и не сельское, а именно заводское, своего рода отражение в детской жизни того, что у взрослых выражалось понятием — наша смена, человек нашей смены».

И в очерках «Уральские были», и в детской повести «Зеленая кобылка», и позднее в автобиографической книжке «Дальнее — близкое», рисуя жизнь горнозаводского населения, писатель стремился раскрыть внутренний мир своих героев, показать, как и в чем они, эти уральские мастера, находили силы противостоять страшному давлению подневольной жизни до революции.

Сказы П. Бажова говорят о неиссякаемости творческих сил народа, о моральной стойкости русских людей, которых не мог сломить жестокий гнет, условия крепостного рабства, а позднее власть голого чистогана.

Основная тема книги сказов «Малахитовая шкатулка», над которой писатель работал с 1936 года до последних дней своей жизни (он умер 3 декабря 1950 года),— творческий труд, историческое новаторство рабочего класса.

Вся работа, предшествовавшая созданию этой книги, была для писателя периодом исканий, в процессе которых выработ-

тался тот своеобразный стиль, та особая форма философского поэтического сказа, какие составляют характернейшие черты художественной манеры Бажова.

Сборник «Малахитовая шкатулка» вышел впервые отдельным изданием в 1939 году. Затем из года в год «Малахитовая шкатулка» пополнялась все новыми и новыми сказами. В ее состав вошли сборники «Ключ-камень» — горные сказки (1942), «Сказы о немцах» (1943), цикл сказов о русских сталеварах, чеканщиках и т. д. (1944—1945), «Сказы о Ленине» (1944—1945) и, наконец, группа сказов-былей последнего пятилетия (1945—1950).

Книга принесла автору всенародную славу. За нее ему была присуждена Государственная премия. В 1944 году правительство награждает писателя орденом Ленина.

Наряду с напряженной творческой работой Павел Петрович отдавал силы общественно-политической деятельности. Он руководил Свердловским отделением Союза советских писателей, редактировал альманах «Уральский современник», был делегатом Первой Всесоюзной конференции сторонников мира и неоднократно выступал на Урале с докладами и статьями в защиту мира.

В 1946 году, 10 февраля, а затем вторично 12 марта 1950 года, П. П. Бажов избирался от Красноуфимского избирательного округа депутатом Верховного Совета СССР.

4

Добиться, чтобы заговорил своим подлинным голосом горнорабочий Урал — Урал, обогащенный опытом социалистической революции, П. Бажов считал своей главной творческой задачей. Он неоднократно говорил, что «занимался вопросами старины своего края не в качестве перелицовщика, а пытался осветить эту старину с позиций другого мировоззрения и старался найти в ней то, что еще не было показано». Недаром в «Малахитовой шкатулке» существенные изменения претерпевает образ рассказчика: в ранних сказах он выступает как заводской старик, захвативший период еще крепостной промышленности; в сказах последнего времени рассказчик — это участник гражданской войны и зачинатель стахановского движения. Связь с сегодняшним днем устанавливается прямая и непосредственная.

Значение и поэтическая прелесть «Малахитовой шкатулки» в том, что в ней воссоздан благородный образ русского

рабочего класса, показан его ясный ум, сила духа, умение противостоять любым жизненным испытаниям. Сказы Бажова воспевают смелую выдумку, умелые рабочие руки, способные осуществить любой замысел мастера, воспевают труд, превращающийся в творчество. Главные темы «Малахитовой шкатулки» — это темы мастерства, счастья и человеческого достоинства.

Первой из них посвящен цикл сказов о мастерах, который занимает центральное место в творчестве Бажова. Основной мотив цикла — противопоставление труда творческого труду ремесленному.

Истинное мастерство — это новаторство, а не педантичная ремесленная добросовестность. Настоящий мастер тот, кто прокладывает новые пути в труде.

Герой одного из сказов захотел все ремесла «своей рукой» перепробовать («Живинка в деле»). Посмеивались над ним сначала друзья да родичи, а Тимоха все же на своем поставил: ремеслам обучился и в каждом деле «до точки дошел». Только было это ремесленное знание правил, а не мастерство. Понял это Тимоха, когда попал в выучку к углежогу деду Нефеду. Принял тот его с лукавым уговором: «От меня тогда уйдешь, как лучше моего уголь доводить навыкнешь». Простое дело у Нефеда — уголь жечь, да победить старого мастера Тимоха не смог. А секрет-то был в том, что дело у Нефеда на месте не стояло, все вперед двигалось: совершенствовал свою работу Нефед. И учил он Тимоху «не книзу глядеть — на то, что сделано», а «кверху — как лучше делать надо». Учил искать «живинку» в каждом деле. Она ведь «впереди мастерства бежит и человека за собой тянет. Так-то, друг!»

Живая душа любого дела, его «живинка» — это не что иное, как творческая мысль, выдумка мастера. Об этом говорится и в сказе «Иванко-Крылатко», рисующем единоборство двух мастеров — немца Фуйко Штофа и русского паренька Иванки из семьи старых златоустовских умельцев.

Состязание на лучшую чеканку сабель идет между умелыми мастерами. Немец Фуйко дело свое знал. Он «руке с инструментом полный хозяин и на работу не ленив». Чистая, четкая у него чеканка, и «позолота без пятна», и рисунок по правилам, а вот «живым не пахнет». Мастерство его мертво, ибо оно не что иное, как ремесленничество, не одухотворенное поэтической фантазией.

Иное Иванко, это «мастер с полетом». Он не боится отступить от затверженных правил, не боится прибегнуть к смелой

творческой выдумке. Иванко учится у самой природы и вносит в свое искусство ее неиссякающую и вечно обновляющуюся поэзию. Нарисовал Иванко на боевой сабле не пустое украшение, условных коньков, а таких коней, какими он знал их в жизни,— стремительных, на полном бегу, крылатых!

Образ, созданный Иванкой,— крылатые кони, возмутил заводских педантов, они прогнали его с завода. Но именно этот рисунок и обнаружил подлинного мастера. Иванко — мастер-поэт, ибо он поднимается до образных обобщений.

Эта мысль положена в основу и второго мотива того же цикла сказов о мастерах, а именно мотива неустанных исканий художника.

Творчество мастера-поэта предстает в сказах Бажова не только как вдохновенное озарение, а прежде всего как познание и труд. Старого камнереза спросили, как это так получается, что малахитовые изделия, выходящие из его рук, всегда «цветом разнятся и узором не сходятся» («Железковы покрышки»). Мастер ответил: «Я из окошечка на ту вон полянку гляжу. Она мне цвет и узор кажет. Под солнышком одно видишь, под дождиком другое. Весной так, летом иначе, осенью по-своему, а все красота. И конца краю той красоте не видится».

Требуя от художника изучения природы во всем ее неиссякаемом многообразии, Бажов всегда напоминает, что претворение увиденного в художественных образах — активный процесс.

Борьба с «натурой», смелое проникновение в самую «сердцевину материала» — важнейшее условие овладения мастерством. Отсюда и драматизм, присущий зачастую бажовским сказам и заключающийся не только во внешнем конфликте — столкновении таланта с враждебной ему действительностью, но и во внутреннем: в постоянной неудовлетворенности художника, исканиям которого нет конца. Об этом и говорят в первую очередь философские, программные сказы — «Каменный цветок» (1938), «Горный мастер» (1939), «Хрупкая веточка» (1940), «Железковы покрышки» (1942).

Задумал камнерез Данила воплотить в камне красоту простого лесного цветка. Но не дается ему малахитовая чаша, над которой он трудится, и не радует ее внешняя отделанность. Нет в ней жизни, а следовательно, красоты. «То и горе,— жалуется Данила,— что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый... а красота где? Вон цветок... самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует?» («Каменный цветок»). Это только ловко сде-

ланная вещь. Данила же стремится, чтобы, глядя на его чашу, люди забывали об искусстве мастера и видели живой цветок. В этом для молодого камнереза и заключается истинная сила мастерства.

Данила хочет понять свой материал, «полную силу камня самому поглядеть и людям показать». Но здесь-то молодой мастер и совершает ошибку: он не идет дальше подражания природе.

Посчастливилось ему было: в поисках материала для своей чаши нашел он подходящую «малахитину». «Большой камень — на руках не унести, и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется... Ну, все как есть». Но хотя Даниле казалось, что камень «ровно нарочно для моей работы создан»,—чаша не вышла. Материал подчиняет его себе. Данила не привнес в работу творческой выдумки, поэтической обобщающей мысли. Выточил мастер «чашку, как у дурман-цветка, а не то... Не живой стал и красоту потерял». Не понимая еще причины своей неудачи, молодой мастер обращается за помощью к Малахитнице. «Не могу больше,— жалуется Данила Хозяйке горы.— Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок». И, несмотря на ее уговоры: «Может, еще попытаешь сам добиться»,—настаивает на своем.

Не всякому дано видеть «каменный цветок». Растет он тайно в горе у Малахитницы. Сказочный образ «каменного цветка» символизирует красоту самого материала, ту красоту, что заложена природой и в обломке камня и в куске дерева— словом, в любом материале, какой требует усилий мастера, чтобы стать произведением искусства. Кто увидел «каменный цветок», тот «красоту понял» и в силу этого становится «горным мастером».

«Горные мастера» — выученики Малахитницы. Они живут и трудятся в подземных владениях Хозяйки Медной горы. Их труд чудесен, они обладают умением придавать жизненность, казалось бы, мертвому камню. Работа их от «здешних... наотличку... У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки... Того и гляди — клюнет».

Исполнилось желание Данилы-камнереза: проник он в тайную красоту природы, в красоту самой материи. Но этого оказалось мало. Материал не может подсказать всего того, что должен найти сам мастер, опираясь не только на свои наблю-

дения над природой, но и обязательно на способность к образному обобщению.

«— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка.

— Не найдешь,— отвечает Данилушко,— камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу.— Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень». Первостепенно значение поэтической выдумки мастера. Пусть только родится у него свой собственный замысел, тогда-то и камень ему будет «по его мыслям».

В поэтическом образе Хозяйки Медной горы воплощена сама уральская природа, вдохновляющая человека на творчество. Фольклорный образ Малахитницы претерпел здесь существенные изменения. В горнорабочих «тайных сказах» Малахитница — только хозяйка горных недр, оберегающая свои сокровища, а у Бажова — хранительница секретов высокого мастерства. Больше того, олицетворяет она вечную творческую неудовлетворенность.

Даниле-камнерезу, молодому мастеру, лишь начинающему трудный путь творческих поисков, противопоставлен старый малахитчик Евлаха Железко — мастер, достигший вершин своего искусства («Железковы покрышки»). Совершенство его мастерства в том, что, глубоко понимая сущность своего материала — малахита, «радостного камня и широкой силы», Евлаха умеет добиться гармонии между этим материалом и собственным поэтическим замыслом.

Фантазией мастера был создан такой узор на малахитовых покрышках, который, подчеркивая и выявляя характерные внешние особенности камня — его неожиданные причудливые узоры, его меняющуюся окраску, «то бирюзово-зеленый... нежных тонов, то темно-зеленый с атласным отливом»,— раскрывает этим путем внутреннюю сущность малахита, в котором «радость земли собрана».

Смотришь на малахитовые крышки к альбому, сделанные мастером, и видишь, что узор на камне — «как вешняя трава под солнышком, когда ветерком ее колышет. Так волны по зелени-то и ходят... Однем словом, мастерство!»

Воплотить творческую мысль в произведении искусства можно, только покорив материю, подчинив ее воле мастера.

Уже и в русской народной сказке наряду с мотивом трудолюбия возникал мотив умелости в работе, глубокого знания

дела, совершенства в нем, а значит, мастерства как искусства. Так идет к царю на поклон Иван, купеческий сын, несет дорогой подарок. «...Взял хрустальную миску и наложил полную бриллиантов, а Елена Прекрасная сделала ковер, на котором вышила все как есть царство, и этим ковром миску прикрыла» [1]. Ковер Елены Прекрасной представляет собой ценность не меньшую, чем миска с бриллиантами, или, иными словами, сказочное богатство. Недаром на том ковре поместилось «все как есть царство». Оказалось оно подвластным умелым рукам вышивальщицы.

П. Бажов поэтизирует и самый *процесс труда*, творческие искания своих героев. Писатель открывает в своих сказах подлинную силу мастерства, которое дарит людям глубокие и сильные переживания, внутренне их обогащает. Оно приносит радость свершения мастеру и радость постижения красоты всем остальным. В сказе «Малахитовая шкатулка» в избу рудокопа Степана приходит сама Малахитница, принявшая вид странницы. Она берется обучить рукоделию младшую девочку в семье — Танюшку. Поманила ее к себе «и подает ей ширинку маленькую, концы шелком шиты. И такой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало». Таково подлинное мастерство — от него-то жизнь и становится радостной.

Истинное искусство не знает избранных — оно для всех: «Умному говорит и дураку покоя не дает»,— об этом шутливо-иронически повествуется в бажовском сказе «Железковы покрышки». Велено было камнерезам изготовить подарок для самой царицы. Стараться, казалось бы, нет резона, думают знатоки, показывать свое умение ни к чему,— ведь при дворе никого «тонкой гранью, либо узором... не проймешь, потому — люди без понятия». И все же мастера не отступаются, ищут такие средства, чтобы донести радостную красоту природы и до тех, кто к ней глух и слеп.

В сказах П. Бажова наряду с Малахитницей, Хозяйкой Медной горы, возникает озорной фантастический образ Веселухи.

Малахитница никому не приносит радости удовлетворенных желаний, остановки, покоя. Недаром в концовке одного из бажовских сказов говорится: «Вот она, значит, какая Медной горы Хозяйка! Худому с ней встретиться — горе, и доб-

---

[1] А. Н. Афанасьев. «Народные русские сказки». М., «Художественная литература», 1938, т. 2, стр. 294.

рому — радости мало». И верно, освобождает она рудокопа Степана от цепей, помогает ему и его невесте выкупиться на волю из крепостного состояния, дарит ему волшебные драгоценности, заключенные в малахитовой шкатулке, но не дает ему успокоения. Открыла она ему мощь и красоту горных недр. Побывал молодой рудокоп Степан и в подземных хоромах Хозяйки Медной горы, где «постеля, столы, табуреточки — все из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный под чернетью, а на ем цветки медны». Нагляделся и на красоту самой Малахитницы. Платье на ней богаче царского: «То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает».

Нет, не позарился на несметные богатства Хозяйки Медной горы молодой рудокоп. И когда спросила она: «Берешь меня замуж али нет?» — не покривил душой, отвечал: «Не могу, потому другой обещался». Наградила его Малахитница за правду да за смелость, отпустила из горы на волю. Но поставила условие, которое так и не смог выполнить Степан: «Обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет».

Между «тайной силой», то есть фантастическими персонажами, и реальными героями в сказах Бажова неизменно возникают истинно человеческие отношения. Тонкой психологической деталью раскрывает писатель, как поселила Малахитница в душе рудокопа тревожное волнение, лишила его внутреннего спокойствия, как ощутил он зарождение нового, неведомого чувства.

«— Ну, прощай, Степан Петрович,— говорит ему Хозяйка Медной горы,— смотри не вспоминай обо мне.— А у самой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышками застывают. Полнехонька горсть.— На-ка, вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь,— и подает ему. Камешки холодные, а рука, слышь-ко, горячая, как есть живая, и трясется маленько».

Вот это-то уловленное им пробуждение жизни в Каменной девке, в Малахитнице, и смутило Степана. Грозная хозяйка горных сокровищ оставила его равнодушным, но плачущая девушка, ее живая, трепещущая и горячая рука заставили дрогнуть сердце молодого рудокопа. «Степан принял камешки, поклонился низко... А сам тоже невеселый стал!» Ушел он от Малахитницы, но «сна-покою» лишился. Потом бродил с дробовичком в тех местах, где с нею некогда повстречался:

«И все, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит».

Неутолимую жажду исканий поселила в душе его Малахитница. Любовь Степана-рудокопа к Хозяйке Медной горы — поэтический, философский образ, воплощение любви человека к могучей и прекрасной природе, ненасытного стремления к познанию «тайных» ее сил.

Иные сюжетные функции у сказочной молодухи Веселухи. С ее образом неотделимо слиты радость и озорная смелость придумки — неразрывные элементы творческого труда («Веселухин ложок»).

Веселуха — олицетворение весеннего веселья. Она яркая, будоражащая. «Сарафан на ней препестрый,— говорится в сказе,— цветощатый. На голове платочек, тоже с узорными разводами. Из себя приглядная, глаза веселые, а зубы да губы будто на заказ сработаны... Мимо такая пройдет — на годы небось ее запомнишь».

Ремесло у нее особое: «С весны до осени весь народ радует сплошь, а дальше по выбору...» Веселуха хмелит людей радостью, манит их на вольный воздух, на зеленый луг, к синему озеру. Не заметит человек, как опьянеет, хоть и не пил вина: то ли от весеннего воздуха, от высокой сини небес, то ли от Веселухиного угощенья. Не терпит она слезливых да тоскливых. Ей подавай «песни да пляски, смех да веселье». Она «в избу зайдет — скамейки заскачут, табуретки в пляс пойдут».

Но этим не исчерпывается содержание образа Веселухи: она олицетворение не только радости бытия, но и сверкания, причудливой игры самой фантазии человеческой. В трудную минуту приходит она на помощь мастеру: покажет ему новый узор, раскроет все неисчерпаемое богатство красок природы, поэзию ее весеннего расцвета. Ведь не раз «будто въявь ее видели» заводские рабочие-рисовщики, те, что расцветкой узора занимаются.

«Лежит, дескать, парень на травке, в небо глядит, а сам думает — вот бы эту красоту в узор перевести. Вдруг ему кто-то и говорит: «А вот это подойдет?» Оглянулся парень, а у него в головах, на пенечке, Веселуха сидит и подает ему какой-то листок. Поглядел парень, а на этом листочке точь-в-точь тот самый узор и расцветка показаны, о каких он думал». Веселуха подсказывает мастеру и узор и краски. Потому-то, наверное, и появляется она всегда в цветастом, узорчатом платье.

Под стать Веселухе главный герой сказа — Панкрат, мастер «украшенного цеха», о котором говорится, что он «по рисовке из первых и на выдумку по своему делу гораздый». Панкрат ни в чем не уступает сказочной Веселухе. Ему присущи и богатство фантазии и тонкое чувство прекрасного. «Не один узор да расцветка Панкратовой выдумки в большом спросе ходили. А характеру самого веселого. Наперебой его на свадьбы дружком звали. С ним, дескать, всякому весело станет, потому балагур да песенник и плясать без устатку мог. Недаром его Веселухиным братом прозвали».

Неиссякаемая фантазия, смелая, озорная выдумка, считает П. Бажов, присущи только подлинному мастеру, умеющему видеть, ощущать яркое и веселое многоцветье реальности. В мире, окружающем человека, две силы оказываются равными по творческой мощи — природа и его собственное мастерство. Чудесная сказочная сила заключена не в чем ином, как в упорном, одухотворенном мыслью человеческом труде.

Так, сказы Бажова, полные юмора и лукавого задора, где причудливо переплелись реальное и сказочное, говорят нам о поэзии творческих исканий и неустанного познания действительности.

5

Теме мастерства в сказах «Малахитовой шкатулки» сопутствует тема человеческого счастья. Ей посвящен особый цикл сказов — старательских, или сказов «о первом добытчике».

Героем этого нового цикла также является рабочий, но уже не камнерез, чеканщик или медеплавильщик, а опытный, бывалый горщик, тот, что умеет «видеть нутро земли» и находить «знаки земных сокровищ». Таковы дедко Ефим, Кокованя, Семеныч, Никита Жабрей и другие.

Образ опытного рудознатца пришел в творчество Бажова не из «тайных сказов», а непосредственно из реального быта горняков. Об удачливом старателе-рудобое поговаривали, что он знается с «тайной силой», дружит с Полозом, Малахитницей, «пособников имеет, да нам не сказывает», «словинку знает», «Полозов след видел, потому и находит!». Такого опытного горняка, его власть над природой и воспевают сказы Бажова.

В цикле о мастерах действовала Малахитница, ее слуги — ящерки, ее ученики — горные мастера. В новом цикле появляется гигантский змей Полоз — хранитель золотых руд, его

дочери Змеевки, бабка Синюшка, охраняющая бездонный колодец с самоцветами, девчоночка Огневушка-Поскакушка да козлик Серебряное копытце.

Народная сказочная фантазия всегда реалистична в своей основе. Сущность сказочного народного образа в том, что отвлеченное соотношение реальных явлений — понятие, идея — выступает здесь в осязаемой, зримой материальной форме. М. Горький говорит, например, что народная фантазия создала и крылатый образ ветра: *невидимое* движение воздуха олицетворено *видимою* быстротою полета птицы. Сказка воплощает понятия и в живых персонажах. Так, в качестве героев в ней выступают такие идеи, как Правда и Кривда или явления природы, как, например, Дед Мороз, Снегурочка, братья Ветры и т. д.

Сказочные герои Бажова связаны именно с этой линией народной фантастики: они также олицетворяют реальные явления природы. Фантастика здесь не что иное, как красочное, зримое поэтическое обобщение.

Хорошо знают повадки «тайной силы» старые горщики. Рассказывает дедко Ефим молодым старателям, по каким приметам золото находить: «Слыхал, дескать, от стариков, что есть такой знак на золото — вроде маленькой девчонки, которая пляшет. Где такая Поскакушка покажется, там и золото. Не сильное золото, зато грудное, и не пластом лежит, а вроде редьки посажено» («Огневушка-Поскакушка»). О сказочном козлике говорит своей приемной дочке Даренке старый охотник Кокованя: «Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем — там и появится дорогой камень».

Иногда о сказочных персонажах, о сказочных событиях герой Бажова — старый горщик — говорит шутливо, с лукавой усмешкой. Рассказчик как бы сначала подсмеивается над доверчивым слушателем, причудливо вплетая в были небылицы,— не любо, не слушай, а врать не мешай,— расцвечивает повествование фантастическими узорами, не забывая, однако, время от времени подсказывать, как же в самом-то деле было. Приказчика Северьяна-убойцу и его «обережных» погребла под обвалом, конечно, не Малахитница, а сами рабочие («Приказчиковы подошвы»). Выручил старателя Левонтия и его ребятишек не Полоз, а опытный горщик Семеныч («Про Великого Полоза»). Эта ироническая оценка сказочного разрешения темы самим же автором особенно явственно проступает в сказе «Огневушка-Поскакушка».

Заблудился мальчуган Федюнька в лютую стужу и повстречал Огневушку — хозяйку верхового золота, которое хранится в верхних пластах земли. Подарила ему сказочная девочка волшебную лопатку — «изоржавела вся, и черенок расколотый». Но в ней чудесные свойства: помогла она Федюньке зарубки сделать, место, где золото хранится, отметить, а кроме того, в снегу согрела и домой вывела. Фантастика событий здесь дается шутливо и легко расшифровывается. Когда мальчуган провалился в сугроб, «потянула тут лопата Федюньку и сразу из снега выволокла». Но ведь «сперва Федюнька чуть не выпустил лопату из рук, потом наловчился, и дело гладко пошло...» Лопата потому совершает чудеса, что ею... движут человеческие руки. Волшебная сила, заключенная в ней, не что иное, как умелость и сноровка этих рук.

Поэтическая, философски обобщенная сущность фантастических событий, сказочных образов, однако, не ослабевает, не исчезает из сказов — лукавые бажовские оговорки ее только резче выявляют. Старые горщики дедко Ефим, Кокованя, Никита Жабрей, Семеныч, бабка Лукерья и другие объединяют мир реального с миром фантастического. Они являются хранителями *реального опыта* рабочих, а также тех *легенд*, какие возникают в недрах гор, в лесах, на приисках и служат *средством поэтизации труда,* средством *образного эмоционального закрепления этого опыта,* что способствует его хранению и передаче новым поколениям.

В образах старых горщиков — поэзия трудового познавания природы. Возникает мотив дружбы и единения человека с «тайной силой». В сказах «Малахитовой шкатулки» именно раскрытие чудесной сущности фантастического персонажа ведет к сближению его с героем-человеком.

Когда перед старателем появляется Великий Полоз в виде человека в кафтане «из золотой, слышь-ко, поповской парчи», в желтой шапке с «красными зазоринами» или рудокоп встречает Хозяйку Медной горы, на которой «из шелкового, слышь-ко, малахиту платье», то здесь еще нет ничего, кроме *внешнего своеобразия.* Но им могут обладать не только Полоз или Малахитница, а и вполне реальные люди.

Разве менее необычно выглядит в далекой уральской деревне приехавший сюда французский придворный ювелир: «Одежа, конечно, французского покрою, ботинки желтые, перчатки по летнему времени зеленые, на голове шляпа ведерком, а вся белая, только лента по ней черного атласу. В нашем заводе отродясь такой не видали». Причудливый вид имеет и

заводовладелец в сказе «Травяная западенка»: он «завсегда будто в белых штанах в обтяжку ходил, а на шапке от бусой лошади хвост». И уж совсем дикарской пышностью для глаз рабочего человека выглядят наряды царедворцев: «По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны» («Малахитовая шкатулка»).

Нет, ощущение чудесного передается Бажовым не через внешнее своеобразие, *а путем раскрытия внутренней сказочной сущности образа*. В фантастических персонажах его сказов всегда есть что-то мощное, сильное, заставляющее понимать, что не с простым человеком имеешь дело. Сказочный змей Полоз раскрывается через такую деталь: «Мужик такого же росту, как Семеныч, и не толстый, а, видать, грузный. На котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась». Змеевка, дочь Полоза, пришедшая на рудник в образе простой рыженькой девчонки, смиряет обидчика-старателя: «уставилась глазами-то, у Костьки и руки опустились, ноги задрожали, страшно ему чего-то стало» («Змеиный след»).

Огромной внутренней мощью, проявляющейся в одном движении, одной детали, отличается от обыкновенного человека «тайная сила». Эта мощь является поэтическим выражением реальной мощи сил природы.

И все же в сказах Бажова человек не преклоняется перед этими силами, не объявляет их непознаваемыми. Он противостоит им как равный.

Человек равен «тайной силе» своей творческой мощью, своим чудесным трудом.

Рядом со старым опытным рудознатцем в старательском цикле сказов Бажова всегда встает второй герой — молодой золотоискатель, рудокоп, в котором опытные горщики и «тайная сила» пробудили ненасытную жажду исканий. Это и есть тот «первый добытчик», кому посвящен новый цикл сказов. Таков мальчуган Федюнька, что упрямо ищет и находит Огневушку-Поскакушку; паренек Дениско, которому Никита Жабрей рассказывает о заветном месте, где водятся золотые самородки, имеющие форму лапотков («Жабреев ходок»), и приисковый рабочий Илюха, какой полюбился Синюшке за смелую веселую сноровку в труде («Синюшкин колодец»), маленькие старатели Ланко Пужанко да Лейко Шапочка («Голубая змейка») и многие другие.

Юными героями Бажова в их поисках руководит не жадность, не стремление разбогатеть, а желание проникнуть в тайны природы. Посулила Синюшка показать Илюхе свои несметные сокровища, но не позарился он на них,— ведь пришел к волшебному колодцу, потому что слыхал: бабка-то красной девицей оборачивается.

Испытывает его Синюшка. Из колодца синий столб выметнуло. Вышли одна за другой девушки — царевна в половину сосны ростом, с золотым подносом, на котором «песок золотой, каменья дорогие, самородки чуть не по ковриге», за нею — купеческая дочь с подносом из серебра. Но отказывается от этого богатства Илюха. И только когда обернулась бабка Синюшка простой девчонкой в синеньком платьице и синеньком платочке да подала ему старое решето, полное ягод, и сказала: «Прими-ка, мил друг Илюшенька, подарочек от чистого сердца»,— тогда только, заглядевшись в синие девичьи глаза, принял он дар Синюшки.

Не кланяются герои сказов ни барам, ни богатству. Недаром заветная их мечта, что настанет время и «отнимут, поди-ка, люди у золота его силу» («Дорогое имячко»).

Подросток-сирота Дениско отказывается унижаться перед загулявшим золотоискателем Никитой Жабреем, который пригоршнями швыряет в толпу ребят конфеты и серебряные рублевки.

Никита пробует сломить «гордыбаку». «Выхватил из-за пазухи пачку крупных денег и хвать ими перед Дениском. А тот, видно, тоже парнишко с норовом, говорит: «Сказал — милостинку не собираю, а с собачьего бросу и подавно». Никита от таких слов себя потерял: стоит — уставился на Дениска. Потом полез рукой за голенище, выволок тряпицу, вывернул самородку,— фунтов, сказывают, на пять,— и хлоп эту самородку под ноги Дениску, а сам кричит: «Не хвастай через силу! Это ты у меня подымешь!» — Ну, Дениско... не поднял. Поглядел только да сказал: «Такой бы лапоток самому добыть лестно, а чужого мне не надо». Повернулся и пошел» («Жабреев ходок»).

Уважение к труду, а не к богатству характерно и для Дениски и для старого малахитчика Евлахи Железко, о котором известно было, что такого не купишь, сколько ни сули, потому что «уважает человек свое мастерство. Дороже денег его ставит» («Железковы покрышки»).

Чудесная рукодельница Танюшка («Малахитовая шкатулка») требует, чтобы ей показали самое царицу. Рабочая девуш-

ка ставит себя выше царицы — та только праздная диковинка, а Танюшка — настоящий человек, ибо труд ее полезен и нужен людям. Попав во дворец, девушка чувствует себя тут хозяйкой, ведь дворец создан руками рабочих людей, и есть в нем целая палата, «малахитом тятиной добычи» отделанная. Танюша богаче царицы, ибо владеет не мертвым богатством, а *самым источником всех богатств — чудесным человеческим трудом,* доставшимся ей в наследство от многих поколений искусных мастеров. Девушка гордится мастерством своего отца, гордится рабочими людьми, среди которых выросла.

Несмотря на то, что в основе старательских сказов Бажова лежит такая сюжетная ситуация, как раскрытие «земельных богатств» и овладение ими, здесь нет столь характерного для фольклорной сказки и, в частности, для горняцких «тайных сказов» мотива волшебного обогащения.

Нашла руднишная девушка Васенка дорогой камешек. Продали его, «понятно, не за настоящую цену, а все-таки хорошие деньги» взяли. Маленько и вздохнули» («Ключ земли»). Дети рудокопа Левонтия, получив от Полоза богатимое золото, «не то, чтобы дом затейливой, а так избушечку справную» поставили. Мать их нарадоваться не могла, «что хоть в старости свет увидела» («Змеиный след»). А старик Кокованя, что гонялся за Серебряным копытцем, нашел драгоценные хризолиты и «полшапки камней нагреб».

Таковы размеры волшебного богатства в сказах Бажова. Оно дает героям только скромный достаток и, самое главное, не служит средством наживы, дальнейшего обогащения.

В фольклорной сказке зачастую волшебное богатство выступает как растущее и умножающееся.

Герои Бажова отвергают понятие богатства как материальных ценностей, приносящих доход, наживу. С ними в сказы приходит чисто горняцкое понятие «земельного богатства», то есть природных богатств земли, горных недр, какие по праву принадлежат тому, кто их открыл и добыл. В сказе «Ермаковы лебеди» герою — Василию Тимофеевичу — вещие птицы и «речные дороги показали» и открыли ему «все здешнее богатство». «Поднимет лебедь правое крыло, как покажет на горку какую, либо на ложок, поглядит Василий на то место и увидит насквозь: где какая руда лежит, где золото да каменья. Поднимет лебедь левое крыло, и Василию весь лес на берегу на многие версты откроется: где какой зверь живет, какая птица гнездится. Ну, как есть все».

Однако Бажов отнюдь не игнорирует и другой стороны природных богатств: их способности при известных условиях превращаться в богатство денежное, приносящее доход. И тут в сказах «Малахитовой шкатулки» на смену удаче, волшебному обогащению приходит *мотив иллюзорности сказочного богатства и разрушающей силы алчности*. В сказе «Синюшкин колодец» бабка Лукерья предостерегает внука Илюху против «худых думок... про деньги да про богатство».

«— Как же тогда,— спрашивает Илья,— про земельное богатство понимать? Неуж ни за что считаешь? Бывает ведь...

— Бывать-то бывает, только ненадежно дело: комочками приходит, пылью уходит, на человека тоску наводит»,— отвечает бабка, имея в виду «счастливые комышки», как зовут старатели золото. Обратившись в деньги, золото уходит из рук человека пылью.

Живая природа в образе «тайной силы» восстает против мертвящего отношения к ее дарам, она жестоко наказывает виновных. Как только кто-нибудь пытается превратить в деньги ее чудесные самоцветы, золото, руды, Малахитница обращает свои богатства в пыль, пустоту, ничто. «Стали те камешки из мертвой степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль».

Счастье, заключающееся в обладании богатством, сказы Бажова осмеивают. Здесь произошло поэтическое изменение сказочной концовки, какая завершает все испытания героев формулой: «стали жить-поживать да добра наживать». Иронически полемизируя с этой концовкой, Бажов говорит о своих героях, что они «жили-поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, и у всякого дело было» («Серебряное копытце»).

Счастье для героев Бажова не в приумножении богатства, а в радостях творческого труда и познании мира.

6

Любовь к труду, гордость своим мастерством, непрестанное стремление совершенствоваться — вот качества, какие воспеваются на каждой странице бажовской книги. Недаром старенькая бабка Лукерья учит своего внука Илюху, молодого рабочего с прииска: «Ходи веселенько, работай крутенько», и тогда «и белый день взвеселит, и темна ноченька приголубит,

и красное солнышко обрадует» («Синюшкин колодец»). Так и жил Илюха — как бабка Лукерья велела,— ища радость в работе. О нем судачили: «Не иначе, знает Илюшка какую-то словинку,— то он и удачливый, и по работе ему устатка нет». Под конец и вправду полюбился парень сказочной Синюшке, полюбился за простоту да за веселую сноровку в труде.

Удачливым считали на заводе и прокатчика Гриньшу Рыбку, парня «не то чтоб сильно могутного», но зато «на работу ловкого», на которого в труде «со стороны смотреть любо» («Круговой фонарь»). Стали было допытываться, почему, дескать, у него «в работе спорина, по семейности порядок и по домашности гладенько катится. Нет ли в том какой тайности?» Ту же тему, что и в сказе «Синюшкин колодец», Бажов решает здесь уже не в фантастическом, а в реальном плане. Гриньша-мастер охотно открывает свой «секрет». Удача во всяком деле к нему не сама приходит, умом да трудом он ее завоевывает. «Никакой,— говорит,— тайности в том деле нет, а только я приметливый и ни одно дело ниже другого не ставлю. По-моему, хоть железо катать, хоть петли метать, траву косить али бревна возить — всему выучка требуется, и не как-нибудь, а по-настоящему».

— Творческий труд,— говорит П. Бажов,— создает не только материальные, но и духовные ценности, он формирует и закаляет человеческие характеры.

Герои Бажова видят и глубоко чувствуют красоту, радость труда, но они непривычны услужать, кланяться, гнуть спину. Паренька Данилку взяли «в казачки при господском доме: табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось». Не вышло из Данилы «хорошего слуги», зато вышел чудесный мастер («Каменный цветок»).

Наряду с образами положительных героев в сказах даны сатирические образы отрицательных персонажей. Это или праздные, вырождающиеся баре-заводовладельцы, или лакейские души — приказчики, надзиратели, «щегари». Объединяет их общая черта — неспособность и даже ненависть к труду.

О герое сказа «Сочневы камешки» говорится, что он «смолоду-то около господ терся, да за провинку выгнали его. Ну, а зараза эта — барские-то блюдья лизать — у него осталась. Все хотел чем ни на есть себя оказать. Выслужиться, значит. Ну, а чем он себя окажет? Грамота малая. С такой в приказные не возьмут. На огненную работу негож, в горе и недели

не выдюжит». Сочень избрал «себе ремесло по рылу — стал у конторы нюхалкой-наушником промеж старателей».

О «Северьяне-убойце», приказчике из разорившихся дворян, тоже говорится, что «в заводском деле он, слышь-ко, вовсе не мараковал, а только мог человека бить» («Приказчиковы подошвы»).

Северьян, Ванька Сочень, Яшка Зорко, Кузька Двоерылко и другие отрицательные персонажи сказов — люди ничтожные, никчемные, это, пользуясь горняцким термином, «пустая порода». Их внутреннюю сущность П. Бажов изобличает, прибегнув к излюбленному своему приему — вещной сатирической метафоре. Так, в сказе «Приказчиковы подошвы» Хозяйка горы карает Северьяна-убойцу за его лютые издевательства над рабочими. Она и обращает приказчика в каменную глыбу. Но вот странность: когда пытаются добраться до Северьяна, убеждаются, что там, где должно быть его тело,— одна пустота, хотя вокруг первосортный малахит. Метафора — «пустая порода» — обрела вполне материальный образ.

Как в сказах, где в центре действия стоят положительные герои, так и в сказах-сатирах утверждается тот оптимистический взгляд, что человек сам является хозяином своей судьбы. Нет здесь карающей десницы, рока, некоей неотвратимой силы, творящей правый суд вне воли, желаний и стремлений героев. Всем, даже самым худшим из людей, дается возможность и время одуматься, исправиться, изменить свою судьбу. Но не всякий человек способен этим воспользоваться. Выйти с честью из тяжких испытаний может только человек труда.

Трижды предупреждает Хозяйка Медной горы Северьяна, чтобы он перестал лютовать. Трижды дает ему знать о своем гневе: ноги у приказчика в землю врастают. Но на Северьяна ничто не действует. Ведь передумать свою жизнь, изменить все ее течение, переломить себя и свои привычки — все это труда требует. А к труду, к усилиям Северьян и ему подобные не способны.

Увидав смерть лицом к лицу, Северьян в ужасе пытается униженно вымолить себе пощаду. Но разжалобить Хозяйку горы невозможно. Она ждет от человека не покорности и трусливых молений, а требует от него мужественной борьбы с худшими свойствами его собственного существа. *Поиски человека в человеке* — вот та новая функция, какую обретает Малахитница в сказах П. Бажова.

Дениско — молодой старатель («Жабреев ходок»), подлинный человек труда. И его воля, мужество, его стойкость не

случайны. Они воспитаны привычкой к труду тяжелому и упорному. Только благодаря этому Дениско сумел выдержать испытание, принесенное ему «тайной силой», когда довелось ему открыть месторождение чудесных самородков — золотых лапотков. Из земли «два камня высунулись, ровно ковриги исподками сложены: одна снизу, другая сверху. Ни дать ни взять — губы». А внутри скат крутой вниз, и по нему золотые лапотки разбросаны. Раскрылись каменные губы, словно приглашают юношу: бери золота, сколько тебе надобно. Денис проник в нутро горы, «очистил место и давай из песка золотые лапотки выковыривать. Много нарыл больших и маленьких. Только глядит — темней да темней стаёт, губы закрываются». Это грозное предупреждение «тайной силы» не осталось втуне для Дениса. Понял он свою ошибку и сумел переломить себя. «Денис и смекает: «Видно я пожадничал, куда мне столько? Возьму две штуки... и хватит». Надумался так — губы и раскрылись — выходи, дескать». Доказал Дениско, что он хозяин самому себе, не стал хищным захватчиком и разорителем богатств природы.

Когда чудесной вышивальщице Танюшке («Малахитовая шкатулка») барин за ее работу пытается заплатить лишнее против договоренной цены, она с достоинством отказывается. Заказчик «подает, конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла. «Не привышны,— говорит,— мы подарки-то принимать. Трудами кормимся».

Попав во дворец царский, Танюшка и не думает ни в чем подлаживаться к здешним порядкам, унижать себя как рабочего человека. Отправляясь во дворец, она «...подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку... Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают — не дозволено, говорят, заводским-то... Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи глядят — платье-то! У царицы такого нет!» А это платье, сработанное Танюшкиными руками. Заводская рабочая девушка по всем статьям превзошла самое царицу.

Оптимизм сказов «Малахитовой шкатулки» имеет в основе твердую веру в человека, в силу его труда. Она-то и делает бажовских героев способными направлять и определять свою судьбу.

Основные их черты писатель искал и находил в реальных характерах тех безвестных умельцев, имена которых старая буржуазная наука не считала нужным заносить на страницы истории.

Не только выдающимся художником слова был Бажов, но и энциклопедически образованным человеком, до мельчайших деталей знавшим родной край, экономику Урала, историю труда и борьбы уральского рабочего. Он придавал огромное значение как исторической документации, так и устной, неписаной истории края и неустанно заботился о том, чтобы малейшие ее крупицы были бережно собраны.

Роясь в уральских архивах, знакомясь с учеными трудами, изучая самое жизнь, П. Бажов находил многочисленные свидетельства творческой силы русского народа, его талантливости, умения прокладывать новые пути в труде.

«Возьмите хотя бы горщиков,— говаривал не раз П. Бажов.— Коренная уральская профессия, и сколько в ней поэзии... У нас ведь и мастерство здесь коренное, старинное. Еще в давно прошедшие времена столько было самородков, крупных талантов, новаторов». И неизменно приводил примеры с открытием особой «екатеринбургской грани» («а ведь мастера были связаны традиционными образцами грани византийской и немецкой. Нашелся же смелый человек и пошел своим особым путем!») или «брусницынским золотом», которому мечтал посвятить новый цикл сказов. «Любопытна, например, история с золотом,— рассказывал П. Бажов.— Найти-то его нашли, а что с ним дальше делать — не знают. Стали плавить. Выплавили в год всего восемьдесят пудов. И что же, простой штейгер Брусницын предложил свой способ дробить и промывать руду. Сразу счет пошел на сотни пудов. С той поры так и стали звать: брусницынское золото. Разве это не новаторство?»

Характерно, что ряд бажовских сказов, которые воспринимаются как поэтические легенды о талантливых мастерах, в действительности основаны на подлинных исторических фактах, и героями их являются реальные люди, русские умельцы. И. Косиков, директор Златоустовского музея [1], приводит любопытные данные о герое сказа «Иванко-Крылатко» — мастере Иване Бушуеве. Это был один из тех златоустовских мастеров, которые более полувека тому назад создали целую школу рисунка по металлу. В музее хранится оружие, покрытое «затейливой вязью орнаментов», изображениями «целых баталий и мифологических происшествий», чего не решались делать иностранные мастера, ограничиваясь «арматурами и гир-

---

[1] Альманах «Южный Урал», 1951, № 5, стр. 35—37.

ляндами», как писал в 1826 году журнал «Отечественные записки». Также и уралец Б. Переберин в очерке «Каслинские мастера», говоря о реальной исторической основе сказов Бажова, особо останавливается на личности литейщика Василия Федоровича Торокина, чья деятельность относится к концу XIX и началу XX века. Это был подлинный народный самородок, большой художник-реалист. «Он слепил, а затем сформировал и отлил изумительную скульптуру «Старуха с прялкой», описанную в известном сказе П. Бажова «Чугунная бабушка». Василию Торокину принадлежат также такие известные скульптуры, как «Поездка кулака на праздник», «Крестьянин на пашне», «Углевоз», «Литейщики на работе», и поныне считающиеся лучшими образцами каслинского художественного литья» [1].

Самое обращение П. Бажова в его поэтических сказах к уральскому горнозаводскому краю, к его рабочим людям, их деятельности и определило своеобразие повествования, присущую писателю конкретность в обрисовке трудового быта уральских «умельцев». Так, герой сказа «Коренная тайность», медеплавильщик дедушка Швецов, показан с заветным сундучком, где хранятся образцы различных руд, из которых создает он свои чудесные сплавы. «Тайность»-то вся в этом сундучке заключена. Камнерез Евлаха Железко («Железковы покрышки») обрисован вместе с его «по-нынешнему» рабочим местом. Работал он в своей мастерской: «Избушка, известно, небольшая... как полагается, станок с кругами, печка-железянка. Чистоты, конечно, большой нет, а все-таки в порядке разложено, где камень, где молотая зеленая руда, шлак битый, тоже уголь сеяный и протча».

Однако производственная деталь в сказах «Малахитовой шкатулки» не только элемент чисто повествовательный, не только средство характеризовать героя, но вместе с тем зачастую и образная форма глубокого идейного обобщения. В сказе «Чугунная бабушка» именно с помощью живописной производственной детали П. Бажов выражает свое творческое кредо, свой взгляд на сущность мастерства и на долг художника.

Мастер по художественному литью дядя Вася, или Василий Торокин, вместо «Еркулесов и Лукавонов» и парней «с крылышками на пятках» вылепил простую соседскую бабку Анисью за ее повседневным занятием — за прялкой: «Тут

---

[1] Альманах «Южный Урал», 1951, № 5, стр. 100.

тебе и кадушка, и ковшичек сбоку привешен, и бабка сидит, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбе, вот-вот ласковое слово скажет». Мастер, как подчеркивает П. Бажов, создал настоящее произведение искусства именно потому, что вместо условных фигур воспроизвел самое жизнь во всем богатстве реальных деталей.

В сказе «Шелковая горка» писатель полемизирует со старой официальной историей Урала, да и с теми современными романами, которые идут в русле традиционных представлений о развитии края, изучая деятельность отдельных исторических персонажей, забывают о главной творческой силе — народе. Устами рассказчика П. Бажов говорит, что заслуга Демидовых перед русской горнозаводской промышленностью, бесспорно, велика, но нельзя забывать о народе, без которого ничего разным «генералам-строителям» осуществить бы не удалось. «...Не сами Демидовы руду искали, не сами плавили да до дела доводили. А ведь тут много зорких глаз да умелых рук требовалось. Немало и смекалки и выдумки приложено, чтоб демидовское железо на славу вышло и за границу поехало. Знаменитые, надо думать, мастера были, да в запись не попали».

Здесь, по сути, писатель открывает секреты собственного мастерства и сущность концепции народного характера: опыт народа, труд многочисленных умельцев и является движущим началом истории.

Героиня сказа — одна из талантливых дочерей народа, создав целую отрасль в горнозаводских ремеслах, осталась в безвестности. Эта невьянская крепостная девушка Марфуша Зубомойка «из себя не больно казиста была, а характеру легкого, веселая и до того на работу ловкая, что любой урок ей нипочем. Будто играючи его делала». Любила она свою работу, была отменной рукодельницей. И как все герои Бажова, она «не книзу глядела» — «на то, значит, что сделано», а кверху — «как лучше делать надо».

Заприметила Марфуша чудесную горку. «Небольшая горка, а заметная. Сдаля поглядеть, так на ней ровно шелковые платки разбросаны». А это камень так на «солнышке-то блестит и зеленым отливает». Не простой оказался тот камень, исколотишь его тяжелым, он распушится, как куделя. Задумала Марфуша ее прясть. Долго испытывала она каменную куделю, пока не нашла способа, как нитки из нее делать. И стали с тех пор в Невьянске неопалимые кружева вязать, а Демидов в столицу их возил и большую от них выгоду имел.

Народным умельцам посвящен и сказ «Коренная тайность». Рядом с талантливым металлургом XIX века Аносовым П. Бажов поставил его помощника, крепостного мастера Швецова, и любовь его прежде всего на стороне рабочего, того, кто, сделав огромный вклад в отечественную металлургию, так и не был «в записи занесен». С горечью рассказывает Бажов о типичной судьбе крепостного изобретателя. В конце жизни заводское начальство стало притеснять старого мастера. Напомнил было он: «Семь десятков лет на заводе работаю и не на каком-нибудь малом месте, а варю аносовский булат, про который всему свету известно. Да еще добавил: и мои, поди, капельки в том булате есть».

Высмеяло старика начальство: «Зря, дед, гордишься. Твоего в том деле одна привычка. Все остальное в книжках написано, да у нас в заводском секрете еще запись аносовская есть. Кто хочешь по ней эту сталь сварит».

Разобиделся старый мастер, что его труд ни во что не ценят, и ушел с завода. Хватилось начальство, да поздно. «Кого ни поставят на это место, а толку нет».

В послевоенных сказах «Васина гора», «Рудяной перевал», «Широкое плечо», «Златоцветень горы», «Живой огонек» и других в центре повествования обычно дается «случай из жизни», бытовой эпизод из рабочей практики, который П. Бажов силой мастерства поднимает до уровня большого философского, этического обобщения.

Рассказчиком, как и раньше, выступает старый, бывалый горщик. Он, оглядываясь на пройденный путь, учит на простых, казалось бы, обыденных примерах, как надо достойно жить. Так, «Васина гора», по гребню которой проходила граница заводской территории, превращается в сказе в обобщенный образ жизненных трудностей, испытаний, неизбежных в труде препятствий, которые человек должен уметь преодолевать. «Вот видишь,— говорит сторож Василий мальчугану-подручному,— гора-то на дороге силу людскую показывает. Иной по ровному месту, может, весь свой век пройдет, а так своей силы и не узнает. А как случится ему на гору подняться вроде нашей, с гребешком, да поглядит он назад, тогда и поймет, что он сделать может. От этого, глядишь, такому человеку в работе подмога и жить веселее. Ну, и слабого человека гора в полную меру показывает: трухляк, дескать, кислая кошма, на подметки не годится».

Сказ «Широкое плечо» — на таком же подчеркнуто бытовом примере — говорит о силе единства трудящихся людей,

о могуществе коллектива, а «Живой огонек» — о новом качестве мастерства, которое рождается оттого, что «либо долголетние рабочие навыки хорошо освещены наукой, либо книжные знания прочно закреплены рабочей практикой».

Бажовские сказы проникнуты глубоким уважением к талантливым рабочим людям прошлого, которые хотя и не вошли в официальную историю, но немало творческой мысли и упорного труда вложили в дело создания отечественной промышленности. Огромны силы народные были и в прошлом,— говорят нам сказы «Малахитовой шкатулки»,— но простор им дала только Октябрьская революция.

Умер одинокий и непризнанный мастер Швецов («Коренная тайность»), унес с собой секрет аносовского булата. Бажов завершает сказ раздумьем: «Обидно... а как осудишь старика... Вздохнешь только: «Эх, не дожил старик до настоящих своих дней!»

А концовка сказа «Шелковая горка» прямо уже сближает события давних времен с современностью. Героиня его, выдумщица из Невьянска, обращается из глубин истории к нам, советским людям: «Здоровенько живете, мои дорогие. Вижу,— на высокую гору поднялись. Желаю еще выше взобраться. При случае и нас с малых горок вспоминайте. Демидовской крепостной девкой звалась, а ведь не так это... Не демидовские мы, а ваши. По всем статьям: по крови, по работе, по выдумке».

Писатель неизменно обращается к современности, напоминая, что новые условия человеческого существования — социализм — способствуют дальнейшему развитию и обогащению лучших свойств народного характера. «Ныне вон многие народы дивятся, какую силу показало в войне наше государство,— говорится в сказе «Коренная тайность»,— а того не поймут, что советский человек теперь полностью раскрылся. Ему нет надобности свое самое дорогое в тайниках держать. Никто не боится, что его труд будет забыт либо не оценен в полную меру. Каждый и несет на пользу общую, кто что умеет и знает. Вот и вышла сила, какой еще не бывало в мире».

Поэтичнейшие из своих сказов писатель посвятил Владимиру Ильичу Ленину: «Солнечный камень», «Богатырева рукавица», «Орлиное перо».

Покидают два старателя уральские заповедные края, идут ходоками в Москву рассказать Ленину о богатстве горных недр («Солнечный камень»). Находят они здесь и поддержку

и помощь: осуществляется их заветная мечта о том, чтобы стали эти богатства достоянием всего народа.

В сказе «Орлиное перо» выражена мысль о том, что каждый трудовой человек хранит в своем сердце слово Ленина. И это поднимает, возвышает людей, открывает им в жизни широкие просторы да новые пути. Герой этого сказа, старик-золотоискатель, повстречался в жизни с ленинской правдой и понял самого себя, что хоть «трудился много», а невысоко все же поднялся, были у него «крылышки маленькие, слабые». А как понял это, словно всю жизнь свою разглядел с высоты орлиного полета. Ведь ленинское слово «уму-разуму учит. Чтоб не больно гордились своими крылышками, а к высокому свету тянулись» — к большим, смелым делам.

Мысль, заложенная в этом сказе Бажова, лейтмотивом проходит во всем его творчестве: правда коммунизма одухотворяет, поднимает на подлинную высоту народное мастерство, народный опыт, копившийся веками, и способствует невиданному в истории расцвету народных талантов. Светлыми сказами «Малахитовой шкатулки» продолжены лучшие традиции классической русской литературы. В них выражена глубокая вера художника в свой народ, уважение к трудовому человеку. Великими идеалами нашего времени освещены бажовские сказы, то неудержимо задорные, то необычайно лиричные, столь самобытные и полные поэзии. Во все концы земли несут они гордую славу русских трудовых людей, тех, кто умеет смело преображать жизнь.

8

Великолепный знаток истории родного уральского края, П. Бажов придавал решающее значение использованию в сказах характерных бытовых деталей, таких, в которых запечатлелось бы все своеобразие социальных отношений и трудового быта горнозаводского населения. Подобные детали прочно входят в ткань повествования, составляют его жизненную основу. Один из героев сказа «Шелковая горка» назван «пришлым» — на демидовском заводе он невесть откуда появился. Но тут совсем не случайность, а драматическое социальное явление. Герой этот один из крепостных рабочих, что бежали с «казенных заводов». Демидов его «с охотой принял», потому что он «в руде да каменьях толк понимал». Велел ему: «как тебя раньше звали, про то забудь. По моим бумагам будешь

называться Юрко Шмель из Рязанской земли, а годов тебе считай с Егорьева дня тридцать пять».

Писатель поясняет особенности подобной ситуации — на свой как бы лад,— продолжающей и подтверждающей события, положенные в основу гоголевских «Мертвых душ». В сказе говорится: «В ту пору этакое бывало. Демидовские прислужники по разным местам у помещиков покупали беглых крепостных с условием,— если поймают, на завод навсегда забрать». Однако подоплека этой торговой сделки — покупки «беглых», а по сути тоже «мертвых», как бы не существующих человеческих «душ» — была сложнее: «На деле вовсе и не думали ловить, а по этим бумагам всяких пришлых принимали. Старались, конечно, подгонять по годам, но бывало и так, что молодого зачисляли по стариковским бумагам. Если заживется, несуразно выходило: считает себе человек чуть не сотню годов, а на деле и полсотни нет». Так сплетались неразрывно крепостническое и частнопредпринимательское хищничество.

О тяжких последствиях этого хищничества для развития горнозаводского края говорит картина упадка, отсталость производства, воссозданная писателем во множестве жизненных подробностей, которые он наблюдал изнутри, будучи сыном той самой рабочей среды, которой посвящены его сказы, начав трудовую жизнь в этих жестоких социальных условиях.

На совершенствование методов труда, производства предприниматели денег не тратили — им бы сорвать прибыль поскорей да любыми средствами. «Застал еще то время,— говорит старый забойщик в сказе «Рудяной перевал»,— как породу черемухой долбили. Лом такой был. Пудов на пятнадцать весом. Чтоб не одному браться, у него в ручке развилки были. Вот этакой штукой и долбили». Тяжкими предстают в бажовских сказах и условия жизни горнозаводских рабочих. Описание «рудничной казармы» дано в том же сказе точными бытовыми деталями. «Казарма, видишь, вроде большого сарая. Из бревен все-таки, и пол деревянный, потому — места у нас лесные, недорого дерево стоит. В сарае нары в два ряда и три больших печи с очагами. Над очагами веревки, чтобы онучи сушить. Как все-то развешают, столь ядреный душок пойдет, что теперь вспомнишь, и то мутит». Сюда-то после долгого трудового дня и приходят рабочие. «Что измазаны да промокли до нитки — это еще полгоря. Хуже, что за день всяк измотался на крепкой породе до краю». Но писатель показывает и иное — внутреннюю стойкость, твердость и духовную несокру-

шимость рабочего люда — вернулись усталые, измученные — «а разуются, разболокутся, сполоснут руки у рукомойника — сразу повеселеют, а похлебают горяченького либо хоть всухомятку пожуются — и вовсе отойдут. Без шуток-прибауток да разговоров разных спать не лягут...»

Трудовой народ в жестоких условиях социального гнета всегда предстает у Бажова сильным, деятельным, достойным лучшей участи. Зато иронически, беспощадно рассказывает писатель и о барах-заводчиках и о новой породе хищников, о разных дельцах и предпринимателях, жадно проникавших в различные области жизни горного края. Обрисованы они во множестве сочных социально-исторических деталей, иронических характеристик и оценок рассказчика, щедро разбросанных в повествовании. Если заводское начальство для настоящего работника — «как пузыри в ложке: хоть один, хоть два, хоть и вовсе не будь»,— имей он только возможность от всех этих «сударей и присударей» отделаться, то не лучше и «новые хозяева» — разные там купцы да подрядчики, лабазники да «лавочные сидельцы, кои навыкли всякого покупателя оболтать да облапошить».

Заприметили мастера таких дельцов. Приехал один вроде Тагильские и Невьянские «заводы да рудники осматривать». Не иначе, как прослышал о здешней «тайности», захотел выведать секрет хрустального лака. «Глядит легонько, с пятого на десятое, а мастерские, в коих подносы делали, небось, ни одну не пропустил». Ни с чем уехал, да за ним другой явился, тоже как «порховка» повсюду летает. Ну, заводские, понятно, догадались, о чем приезжий хлопочет, «меж собой пересмеиваются: — Ходит кошка, воробья не видит, а тот близенько поскакивает, да сам зорко поглядывает». Проучили они хорошенько предприимчивого «порховку», позарившегося на их производственный секрет, понадеявшись его выкрасть с помощью винишка да денежных посулов. Писатель вводит и здесь историческую деталь: не удался грабеж дельцу,— ведь тут «за деньги... никого купить невозможно,— потому — видать, за эту тайность у всех мастеров головы позаложены. В случае чего остальные артелью убить могут» («Хрустальный лак»). В жестоком мире частного предпринимательства возникали у трудовых людей и жестокие законы самозащиты от разного рода хищников.

Историческая, бытовая деталь в сказах Бажова всегда остросоциальна, с ее помощью писатель открывает целый пласт общественных отношений.

Рассказывая о старинных кулачных боях — «раньше по нашему заводу обычай держался,— праздничным делом стенка на стенку ходили» («Широкое плечо»),— писатель дает яркую картину именно социального расслоения заводского поселка. Соревнование в силе и ловкости шло между разными его «концами»: с одной стороны «слесарский конец», где жили рабочие механической фабрики — слесари да токари,— и «ямской». Там, на «ямском» конце «...две больших гоньбы содержалось от разных подрядчиков. Там же хлебные лавки стояли да сколько-то постоялых дворов. В ямщики народ дюжий подбирался, а в молодцы при хлебных лавках и того крепче, чтоб с пятипудовыми мешками играючи обходились». Нелегко рабочим было с ними соревноваться. Ведь каждый заводский с «малолетства в копоть фабричную попал», где уж тут здоровью быть, «румянцу-то у него разыграться не от чего». У которого щеки покраснели, так не от солнышка либо морозу, а от мелкой железной сечки. Впилась она,— не выскребешь». И все же заводские одолели своих противников, ямщину и лабазников, потому что выступили против них «широким плечом», по-рабочему — все заедино, а не вразброд, чтобы самому только «перед другими покрасоваться». Да и сноровка рабочая сказалась,— слесарь-то «по всяк день молотком играет. Хоть с локтя, хоть с плеча без промаху бьет». И добрая выдумка помогла — в какую жилочку лучше удар наносить. А лабазники тужились, «подстав» делали, то есть умелых бойцов со стороны нанимали, деньги большие им платили, да ведь «купленный — он купленный и есть», потому и не довелось одолеть заводских, которые «широким плечом» на них шли, за свою честь стояли. Потом допытывались лабазники у героя сказа, который кулачным боем верховодил на своем конце. «Что,— спрашивают,— за плечо такое? Чем расхвастался? — А это,— отвечает,— по вашему разумению и не втолкуешь. Народ вы одиночный: кто на козлах, кто при своей лавке либо постоялом сидит, а широкое плечо тому вразумительно, который с другими сообща в работе идет».

Социально-историческая, бытовая деталь в сказах Бажова никогда не является чисто повествовательной, а приобретает активную сюжетную функцию, ведет к широкому философскому обобщению. Именно потому так строг художник в отборе подобных деталей, так требователен к исторической их точности и содержательности.

П. Бажов неизменно напоминает о важности подлинного знания фактов и явлений избранной художником эпохи, их дей-

ствительного смысла и взаимосвязи. В одном из своих писем Бажов говорил: «Старикам часто не удается выпутаться из-под власти прежних исторических образов, а люди основного возраста, как известно, не очень-то занимались историей. Они вон «гулящих людей» представляют по Чапыгину вроде бродяг, а ведь это совсем не похоже... Если брать параллели из позднейшего времени, так выйдет примерно, что гулящие равнялись почетным или личным гражданам: они не принадлежали к привилегированному сословию, но и не были так зависимы, как податные или раньше крепостные, еще раньше — холопы, смерды, чернь.

В сущности, термином «гулящие люди» обозначались ремесленники, имевшие право свободного передвижения по стране. Они отличались от вольных, т. е. отпущенных холопей, как и от бродяг и нищих.

Или другой пример. В пьесе Соловьева «Великий государь» монах-обличитель выходит с четвероконечным крестом на груди, тем самым «латынским крыжом», который в то время был ненавистен московскому населению не менее, чем свастика советскому человеку. Появись такой наглый крыженосец на улицах Москвы времен Грозного, такого бы разорвали на куски, а тут ничего — к царю допустили». (Письмо к Л. Скорино от 10 июля 1946 г.)

К. Боголюбов в своих воспоминаниях приводит подобного же рода критические высказывания П. Бажова об исторических неточностях в романе Костылева «Иван Грозный»: «Читаешь, например, такую сцену, когда Темрюковна в штанах скачет на аргамаке, а потом Иван ее снимает с коня. Разве так могло быть? Ведь это же польский обычай, а совсем не московский. Никогда московский царь и московская царица не могли этого себе позволить».

Решительное осуждение писателя вызвал роман Е. А. Федорова «Демидовы» именно подобными отступлениями от правды исторического факта, произвольным обращением с деталями жизни, быта, психологии людей того времени, о котором идет речь в его произведении. П. Бажов приводит многие примеры подобного нарушения исторической истины. Так, в романе: «приходят скитники из Сибири, просят отлить им колокол и за услугу обещают показать медные и серебряные руды. Сделка состоялась. Доверенный Демидова обследовал место, колокол отлили, и Демидов получил новые богатейшие месторождения. Просто, прочитывается легко, но и рассыпается того легче, если задеть вопрос, зачем сибирским скитникам

пришло в голову обзаводиться колоколом, когда они употребляли лишь било и клепало». (Письмо А. А. Суркову, 1945 г.)

Нетерпимыми для Бажова были подобные «огрехи» в историческом повествовании, увлечение деталями, которые идут вразрез с действительным содержанием и духом изображаемых событий, с характером самой эпохи. Деталь для него была важна отнюдь не как самоцель, он умел за отдельным фактом видеть пласты больших исторических явлений.

Анна Караваева приводит характерную сценку. «Было это в Ревде, куда мы ездили, кажется, зимой 1942 года,— рассказывает она...— Помню, как шли мы с Павлом Петровичем к Ревдинскому заводу, где еще сохранились здания демидовских времен. Был лунный морозный вечер. Мы постояли против здания бывшей демидовской конторы, длинного приземистого корпуса с узкими окнами.

— Здесь толщина стен больше метра,— заметил Павел Петрович и усмехнулся.— Строили Демидовы свои заводские здания тяжко, прочно, будто крепости, уж по крайней мере лет на пятьсот... думали, что их царство никогда не кончится!»

Увлечение внешними приметами эпохи было чуждо, даже нетерпимо для П. Бажова, он неизменно стремился раскрыть самую суть каждого отдельного явления, его связь со всем историческим процессом в целом.

9

Сказы «Малахитовой шкатулки» всеми корнями уходят в гущу русской народной жизни, и не только по своему содержанию, но и по форме, по языку и стилю. Верно определила это Лидия Сейфуллина: «Бажов — хранитель глубинного русского языка», того самого, о котором сказано было — «великий, свободный, *могучий* русский язык». И добавила, что если Мамин-Сибиряк с гордостью говорил о себе: «Я подарил русской литературе целый край», то, несомненно, «многокрасочный наш Урал в восприятии человека нашей эпохи дал нам П. П. Бажов» [1].

Обращение к речевой образности коренного русского языка писатель всегда считал важной стороной поэтического мастерства и неустанно добивался стилевого обогащения своих сказов, придавая решающее значение расширению их словарного состава. «Вначале, когда приступал писать сказы,— го-

---

[1] Л. Сейфуллина. Из рабочих блокнотов. Собр. соч., т. IV, М., «Художественная литература», 1969, стр. 367.

ворил он,— было легко, целое поле свободных слов. А чем дальше, тем труднее. Оглядываешься на уже написанное». Художник остерегался поспешности, опрометчивости в выборе слов, подвергал их тщательному отсеву, прежде чем ввести в ткань повествования. «Ищу слова мучительно долго»,— признавался Бажов. «Над словом работаю... Работа у меня ювелирная...» — шутливо, но верно определял свой стиль писатель.

Автор книги столь, казалось бы, причудливых, фантастических сказов всегда искал в слове отражение реальной истории народа, мыслей и чувств трудовых людей. Ему был важен, по его меткому определению, «запах среды в слове». Он считал, что «художественная правда полноценна лишь при условии, что она дается с основными признаками места и времени».

Хорошо о Бажове сказала как-то Мариэтта Шагинян: «Одареннейший мастер слова, он сумел слить, сочетать свои наблюдения в прозрачную ткань искусства...» [1].

И действительно, в его сказах ярко выражен трезвый народный взгляд на сложность жизненных явлений. Отсюда меткие социальные и бытовые характеристики, жизнерадостная эмоциональная окраска, основанная на свойственном русскому человеку юморе, то лукаво простодушном, то едком и язвительном, пронизывающем самую ткань народной речи. Еще А. С. Пушкин заметил: «...отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» [2].

В свою записную книжку П. Бажов постоянно заносил словечки и речевые обороты, передающие характерные черты быта, психологии уральских горнорабочих. Здесь можно найти такие выражения, как «потовая копейка, мозольная денежка», рисовавшие нищенское житье горняков; «бились в земле», что говорит о тяжком труде золотоискателей: «убойная дорога» — о трудных перевозках готовой продукции с заводов в город и т. д.

Иной раз подобное речение содержит в себе меткую насмешку — «приказчиковы подлокотники», «нюхалки-наушнички» — так определял народ тех, кто прислуживался барам да заводскому начальству. Не менее меткими были и положительные оценки. Сметливому да не ленивому мальчугану говорили: «По годам-то ты Кузя, а по делу на Кузьму Осипыча выходишь». Или о девушке, хоть бесприданнице, да зато

---

[1] «Правда», 4 февраля 1944 г.

[2] А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. 5, Гослитиздат, 1950, стр. 27, 28.

наделенной природными достоинствами: «Жемчугов полон рот, шелку до пояса и глазок веселый, а это всего дороже».

В живописных деталях сказов запечатлелись характерные черты быта. «Избушка, конечно, у них *вовсе не корыстная,*— повествует рассказчик,— *и ворота вроде худого решета*». Вот и жанровая картина выезда тайного скупщика золота на разведку: «...Сам Пименов на своем Ершике выкатил. Коробчишечко легонький, к дрогам удочки привязаны. На рыбалку, видно, поехал. Этот Пименов по тому времени в Полевой самый отчаянный был — по тайному золоту. И Ершика у него все знали. Степнячок лошадка. Собой невеличка, а от любой тройки уйдет. Где только добыл такую! Она, сказывают, *двухколодешная* была, с *двойным дыхом*. Хоть пятьдесят верст на мах могла... Догони ее! Самая воровская лошадка. Много про нее рассказывали. Ну, и хозяин тоже *намятыш* добрый был,— один на один с таким не встречайся» («Змеиный след»).

Лукавые эти словечки: «коробчишечко», «степнячок лошадка», «двухколодешная», «самая воровская лошадка» и о хозяине ее «намятыш добрый» — придают ироническую наивность описанию. Однако за ними скрывается целое социальное явление, встает образ хищника, скупщика «по тайному золоту», с которым «один на один... не встречайся».

Характерной для сказовой манеры «Малахитовой шкатулки» является сатирическая ремарка, представленная то афористической сентенцией, то иронической пословицей, то размышлением вслух. Так, афористична сатирическая характеристика «щедрых заводовладельцев» братьев Мосоловых («Веселухин ложок»). Они сами из плотников вышли, темными путями разбогатели да свой завод и поставили. Иронически замечает рассказчик, что братья еще «до полной барской статьи не дошли», а потому от народу пока «шибко не отворачивались». Иной раз под праздник и объявят, что будет угощенье «за полный хозяйский счет». Но сатирической ремаркой рассказчик едко определяет и характер этой «щедрости» и сущность «единения» с рабочими новых хозяйчиков: «Известно, подрядчичья повадка — год на работе мотают, день вином угощают да словами улещают». Здесь сатирическая ремарка звучит народной поговоркой.

Эмоциональное звучание сатирической ремарки, ее окраска в бажовских сказах чрезвычайно разноообразны. Ремарка может быть злой, насмешливой, грустно-лирической, горькой. Так, в лирическое описание красоты Веселухиного ложка резко, контрастно вплетается злая сатирическая нота: «Мож-

но сказать, само это место к себе и тянет: вот-де хорошо тут на бережке посидеть, трубочку-другую выкурить, костерок запалить да на свой завод сдаля поглядеть,— не лучше ли житьишко наше покажется?» На иронии концовки держится вся лирическая фраза. И эта резкость, острота поворота мысли сразу раскрывает всю беспросветность старой заводской жизни, отравляющую даже скупые радости рабочего люда.

В народных речениях для П. Бажова запечатлены не только социальные явления, но также и психологические. Одна из героинь сказа «Ермаковы лебеди» названа «обманной девкой», и дальше дается живописное пояснение: «бывает ведь,— лицом цветок, а нутром — головешка черная».

В записной книжке П. Бажова находим слова «петушиное перо». И, развивая тут же народный образ, характеризующий забияк, художник создает образ героя: «С петушьим пером родился: по всякому пустяку в драчишку лез, а силенкой не богат. Его и колотили порядком, а парню все неймется. Ко всякому лезет: я-де никому уступать не желаю. Тут вот его стукнули по загривку, да столь набесно, что сразу свалился. Летит это посередине улицы, рот раскрыл, вроде чебака».

Этот отрывок не успел перейти в поэтическую ткань сказа, он так и остался заготовкой. Но здесь явственно видно, как писатель продолжает словотворческую и образную работу народа.

Народ запечатлел в слове и юморе, в легендах и сказах свое поэтическое восприятие явлений жизни, морально этические воззрения, свою мудрость. Недаром рассказчик, дедушка Митрич, говорит: «Тоже ведь сказы не зря придуманы. Иные — в покор, иные — в наученье, а есть и такие, что вместо фонарика впереди» («Старых гор подаренье»).

Герой «Живинки в деле», горнорабочий Тимоха, задумав овладеть всеми ремеслами, стал перед стариками похваляться. «На всякое,— кричит,— дерево влезу и за вершинку подержусь». Но старики его урезонивают: «Вершинка, дескать, мера не надежная: была вершинкой, а станет серединкой, да и разные они бывают — одна ниже, другая выше». И приходится герою сказа задуматься над этим поэтическим поучением.

Певучий русский говор пронизывает сказы Бажова: «и речист, и плечист, умом и ухваткой взял» («Ермаковы лебеди»). Говорит рассказчик о горькой судьбе сирот в рабочей семье, где умерла мать: оставила она, «как говорится, *красных деток на черное житье»* («Таюткино зеркальце»).

Фразе Бажова присуще обилие уменьшительных слов, придающих ей мягкую напевность: «Попробовал *ушки* и давай нахваливать... из сумы *хлебушка мягонького достал, ломоточками* порушал и перед ребятами *грудкой* положил» («Про Великого Полоза»). И еще: «Мужичище был бык-быком, а рожа у него ровно нарошно придумана. Как свекла *краснехонька*, а по ней *волосешки* белые *кустичками»* («Травяная западенка»).

Бажов зачастую прибегает к песенному удвоению слова, но делает это, заимствуя отнюдь не готовые словесные формулы, а самый принцип ритмической организации фразы. Если привычно фольклорно звучат такие бажовские речения, как в описании тайного ходочка, что ведет в недра горы и ему *«конца-краю»* не видно, или подземной реки, какая *«черным-чернехонька* и не пошевельнется, как окаменела» («Ключ земли»), или в изображении встречи Ермака с земляками, которые поняли, какого он *«роду-племени»*, то в подавляющем большинстве случаев фраза Бажова расширяет этот привычный, устоявшийся речевой арсенал. И происходит это на основе введения новых групп понятий и образов, связанных с различными формами труда. Отправился Ермак завоевывать Сибирь, а его невесте Аленушке довелось одной «век вековать. Как обыкновенно рукодельницей стала,— *ткальей да прядьей»*. Героиня сказа «Горный мастер» — Катерина — «по хозяйству бегает,— в огороде там, *сварить-постряпать* и протча»...

Казалось бы, столь сухая материя, как производственная деталь, характерная для бажовских сказов и занимающая в них немалое место, оказывается у Бажова опоэтизированной именно благодаря обращению художника к чудесной напевности русского языка. Учат тагильские мастера хрустальный лак варить: «Коли ловко угадаешь, выйдет лак *слеза-слезой*, коли запозднишься, либо заторопишься — станет *сажа-сажей»* («Хрустальный лак»). А в сказе «Живинка в деле» молодые углежоги сетуют: «Наш тятенька всех на работе замордовал, передышки не дает, а все у него *трухляк* да *мертвяк*... У соседей вон песенки попевают, а уголь *звон-звоном. Ни недогару, ни перегару* у них нет и квелого самая малость».

Народная образность пронизывает всю словесную ткань сказов Бажова, имея не только речевое, но и сюжетное значение. Заводские «судари и присудари» допытывают веселого мастера Панкрата («Веселухин ложок»), в чем секрет его искусства, кто ему подсказывает его прославленные расцветки и узоры на металле.

Насмешливым лукавством пронизан иносказательный ответ русского мастера, который утверждает, что мастерство его доступно всякому, у кого «глаз с крючочком да ухо с прихваткой». Он поясняет: «Глаз... такой, что на всяком месте что-нибудь зацепить может: хоть на сорочьем хвосте, хоть на палом листе, на звериной тропке, в снеговом охлопке. А ухо, которое держит, что ему полюбилось. Ну, там мало ли: как рожь звенит, сосна шумит, а то и травинка шуршит!»

Красочны и пейзажи бажовских сказов. Иногда автор выдерживает описания в одной цветовой тональности. Таков, например, сказ «Синюшкин колодец»: «На полянке окошко круглое, а в нем вода, как в ключе, только дна не видно. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенеткой подернулась, и посредине паучок сидит, тоже синий». Над водой стоит синий туман, из тумана возникает старушонка Синюшка: «Платьишко на ней синее, платок на голове синий, и сама вся синехонька». Бабка эта колдовская — она «всегда старая, всегда молодая», бывает, что и юной девушкой обернется: «Платьишко на ней синее, платок на голове синий, и на ногах бареточки синие. А пригожая эта девчонка — и сказать нельзя. Глаза звездой, брови дугой, губы — малина, и руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в косе лента синяя».

Но чаще всего в сказах дается веселое переплетение красок. Вохряные блики и пламенеющая киноварь, певучий синий цвет рядом с мерцающим золотом, многообразные оттенки и переливы зеленого и, наконец, контрастные сочетания черного и белого — такова гамма красок в сказах «Малахитовой шкатулки». Цвет у Бажова всегда выдержан в духе народной живописи, народной уральской вышивки — цельный, густой, спелый. Писатель щедро использовал все богатства русского слова, чтобы передать и многообразие цветовой гаммы, и ее насыщенность, и сочность, столь характерные для реальной уральской природы.

Однако и сюжетная функция пейзажа в «Малахитовой шкатулке» определяется главным — стремлением писателя к глубокому раскрытию образа человека, порожденного этой уральской природой, этим удивительным, причудливым краем.

В бажовских сказах природа неразделима с героями, находится с ними в постоянном взаимодействии. И красота ее вдохновляет уральского умельца на творческие поиски. Именно отсюда и своеобразие сказочных образов «Малахитовой

шкатулки». Они естественно и закономерно возникают из причудливой игры красок уральского пейзажа.

Очень часто фантастический образ вырастает из производственной детали. Так, в сказе «Живинка в деле» дед Нефед обучает своего подручного Тимоху, как уголь жечь так, чтобы тот высокого качества получился. Он говорит Тимохе о необходимости следить за огнем. И деловое описание производственного процесса перерастает в поэтический образ: «По этим вот ходочкам в полных потемочках наша живинка-паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огневкой не перекинулась, либо пустодымкой не обернулась». А в другом сказе живой, реальный огонек костра обретает образ веселой затейницы Огневушки-Поскакушки, что «верховое золото кажет».

Сказочны своей красотой драгоценная руда, богатимое золото, узорчатое каменье. Так, например, пролегание крупной золотой жилы действительно напоминает большую змею — отсюда и рождается образ Великого Полоза. Выход углекислой меди или ее разлом по цвету и форме напоминает ящериц; синий туман над некоторыми месторождениями драгоценных камней подсказывает горщику образ бабки Синюшки.

Повстречал молодой рудокоп Степан Малахитницу («Медной горы Хозяйка»). С нею слуги-ящерицы. Было их «тут несчисленно». «И все, слышь-ко, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло, либо слюда, блестят, а другие, как трава поблеклая...» Но за этой цветистостью, за этими пересветами, из которых рождается образ Хозяйки горы и ее сказочной свиты, скрывается не менее красочная реальность, чудесная в своей истинности. Краска — этот существенный элемент бажовского стиля — служит писателю средством поэтизации материальной основы человеческого труда. Окружили молодого рудокопа ящерицы. «Он поглядел под ноги, а там и земли незнатко. Все ящерки-то сбились в одно место,— как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан — батюшки, да ведь это руда медная!»

Фантастический образ явственно вырастает из реальной жизненной основы, и в этом-то проявляется художественное своеобразие использования писателем народной сказовой традиции.

Фольклорная поэтика рассматривает сказочный образ как метафорическое конкретно-чувственное выражение абстрактной мысли, как такой переход от единичного к широкому обобщению, при котором понятие *совпадает* с образом. На этом прин-

ципе народной сказочности строит свои фантастические образы П. Бажов. Его сказы открыли нам сложный внутренний мир рабочего человека, подлинную поэзию его творческого отношения к действительности.

Федор Гладков рассказывал, что Бажов любил повторять: «— Чем велик и прекрасен человек? Одухотворенным трудом... Вне труда нет и человека»[1]. Новый взгляд на все происходящее в мире — вот что художественно воплощено в образах героев «Малахитовой шкатулки». В небывалой их новизне и заключается секрет того, что сказы эти нашли свое дальнейшее раскрытие и в музыке, и в живописи, и в театре. И потому обошли они не только русскую землю, но и многие страны мира... Книга эта рождена «одухотворенным трудом» современников, освещена огнями революционной эпохи, светом коммунистических идей. И в этом глубокая народность бажовских сказов.

Творчество П. Бажова — гимн человеку — мастеру и созидателю, своим чудесным трудом преображающему жизнь на земле.

Л. Скорино

---

[1] Ф. Гладков. «О литературе». М., «Советский писатель», 1955, стр. 216.

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

Книга первая

МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА

Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были. За Северушкой где-то.

День праздничный был, и жарко — страсть. Парун чистый. А оба в горе робили, на Гумешках то есть. Малахит-руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали и там протча, что подойдет.

Один-от молодой парень был, неженатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше. Этот и вовсе изробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись. И кашлял завсе тот человек.

В лесу-то хорошо. Пташки поют-радуются, от земли воспарение, дух легкий. Их, слышь-ко, и разморило. Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железну руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг молодой,— ровно его кто под бок толкнул,— проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе видать — девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Дивится парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо — на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет, то опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Однем словом, артуть-девка. Слыхать — лопочет что-то, а по-каковски — неизвестно,

и с кем говорит — не видно. Только смешком все. Весело, видно, ей.

Парень хотел было слово молвить, вдруг его как по затылку стукнуло.

— Мать ты моя, да ведь это сама Хозяйка! Ее одежа-то. Как я сразу не приметил? Отвела глаза косой-то своей.

А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк, хоть рукой погладить.

«Вот,— думает парень,— беда! Как бы только ноги унести, пока не заметила». От стариков он, вишь, слыхал, что Хозяйка эта — малахитница-то — любит над человеком мудровать.

Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой:

— Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-от ведь деньги берут. Иди-ка поближе. Поговорим маленько.

Парень испужался, конечно, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а все ж таки девка. Ну, а он парень — ему, значит, и стыдно перед девкой обробеть.

— Некогда,— говорит,— мне разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли.

Она посмеивается, а потом и говорит:

— Будет тебе наигрыш вести. Иди, говорю, дело есть.

Ну, парень видит — делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит, обойди-де руду-то с другой стороны. Он обошел и видит — ящерок тут несчисленно. И все, слышь-ко, разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то как глина либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло либо слюда, блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены.

Девка смеется.

— Не расступи,— говорит,— мое войско, Степан Петрович. Ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленьки.— А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали.

Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и все смехом:

— Теперь тебе ступить некуда. Раздавишь мою слугу — беда будет.

Он поглядел под ноги, а там и земли незнатко. Все ящерки-то сбились в одно место,— как пол узорчатый под ногами стал. Глядит Степан — батюшки, да ведь это руда медная! Всяких сортов и хорошо отшлифована. Слюдка тут же, и обманка, и блески всякие, кои на малахит походят.

— Ну, теперь признал меня, Степанушко? — спрашивает малахитница, а сама хохочет-заливается. Потом, мало погодя, и говорит:

— Ты не пужайся. Худого тебе не сделаю.

Парню забедно стало, что девка над ним насмехается да еще слова такие говорит. Сильно он осердился, закричал даже:

— Кого мне бояться, коли я в горе роблю!

— Вот и ладно,— отвечает малахитница.— Мне как раз такого и надо, который никого не боится. Завтра, как в гору спускаться, будет тут ваш заводской приказчик, ты ему и скажи да, смотри, не забудь слов-то:

«Хозяйка, мол, Медной горы заказывала тебе, душно́му козлу, чтобы ты с Красногорского рудника убирался. Ежели еще будешь эту мою железную шапку ломать, так я тебе всю медь в Гумешках туда спущу, что никак ее не добыть».

Сказала это и прищурилась:

— Понял ли, Степанушко? В горе, говоришь, робишь, никого не боишься? Вот и скажи приказчику, как я велела, а теперь иди да тому, который с тобой, ничего, смотри, не говори. Изробленный он человек, что его тревожить да в это дело впутывать. И так вон лазоревке сказала, чтоб она ему маленько пособила.

И опять похлопала в ладошки, и все ящерки разбежались. Сама тоже на ноги вскочила, прихватилась рукой за камень, подскочила и тоже, как ящерка, побежала по камню-то. Вместо рук-ног — лапы у ее зеленые стали, хвост высунулся, по хребтине до половины черная полоска, а голова человечья. Забежала на вершину, оглянулась и говорит:

— Не забудь, Степанушко, как я говорила. Велела, мол, тебе,— душно́му козлу,— с Красногорки убираться. Сделаешь по-моему, замуж за тебя выйду!

Парень даже сплюнул вгорячах:

— Тьфу ты, погань какая! Чтоб я на ящерке женился.

А она видит, как он плюется, и хохочет.

— Ладно,— кричит,— потом поговорим. Может, и надумаешь?

И сейчас же за горку, только хвост зеленый мелькнул.

Парень остался один. На руднике тихо. Слышно только, как за грудкой руды другой-то похрапывает. Разбудил его. Сходили на свои покосы, посмотрели траву, к вечеру домой воротились, а у Степана одно на уме: как ему быть? Сказать приказчику такие слова — дело не малое, а он еще,— и верно,— душно́й был — гниль какая-то в нутре у него, сказывают, была. Не сказать — тоже боязно. Она ведь Хозяйка. Какую хошь руду может в обманку перекинуть. Выполняй тогда уроки-то. А хуже того, стыдно перед девкой хвастуном себя оказать.

Думал-думал, насмелился:

— Была не была, сделаю, как она велела.

На другой день поутру, как у спускового барабана народ собрался, приказчик заводской подошел. Все, конечно, шапки сняли, молчат, а Степан подходит и говорит:

— Видел я вечор Хозяйку Медной горы, и заказывала она тебе сказать. Велит она тебе, душно́му козлу, с Красногорки убираться. Ежели ты ей эту железную шапку спортишь, так она всю медь на Гумешках туда спустит, что никому не добыть.

У приказчика даже усы затряслись.

— Ты что это? Пьяный, али ума решился? Какая хозяйка? Кому ты такие слова говоришь? Да я тебя в горе сгною!

— Воля твоя,— говорит Степан,— а только так мне велено.

— Выпороть его,— кричит приказчик,— да спустить в гору и в забое приковать! А чтобы не издох, давать ему собачьей овсянки и уроки спрашивать без поблажки. Чуть что — драть нещадно!

Ну, конечно, выпороли парня и в гору. Надзиратель рудничный,— тоже собака не последняя,— отвел ему забой — хуже некуда. И мокро тут, и руды доброй нет, давно бы бросить надо. Тут и приковали Степана на длинную цепь, чтобы, значит, работать можно было. Известно, какое время было,— крепость. Всяко галились над человеком. Надзиратель еще и говорит:

— Прохладись тут маленько. А уроку с тебя будет чистым малахитом столько-то,— и назначил вовсе несообразно.

Делать нечего. Как отошел надзиратель, стал Степан каелкой помахивать, а парень все ж таки проворный был. Глядит,— ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбрасывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало.

«Вот,— думает,— хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне Хозяйка».

Только подумал, вдруг звосияло. Глядит, а Хозяйка тут, перед ним.

— Молодец,— говорит,— Степан Петрович. Можно чести приписать. Не испужался душно́го козла. Хорошо ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я тоже от своего слова не отпорна.

А сама принахмурилась, ровно ей это нехорошо. Схлопала в ладошки, ящерки набежали, со Степана цепь сняли, а Хозяйка им распорядок дала:

— Урок тут наломайте вдвое. И чтобы наотбор малахит был, шелкового сорту.— Потом Степану говорит: — Ну, женишок, пойдем смотреть мое приданое.

И вот пошли. Она впереди, Степан за ней. Куда она идет — все ей открыто. Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. Синие тоже есть, лазоревые. Однем словом, изукрашено, что и сказать нельзя. И платье на ней — на Хозяйке-то — меняется. То оно блестит, будто стекло, то вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, потом опять шелком зеленым отливает. Идут-идут, остановилась она.

— Дальше,— говорит,— на многие версты желтяки да серяки с крапинкой пойдут. Что их смотреть? А это вот под самой Красногоркой мы. Тут у меня после Гумешек самое дорогое место.

И видит Степан огромадную комнату, а в ней постеля, столы, табуреточки — все из корольковой меди. Стены малахитовые с алмазом, а потолок темно-красный под чернетью, а на ем цветки медны.

— Посидим,— говорит,— тут, поговорим.

Сели это они на табуреточки, малахитница и спрашивает:

— Видал мое приданое?

— Видал,— говорит Степан.

— Ну, как теперь насчет женитьбы?

А Степан и не знает, как отвечать. У него, слышько, невеста была. Хорошая девушка, сиротка одна. Ну, конечно, против малахитницы где же ей красотой равняться! Простой человек, обыкновенный. Помялся-помялся Степан, да и говорит:

— Приданое у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой.

— Ты,— говорит,— друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж али нет? — И сама вовсе принахмурилась.

Ну, Степан и ответил напрямки:

— Не могу, потому другой обещался.

Молвил так-то и думает: огневается теперь. А она вроде обрадовалась.

— Молодец,— говорит,— Степанушко. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на каменну девку.— А у парня, верно, невесту-то Настей звали.— Вот,— говорит,— тебе подарочек для твоей невесты, — и подает большую малахитову шкатулку. А там, слышь-ко, всякий женский прибор. Серьги, кольца и протча, что даже не у всякой богатой невесты бывает.

— Как же,— спрашивает парень,— я с эким местом наверх подымусь?

— Об этом не печалься. Все будет устроено, и от приказчика тебя вызволю, и жить безбедно будешь со своей молодой женой, только вот тебе мой сказ — обо мне, чур, потом не вспоминай. Это третье тебе мое испытание будет. А теперь давай поешь маленько.

Схлопала опять в ладошки, набежали ящерки — полон стол установили. Накормила она его щами хорошими, пирогом рыбным, бараниной, кашей и протчим, что по русскому обряду полагается. Потом и говорит:

— Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне.— А у самой слезы. Она это руку подставила, а слезы кап-кап и на руке зернышками застывают. Полнехонька горсть.— На-ка вот, возьми на разживу. Большие деньги за эти камешки люди дают. Богатый будешь,— и подает ему.

Камешки холодные, а рука, слышь-ко, горячая, как есть живая, и трясется маленько.

Степан принял камешки, поклонился низко и спрашивает:

— Куда мне итти? — А сам тоже невеселый стал. Она указала перстом, перед ним и открылся ход, как штольня, и светло в ней, как днем. Пошел Степан по этой штольне,— опять всяких земельных богатств нагляделся и пришел как раз к своему забою. Пришел, штольня и закрылась, и все стало по-старому. Ящерка прибежала, цепь ему на ногу приладила, а шкатулка с подарками вдруг маленькая стала, Степан и спрятал ее за пазуху. Вскоре надзиратель рудничный подошел. Посмеяться ладил, а видит — у Степана поверх урока наворочено, и малахит отбор, сорт-сортом. «Что,— думает,— за штука? Откуда это?» Полез в забой, осмотрел все да и говорит:

— В эком-то забое всяк сколь хошь наломает.— И повел Степана в другой забой, а в этот своего племянника поставил.

На другой день стал Степан работать, а малахит так и отлетает, да еще королек с витком попадать стали, а у того — у племянника-то,— скажи на милость, ничего доброго нет, Все обальчик да обманка идет. Тут надзиратель и сметил дело. Побежал к приказчику. Так и так.

— Не иначе,— говорит,— Степан душу нечистой силе продал.

Приказчик на это и говорит:

— Это его дело, кому он душу продал, а нам свою выгоду поиметь надо. Пообещай ему, что на волю выпустим, пущай только малахитовую глыбу во сто пуд найдет.

Велел все ж таки приказчик расковать Степана и приказ такой дал — на Красногорке работы прекратить.

— Кто,— говорит,— его знает? Может, этот дурак от ума тогда говорил. Да и руда там с медью пошла, только чугуну порча.

Надзиратель объявил Степану, что от его требуется, а тот ответил:

— Кто от воли откажется? Буду стараться, а найду ли — это уж как счастье мое подойдет.

Вскорости нашел им Степан глыбу такую. Выволокли ее наверх. Гордятся,— вот-де мы какие, а Степану воли не дали. О глыбе написали барину, тот и приехал из самого, слышь-ко, Сам-Петербурху. Узнал, как дело было, и зовет к себе Степана.

— Вот что,— говорит,— даю тебе свое дворянское слово отпустить тебя на волю, ежели ты мне найдешь такие малахитовые камни, чтобы, значит, из их вырубить столбы не меньше пяти сажен долиной.

Степан отвечает:

— Меня уж раз оплели. Ученый я ноне. Сперва вольную пиши, потом стараться буду, а что выйдет — увидим.

Барин, конечно, закричал, ногами затопал, а Степан одно свое:

— Чуть было не забыл — невесте моей тоже вольную пропиши, а то что это за порядок — сам буду вольный, а жена в крепости.

Барин видит — парень не мягкий. Написал ему актовую бумагу.

— На,— говорит,— только старайся, смотри.

А Степан все свое:

— Это уж как счастье поищет.

Нашел, конечно, Степан. Что ему, коли он все нутро горы вызнал и сама Хозяйка ему пособляла. Вырубили из этой малахитины столбы, какие им надо, выволокли наверх, и барин их на приклад в самую главную церкву в Сам-Петербурхе отправил. А глыба та, которую Степан сперва нашел, и посейчас в нашем городу, говорят. Как редкость ее берегут.

С той поры Степан на волю вышел, а в Гумешках после того все богатство ровно пропало. Много-много лазоревка идет, а больше обманка. О корольке с витком и слыхом не слыхать стало, и малахит ушел, вода долить стала. Так с той поры Гумешки на убыль и пошли, а потом их и вовсе затопило. Говорили, что это

Хозяйка огневалась за столбы-то, слышь-ко, что их в церкву поставили. А ей это вовсе ни к чему.

Степан тоже счастья в жизни не поимел. Женился он, семью завел, дом обстроил, все как следует. Жить бы ровно да радоваться, а он невеселый стал и здоровьем хезнул. Так на глазах и таял.

Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И все, слышь-ко, к Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит. В осенях ушел так-то да и с концом. Вот его нет, вот его нет... Куда девался? Сбили, конечно, народ, давай искать. А он, слышь-ко, на руднике у высокого камня мертвый лежит, ровно улыбается, и ружьишечко у него тут же в сторонке валяется, не стрелено из него. Которые люди первые набежали, сказывали, что около покойника ящерку зеленую видели, да такую большую, каких и вовсе в наших местах не бывало. Сидит будто над покойником, голову подняла, а слезы у ей так и каплют. Как люди ближе подбежали — она на камень, только ее и видели. А как покойника домой привезли да обмывать стали — глядят: у него одна рука накрепко зажата, и чуть видно из нее зернышки зелененькие. Полнехонька горсть. Тут один знающий случился, поглядел сбоку на зернышки и говорит:

— Да ведь это медный изумруд! Редкостный камень, дорогой. Целое богатство тебе, Настасья, осталось. Откуда только у него эти камешки?

Настасья — жена-то его — объясняет, что никогда покойник ни про какие такие камешки не говаривал. Шкатулку вот дарил ей, когда еще женихом был. Большую шкатулку, малахитову. Много в ей добренького, а таких камешков нету. Не видывала.

Стали те камешки из мертвой степановой руки доставать, а они и рассыпались в пыль. Так и не дознались в ту пору, откуда они у Степана были. Копались потом на Красногорке. Ну, руда и руда, бурая, с медным блеском. Потом уж кто-то вызнал, что это у Степана слезы Хозяйки Медной горы были. Не продал их, слышь-ко, никому, тайно от своих сохранял, с ними и смерть принял. А?

Вот она, значит, какая Медной горы Хозяйка!

Худому с ней встретиться — горе, и доброму — радости мало.

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

У Настасьи, степановой-то вдовы, шкатулка малахитова осталась. Со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и протча по женскому обряду. Сама Хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался.

Настасья в сиротстве росла, не привыкла к экому-то богатству, да и нешибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо... Ровно как раз впору, не жмет, не скатывается, а пойдет в церкву или в гости куда — замается. Как закованный палец-от, в конце нали посинеет. Серьги навесит — хуже того. Уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять — не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буски в шесть ли семь рядов только раз и примерила. Как лед кругом шеи-то и не согреваются нисколько. На люди те буски вовсе не показывала. Стыдно было.

— Ишь, скажут, какая царица в Полевой выискалась!

Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал:

— Убери-ко куда от греха подальше.

Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и протча про запас держат.

Как Степан умер да камешки у него в мертвой руке оказались, Настасье и причтелось ту шкатулку чужим людям показать. А тот знающий, который про степановы камешки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул:

— Ты, гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит.

Он, этот человек-от, ученой был, тоже из вольных. Ране-то в щегарях ходил, да его отстранили: ослабу-де народу дает. Ну, и винцом не брезговал. Тоже добра кабацка затычка был, не тем будь помянут, покойна головушка. А так во всем правильный. Прошенье написать, пробу смыть, знаки оглядеть — все по совести делал, не как иные протчие, абы на полштофа сорвать. Кому-кому, а ему всяк поднесет стаканушку праздничным делом. Так он на нашем заводе и до смерти дожил. Около народа питался.

Настасья от мужа слыхала, что этот щегарь правильный и в делах смышленый, даром что к винишку пристрастье поимел. Ну, и послушалась его.

— Ладно,— говорит,— поберегу на черный день.— И поставила шкатулку на старо место.

Схоронили Степана, сорочины отправили честь-честью. Настасья — баба в соку да и с достатком, стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно:

— Хоть золотой второй, а все робятам вотчим.

Ну, отстали по времени.

Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова, обзаведенье полное. Настасья баба работящая, робятишки пословные, не охтимнеченьки живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все ж таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство управить! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут родня и давай Настасье в уши напевать:

— Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте добру лежать. Все едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьем не наденешь эко место. А люди деньги бы дали. Разоставок тебе.

Однем словом, наговаривают. И покупатель, как ворон на кости, налетел. Из купцов все. Кто сто рублей дает, кто двести.

— Робят-де твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождение тебе делаем.

Ну, оболванить ладят бабу, да не на ту попали.

Настасья хорошо запомнила, чтó ей старый щегарь говорил, не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак жениховo подаренье, мужнина память. А пуще того девчоночка у ней младшенькая слезами улилась, просит:

— Мамонька, не продавай! Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а тятину памятку побереги.

От Степана, вишь, осталось трое робятишек-то. Двое парнишечки. Робята как робята, а эта, как говорится, ни в мать, ни в отца. Еще при степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили:

— Не иначе эта у тебя, Степан, из кистей выпала. В кого только зародилась! Сама черненька да басенька, а глазки зелененьки. На наших девчонок будто и вовсе не походит.

Степан пошутит, бывало:

— Это не диво, что черненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скыркался. А что глазки зеленые — тоже дивить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил. Вот памятка мне и осталась.

Так эту девчоночку Памяткой и звал.— Ну-ка ты, Памятка моя! — И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького либо зеленого принесет.

Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и всамделе гарусинка из праздничного пояса выпала — далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей — Танюшка да Танюшка. Самые завидущие бабешки, и те любовались. Ну, как,— красота! Всякому мило. Одна мать повздыхивала:

— Красота-то — красота, да не наша. Ровно кто подменил мне девчонку.

По Степану шибко эта девчоночка убивалась. Чисто уревелась вся, с лица похудела, одни глаза остались. Мать и придумала дать Танюшке ту шкатулку малахитову — пущай-де позабавится. Хоть маленькая, а девчоночка,— с малых лет им лестно на себя-то навздевать. Танюшка и занялась разбирать эти штучки. И вот диво — которую примеряет, та и по ней. Мать-то иное и не знала к чему, а эта все знает. Да еще говорит:

— Мамонька, сколь хорошо тятино-то подаренье!

Тепло от него, будто на пригревинке сидишь, да еще кто тебя мягким гладит.

Настасья сама нашивала, помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает: «Неспроста это. Ой, неспроста!» — да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит:

— Мамонька, дай поиграть тятиным подареньем!

Настасья когда и пристрожит, ну, материнско сердце — пожалеет, достанет шкатулку, только накажет:

— Не изломай чего!

Потом, когда подросла Танюшка, она и сама стала шкатулку доставать. Уедет мать со старшими парнишечками на покос или еще куда, Танюшка останется домовничать. Сперва, конечно, управит, что мать наказывала. Ну, чашки-ложки перемыть, скатерку стряхнуть, в избесенях веничком подмахнуть, куричешкам корму дать, в печке поглядеть. Справит все поскорее, да и за шкатулку. Из верхних-то сундуков к тому времени один остался, да и тот легонький стал. Танюшка сдвинет его на табуреточку, достанет шкатулку и перебирает камешки, любуется, на себя примеряет.

Раз к ней и забрался хитник. То ли он в ограде спозаранку прихоронился, то ли потом незаметно где пролез, только из суседей никто не видал, чтобы он по улице проходил. Человек незнамый, а по делу видать — кто-то навел его, весь порядок обсказал.

Как Настасья уехала, Танюшка побегала много-мало по хозяйству и забралась в избу поиграть отцовскими камешками. Надела наголовник, серьги навесила. В это время и пых в избу этот хитник. Танюшка оглянулась — на пороге мужик незнакомый, с топором. И топор-то ихний. В сенках, в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в сенках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла, а мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет-кричит:

— Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! — а сам глаза трет.

Танюшка видит — неладно с человеком, стала спрашивать:

— Ты как, дяденька, к нам зашел, пошто топор взял?

А тот, знай, стонет да глаза свои трет. Танюшка его и пожалела — зачерпнула ковшик воды, хотела подать, а мужик так и шарахнулся спиной к двери.

— Ой, не подходи! — Так в сенках и сидел и двери завалил, чтобы Танюшка ненароком не выскочила. Да она нашла ход — выбежала через окошко и к суседям. Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем? Тот промигался маленько, объясняет — проходящий-де, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попритчилось.

— Как солнцем ударило. Думал — вовсе ослепну. От жары, что ли.

Про топор и камешки Танюшка суседям не сказала. Те и думают:

«Пустяшно дело. Может, сама же забыла ворота запереть, вот проходящий и зашел, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает».

До Настасьи все ж таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что суседям рассказывал. Настасья видит — все в сохранности, вязаться не стала. Ушел тот человек, и суседи тоже.

Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настасья и поняла, что за шкатулкой приходил, да взять-то ее, видно, не просто. А сама думает: «Оберегать-то ее все ж таки покрепче надо».

Взяла да потихоньку от Танюшки и других робят и зарыла ту шкатулку в голбец.

Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а ее быть бывало. Горько это показалось Танюшке, а тут вдруг теплом ее опахнуло. Что за штука? Откуда? Огляделась, а из-под полу свет. Танюшка испугалась — не пожар ли? Заглянула в голбец, там в одном уголке свет. Схватила ведро, плеснуть хотела — только ведь огня-то нет и дымом не пахнет. Покопалась в том месте, видит — шкатулка. Открыла, а камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку. Тут в голбце и наигралась досыта.

Так с той поры и повелось. Мать думает: «Вот хорошо спрятала, никто не знает»,— а дочь, как домовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским по-

дареньем. Насчет продажи Настасья и говорить родне не давала.

— По миру впору придет — тогда продам.

Хоть круто ей приходилось,— а укрепилась. Так еще сколько-то годов перемогались, дальше на поправу пошло. Старшие робята стали зарабатывать маленько, да и Танюшка не сложа руки сидела. Она, слышь-ко, научилась шелками да бисером шить. И так научилась, что самолучшие барские мастерицы руками хлопали — откуда узоры берет, где шелка достает?

А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина. Небольшого росту, чернявая, в настасьиных уж годах, а востроглазая и, по всему видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черемуховый бадожок, вроде как странница. Просится у Настасьи:

— Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денек-другой отдохнуть? Ноженки не несут, а итти не близко.

Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шкатулкой, потом все ж таки пустила.

— Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесешь. Только вот кусок-от у нас сиротский. Утром — лучок с кваском, вечером квасок с лучком, вся и перемена. Отощать не боишься, так милости просим, живи, сколь надо.

А странница уж бадожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала.

«Ишь неочесливая! Приветить ее не успели, а она нако — обутки сняла и котомку развязала».

Женщина, и верно, котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку:

— Иди-ко, дитятко, погляди на мое рукоделье. Коли поглянется, и тебя выучу... Видать, цепкий глазок-от на это будет!

Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку маленькую, концы шелком шиты. И такой-то, слышь-ко, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало.

Танюшка так глазами и впилась, а женщина посмеивается.

— Поглянулось, знать, доченька, мое рукодельице? Хочешь — выучу?

— Хочу,— говорит.

Настасья так и взъелась:

— И думать забудь! Соли купить не на что, а ты придумала шелками шить! Припасы-то, поди-ко, денег стоят.

— Про то не беспокойся, хозяюшка,— говорит странница.— Будет понятие у доченьки — будут и припасы. За твою хлеб-соль оставлю ей — надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше-то мастерство денежки платят. Не даром работу отдаем. Кусок имеем.

Тут Настасье уступить пришлось.

— Коли припасов уделишь, так о чем не поучиться. Пущай поучится, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу.

Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорехонько Танюшка все переняла, будто раньше которое знала. Да вот еще что. Танюшка не то что к чужим, к своим неласковая была, а к этой женщине так и льнет, так и льнет. Настасья скоса запоглядывала:

«Нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к бродяжке прилипла!»

А та еще ровно дразнит, все Танюшку дитятком да доченькой зовет, а крещеное имя ни разочку не помянула. Танюшка видит, что мать в обиде, а не может себя сдержать. До того, слышь-ко, вверилась этой женщине, что ведь сказала ей про шкатулку-то!

— Есть,— говорит,— у нас дорогая тятина памятка — шкатулка малахитова. Вот где каменья! Век бы на них глядела.

— Мне покажешь, доченька? — спрашивает женщина.

Танюшка даже не подумала, что это неладно.

— Покажу,— говорит,— когда дома никого из семейных не будет.

Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает, а женщина поглядела маленько да и говорит:

— Надень-ко на себя — виднее будет.

Ну, Танюшка,— не того слова,— стала надевать, а та, знай, похваливает.

— Ладно, доченька, ладно! Капельку только поправить надо.

Подошла поближе, да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет — тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное — нет. После этого женщина и говорит:

— Встань-ко, доченька, пряменько.

Танюшка встала, а женщина и давай ее потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, а сама наставляет:

— Заставлю тебя повернуться, так ты, смотри, на меня не оглядывайся. Вперед гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся!

Повернулась Танюшка — перед ней помещение, какого она отродясь не видывала. Не то церква, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы, как ночь, а глаза зеленые. И вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней из зеленого бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинках. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть, а эта зеленоглазая стоит себе спокойнешенько, будто так и надо. Народу в том помещенье полно. По-господски одеты, и все в золоте да заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито, а у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, психогруды, каменьями увешаны. Только где им до зеленоглазой! Ни одна в подметки не годится.

В ряд с зеленоглазой какой-то белобрысенький. Глаза враскос, уши пенечками, как есть заяц. А одежа на нем — уму помраченье. Этому золота-то мало показалось, так он, слышь-ко, на обую камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу видать — заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазой-то, а она хоть бы бровью повела, будто его вовсе нет.

Танюшка глядит на эту барыню, дивится на нее и только тут заметила:

— Ведь каменья-то на ней тятины! — сойкала Танюшка, и ничего не стало.

А женщина та посмеивается:

— Не доглядела, доченька! Не тужи, по времени доглядишь.

Танюшка, конечно, доспрашивается — где это такое помещенье?

— А это,— говорит,— царский дворец. Та самая палата, коя здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то.

— А это кто в тятиных уборах и какой это с ней заяц?

— Ну, этого не скажу, сама скоро узнаешь.

В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана.

Подает ее Танюшке, да и говорит:

— Прими-ко, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку. Тут тебе ответ и будет.

Сказала так-то и ушла. Только ее и видели.

С той вот поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни о настасьины окошки глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, неласковая она, невеселая, да и за крепостного где же вольная пойдет. Кому охота петлю надевать?

В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Подсылать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на экого молодца. Тогда ее обратать можно. Толку все ж таки не выходило. Скажет Танюшка что по делу, а другие разговоры того лакея безо внимания. Надоест, так еще надсмешку подстроит:

— Ступай-ко, любезный, ступай! Ждут ведь. Боятся, поди, как бы у тебя часы потом не изошли и цепка не помедела. Вишь, без привычки-то как ты их мозолишь.

Ну, лакею или другому барскому служке эти слова, как собаке кипяток. Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя:

— Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазый! Такую ли найдем!

Фырчит так-то, а самого уж захлестнуло. Которого пошлют, забыть не может танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет — хоть мимо пройти, в окошко поглядеть. По праздникам чуть не всему заводскому холостяжнику дело на той улице. Дорогу у самых окошек проторили, а Танюшка и не глядит.

Суседки уж стали Настасью корить:

— Что это у тебя Татьяна шибко высоко себя повела? Подружек у ней нет, на парней глядеть не хочет. Царевича-королевича ждет аль в христовы невесты ладится?

Настасья на эти покоры только вздыхает:

— Ой, бабоньки, и сама не ведаю. И так-то у меня девка мудреная была, а колдунья эта проходящая вконец ее извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку, да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупы стали, не вижу. Налупила бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитай, ее работой только и живем. Думаю-думаю так-то да и зареву. Ну, тогда она скажет: «Мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю и на игрища не хожу. Что зря людей в тоску вгонять? А что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь? Что я худого сделала?» Вот и ответь ей!

Ну, жить все ж таки ладно стали. Танюшкино рукоделье на моду пошло. Не то что в заводе аль в нашем городе, по другим местам про него узнали, заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику впору столько-то заробить. Только тут беда их и пристигла — пожар случился. А ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяка — все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит:

— Видно, край пришел — придется продать шкатулку.

Сыновья в один голос:

— Продавай, мамонька. Не продешеви только.

Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит — пущай продают. Горько стало Танюшке, а что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой. Вздохнула и говорит:

— Продавать — так продавать.— И даже не стала на прощанье те камни глядеть. И то сказать — у суседей приютились, где тут раскладываться.

Придумали так — продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, сам и поджог-от подстроил, чтобы шкатулкой завладеть. Тоже ведь народишко-то — ноготок, доцарапается! Видят,— робята подросли — больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все ж таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся. Накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться меж собой не могут. Вишь, кусок-от такой — ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в Полевую и приехал новый приказчик.

Когда ведь они — приказчики-то — подолгу сидят, а в те годы им какой-то перевод случился. Душнóго козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовско за вонь отставил. Потом был Жареной Зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северьян Убойца. Этого опять Хозяйка Медной горы в пусту породу перекинула. Там еще двое ли, трое каких-то были, а потом и приехал этот.

Он, сказывают, из чужестранных земель был, на всяких языках будто говорил, а по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно — пороть. Свысока так, с растяжкой — па-роть. О какой недостаче ему заговорят, одно кричит: пароть! Его Паротей и прозвали.

На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарну не гонял. Тамошним охлестышам вовсе и дела не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пароте.

Тут, вишь, штука-то в чем. Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине ли, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все ж таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину — сынову-то

полюбовницу — за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал и так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению.

— Чем,— говорит,— тебе так-то жить на худой славе, выходи-ка ты замуж. Приданым тебя оделю, а мужа приказчиком в Полевую пошлю. Там дело направлено, пущай только построже народ держит. Хватит, поди, на это толку, что хоть и музыкант. А ты с ним лучше лучшего проживешь в Полевой-то. Первый человек, можно сказать, будешь. Почет тебе, уважение от всякого. Чем плохо?

Бабочка сговорная оказалась. То ли она в рассорке с молодым барином была, то ли хитрость поимела.

— Давно,— говорит,— об этом мечтанье имела, да сказать — не насмелилась.

Ну, музыкант, конечно, сперва уперся:

— Не желаю,— шибко про нее худа слава, потаскуха вроде.

Только барин — старичонко хитрой. Недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул чем али улестил, либо подпоил — ихнее дело, только вскорости свадьбу справили, молодые поехали в Полевую. Так вот Паротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так — что зря говорить — человек не вредный. Потом, как Полторы Хари вместо его заступил — из своих заводских, так жалели даже этого Паротю.

Приехал с женой Паротя как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Паротина баба тоже видная была. Белая да румяная — однем словом, полюбовница. Небось, худу-то бы не взял барин. Тоже, поди, выбирал! Вот эта паротина жена и прослышала,— шкатулку продают. «Дай-ко,— думает,— посмотрю, может всамделе стоющее что». Живехонько срядилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы.

— Ну-ко,— говорит,— милая, покажи, какие-такие камешки продаешь?

Настасья достала шкатулку, показывает. У паротиной бабы и глаза забегали. Она, слышь-ко, в Сам-Петербурхе воспитывалась, в заграницах разных с молодым барином бывала, толк в этих нарядах имела. «Что

же это,— думает,— такое? У самой царицы эдаких украшениев нет, а тут на-ко — в Полевой, у погорельцев! Как бы только не сорвалась покупочка».

— Сколько,— спрашивает,— просишь?

Настасья говорит:

— Две бы тысячи охота взять.

Барыня порядилась для прилику, да и говорит:

— Ну, милая, собирайся! Поедем ко мне со шкатулкой. Там деньги сполна получишь.

Настасья, однако, на это не подалась.

— У нас,— говорит,— такого обычая нет, чтобы хлеб за брюхом ходил. Принесешь деньги — шкатулка твоя.

Барыня видит — вон какая женщина,— живо скрутилась за деньгами, а сама наказывает:

— Ты уж, милая, не продавай шкатулку.

Настасья отвечает:

— Это будь в надежде. От своего слова не отопрусь. До вечера ждать буду, а дальше моя воля.

Уехала паротина жена, а купцы-то и набежали все разом. Они, вишь, следили. Спрашивают:

— Ну, как?

— Запродала,— отвечает Настасья.

— За сколь?

— За две, как назначила.

— Что ты,— кричат,— ума решилась али что? В чужие руки отдаешь, а своим отказываешь! — И давай-ко цену набавлять.

Ну, Настасья на эту удочку не клюнула.

— Это,— говорит,— вам привышно дело в словах вертеться, а мне не доводилось. Обнадежила женщину, и разговору конец!

Паротина баба крутехонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без нее была. Видит — барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка — дескать, не та ведь, какую тогда видела. А паротина жена пуще того воззрилась.

— Что за наваждение? Чья такая? — спрашивает.

— Дочерью люди зовут,— отвечает Настасья.— Самая как есть наследница шкатулки-то, кою ты купила.

Не продала бы, кабы не край пришел. С малолетства любила этими уборами играть. Играет да нахваливает — как-де от них тепло да хорошо. Да что об этом говорить! Что с возу пало — то пропало!

— Напрасно, милая, так думаешь,— говорит паротина баба.— Найду я местичко этим каменьям.— А про себя думает: «Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Сам-Петербурхе, царями бы вертела. Надо — мой-то дурачок Турчанинов ее не увидал».

С тем и разошлись.

Паротина жена, как приехала домой, похвасталась:

— Теперь, друг любезный, я не то что тобой, и Турчаниновым не понуждаюсь. Чуть что — до свиданья! Уеду в Сам-Петербурх либо, того лучше, в заграницу, продам шкатулочку и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится.

Похвасталась, а показать на себе новокупку все ж таки охота. Ну, как — женщина! Подбежала к зеркалу и первым делом наголовник пристроила.— Ой, ой, что такое! — Терпенья нет — крутит и дерет волосы-то. Еле выпростала. А неймется. Серьги надела — чуть мочки не разорвало. Палец в перстень сунула — заковало, еле с мылом стащила. Муж посмеивается: не таким, видно, носить!

А она думает: «Что за штука? Надо в город ехать, мастеру показать. Подгонит как надо, только бы камни не подменил».

Сказано — сделано. На другой день с утра укатила. На заводской-то тройке ведь недалеко. Узнала, какой самый надежный мастер,— и к нему. Мастер старый-престарый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барыня рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни и не взглянул даже:

— Не возьмусь,— говорит,— что хошь давайте. Не здешних это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться.

Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка, фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились: оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят и от работы наотрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла, говорит, что эту шка-

тулку из Сам-Петербурху привезла. Там все и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.

— Знаю,— говорит,— в каком месте шкатулка делана, и про мастера много наслышан. Тягаться с ним всем нашим не по плечу. На одного кого тот мастер подгоняет, другому не подойдет, что хошь делай.

Барыня и тут не поняла всего-то, только то и уразумела — неладно дело, боятся кого-то мастера. Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать.

«Не по этой ли зеленоглазой подгонялись? Вот беда-то!»

Потом опять переводит в уме:

«Да мне-то что! Продам какой ни есть богатой дуре. Пущай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в Полевую.

Приехала, а там новость: весточку получили — старый барин приказал долго жить. Хитренько с Паротей-то он устроил, а смерть его перехитрила — взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время паротина жена получила писемышко. Так и так, моя любезная, по вешней воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыканта твоего куда-нибудь законопатим. Паротя про это как-то узнал, шум-крик поднял. Обидно, вишь, ему перед народом-то. Как-никак приказчик, а тут вон что — жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на даровщинку-то. Вот раз пировали. Кто-то из этих запивох и похвастай:

— Выросла-де у нас в заводе красавица, другую такую не скоро сыщешь.

Паротя и спрашивает:

— Чья такая? В котором месте живет?

Ну, ему рассказали и про шкатулку помянули — в этой-де семье ваша жена шкатулку покупала.

Паротя и говорит:

— Поглядеть бы,— а у запивох и заделье нашлось.

— Хоть сейчас пойдем — освидетельствовать, ладно ли они новую избу поставили. Семья хоть из вольных, а на заводской земле живут. В случае чего и прижать можно.

Пошли двое ли, трое с этим Паротей. Цепь притащили, давай промер делать, не зарезалась ли Настасья

в чужую усадьбу, выходят ли вершки меж столбами. Подыскиваются, однем словом. Потом заходят в избу, а Танюшка как раз одна была. Глянул на нее Паротя и слова потерял. Ну, ни в каких землях такой красоты не видывал. Стоит, как дурак, а она сидит — помалкивает, будто ее дело не касается. Потом отошел малость Паротя, стал спрашивать:

— Что поделываете?

Танюшка говорит:

— По заказу шью,— и работу свою показала.

— Мне,— говорит Паротя,— можно заказ сделать?

— Отчего же нет, коли в цене сойдемся.

— Можете,— спрашивает опять Паротя,— мне с себя патрет шелками вышить?

Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазая ей знак подает — бери-де заказ! — и на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает:

— Свой патрет не буду, а есть у меня на примете женщина одна в дорогих каменьях, в царицыном платье, эту вышить могу. Только недешево будет стоить такая работа.

— Об этом,— говорит,— не сумлевайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была.

— В лице,— отвечает,— сходственность будет, а одежа другая.

Срядились за сто рублей. Танюшка и срок назначила — через месяц. Только Паротя нет-нет и забежит, будто о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обахмурило его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова, и весь разговор. Запивохи-то паротины подсмеиваться над ним стали:

— Тут-де не отломится. Зря сапоги треплешь!

Ну, вот, вышила Танюшка тот патрет. Глядит Паротя — фу ты, боже мой! да ведь это она самая и есть, одежой да каменьями изукрашенная! Подает, конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла.

— Не привышны,— говорит,— мы подарки-то принимать. Трудами кормимся.

Прибежал Паротя домой, любуется на патрет, а от жены впотай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-мало начал.

Весной приехал на заводы молодой барин. В Полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили — помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все Турчаниновы мастера были. Как зальешь господскую чарку десятком своих, так и невесть какой праздник покажется, а на поверку выйдет — последние копейки умыл и вовсе ни чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. Поспят сколько да опять за гулянку. Ну, там, на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Паротя все время пьяной. Нарочно к нему барин самых залихватских питухов поставил — накачивай-де до отказу! Ну, те и стараются новому барину подслужиться.

Паротя хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко. Он и говорит за столом, при всех:

— Это мне безо внимания, что барин Турчанинов хочет у меня жену увезти. Пущай повезет! Мне такую не надо. У меня вот кто есть!— Да и достает из кармана тот шелковый патрет. Все так и ахнули, а паротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стало.

— Кто такая? — спрашивает.

Паротя, знай, похохатывает:

— Полон стол золота насыпь — и то не скажу!

Ну, а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются — барину объясняют. Паротина баба руками-ногами:

— Что вы! Что вы! Околесицу этаку городите! Откуда у заводской девки платье такое да еще каменья дорогие? А патрет этот муж из-за границы привез. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз, мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет. Ишь опух весь!

Паротя видит, что жене шибко не мило, он и давай чехвостить:

— Страмина ты, страмина! Что ты косоплетки плетешь, барину в глаза песком бросашь! Какой я тебе патрет показывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья —

лгать не буду — не знаю. Платье какое хошь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за две тысячи да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасско седло. Весь завод про покупку-то знает!

Барин как услышал про камни, так сейчас же:

— Ну-ко, покажи!

Он, слышь-ко, малоумненький был, мотоватый. Одним словом, наследник. К камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем, как говорится, ни росту, ни голосу,— так хоть каменьями. Где ни прослышит про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал, даром что не шибко умный.

Паротина баба видит — делать нечего,— принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу:

— Сколько?

Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядиться. На половине сошлись, и заемную бумагу барин подписал: не было, вишь, денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит:

— Позовите-ко эту девку, про которую разговор.

Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла,— думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно́ и посредине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка — отцово подаренье. Танюшка сразу признала барина и спрашивает:

— Зачем звали?

Барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все. Потом все ж таки нашел разговор:

— Ваши камни?

— Были наши, теперь вон ихние,— и показала на паротину жену.

— Мои теперь,— похвалился барин.

— Это дело ваше.

— А хошь, подарю обратно?

— Отдаривать нечем.

— Ну, а примерить на себя ты их можешь? Взглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся.

— Это,— отвечает Танюшка,— можно.

Взяла шкатулку, разобрала уборы,— привычно дело,— и живо их к месту пристроила. Барин глядит

и только ахает. Ах да ах, больше и речей нет. Танюшка постояла в уборе-то и спрашивает:

— Поглядели? Будет? Мне ведь не от простой поры тут стоять — работа есть.

Барин тут при всех и говорит:

— Выходи за меня замуж. Согласна?

Танюшка только усмехнулась:

— Не под стать бы ровно барину такое говорить.— Сняла уборы и ушла. Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит-молит Настасью-то: отдай за меня дочь.

Настасья говорит:

— Я с нее воли не снимаю, как она хочет, а по-моему — будто не подходит.

Танюшка слушала-слушала, да и молвит:

— Вот что, не то... Слышала я, будто в царском дворце есть палата, малахитом тятиной добычи обделанная. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь — тогда выйду за тебя замуж.

Барин, конечно, на все согласен. Сейчас же в Сам-Петербурх стал собираться и Танюшку с собой зовет — лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает:

— По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит, а мы ведь еще никто. Потом уж об этом говорить будем, как ты свое обещанье выполнишь.

— Когда же,— спрашивает,— ты в Сам-Петербурхе будешь?

— К Покрову,— говорит,— непременно буду. Об этом не сумлевайся, а пока уезжай отсюда.

Барин уехал, паротину жену, конечно, не взял, не глядит даже на нее. Как домой в Сам-Петербурх-от приехал, давай по всему городу славить про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то барин квартиру Танюшке приготовил, платьев всяких навез, обую, а она весточку и прислала,— тут она, живет у такой-то вдовы на самой окраине.

Барин, конечно, сейчас же туда:

— Что вы! Мысленное ли дело тут проживать? Квартерка приготовлена, первый сорт!

А Танюшка отвечает:

— Мне и тут хорошо.

Слух про каменья да турчаниновску невесту и до царицы дошел. Она и говорит:

— Пущай-ко Турчанинов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут.

Барин к Танюшке,— дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы во дворец можно, камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает:

— О наряде не твоя печаль, а камни возьму на подержанье. Да, смотри, не вздумай за мной лошадей посылать. На своих буду. Жди только меня у крылечка, во дворце-то.

Барин думает,— откуда у ней лошади? где платье дворцовское? — а спрашивать все ж таки не насмелился.

Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках да бархатах. Турчанинов-барин спозаранку у крыльца вертится — невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть,— тут же остановились. А Танюшка надела каменья, подвязалась платочком по-заводски, шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ — откуда такая? — валом за ней валит. Подошла Танюшка ко дворцу, а царские лакеи не пущают — не дозволено, говорят, заводским-то. Турчанинов-барин издаля Танюшку завидел, только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да еще в экой шубейке, он взял, да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку, лакеи, глядят — платье-то! У царицы такого нет! — сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек да шубейку, все кругом сахнули:

— Чья такая! Каких земель царица?

А барин Турчанинов тут как тут.

— Моя невеста,— говорит.

Танюшка эдак строго на него поглядела:

— Это еще вперед поглядим! Пошто ты меня обманул — у крылечка не дождался?

Барин туда-сюда,— оплошка-де вышла. Извини, пожалуйста.

Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка — не то место. Еще строже спросила Турчанинова-барина:

— Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана! — И пошла по дворцу-то, как дома. А сенаторы, генералы и протчи за ней.

— Что дескать, такое? Видно, туда велено.

Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводят, а она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь неладно, не в этом помещенье царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнешенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет.

Царица вышла в комнату-то, куда назначено. Глядит — никого нет. Царицыны наушницы и доводят — турчаниновска невеста всех в малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно,— что за самовольство! Запотопывала ногами-то. Осердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит — не шевельнется.

Царица и кричит:

— Ну-ко, показывайте мне эту самовольницу — турчаниновску невесту!

Танюшка это услышала, вовсе брови свела, говорит барину:

— Это еще что придумал! Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!

С этим словом прислонилась к стенке малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки.

Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчанинову:

— Подбери хоть камни-то! Живо разворуют. Не како-нибудь место — дворец! Тут цену знают!

Турчанинов и давай хватать те каменья. Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. Ина капля чистая, как вот слеза, ина желтая, а то опять, как кровь, густая. Так ничего и не собрал. Глядит — на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла, на простую грань. Вовсе пустяковая. С горя он и схватил ее. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зерка-

ле, зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет-заливается:

— Эх ты, полоумный косой заяц! Тебе ли меня взять! Разве ты мне пара?

Барин после этого и последний умишко потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет и поглядит в нее, а там все одно: стоит зеленоглазая, хохочет и обидные слова говорит. С горя барин давай-ко пировать, долгов наделал, чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли.

А Паротя, как его отстранили, по кабакам пошел. До ремков пропился, а патрет тот шелковый берег. Куда этот патрет потом девался — никому не известно.

Не поживилась и паротина жена; поди-ко, получи по заемной бумаге, коли все железо и медь заложены!

Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху ни духу. Как не было.

Погоревала, конечно, Настасья, да то же не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть радетельница для семьи была, а все Настасье как чужая.

И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли. Женились оба. Внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай, поворачивайся — за тем догляди, другому подай... До скуки ли тут!

Холостяжник — тот дольше не забывал. Все под настасьиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка, да так и не дождались.

Потом, конечно, оженились, а нет-нет и помянут:

— Вот-де какая у нас в заводе девка была! Другой такой в жизни не увидишь.

Да еще после этого случаю заметочка вышла. Сказывали, будто Хозяйка Медной горы двоиться стала: сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались, как его было довольно, и сорт — выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло.

Был в ту пору мастер Прокопьич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.

Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьичу парнишек на выучку.

— Пущай-де переймут все до тонкости.

Только Прокопьич,— то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что,— учил шибко худо. Все у него с рывка да с тычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику:

— Не гож этот... Глаз у него неспособный, рука не несет. Толку не выйдет.

Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича.

— Не гож, так не гож... Другого дадим...— И нарядит другого парнишку.

Ребятишки прослышали про эту науку... Спозаранку ревут, как бы к Прокопьичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитенка на зряшную муку отдавать,— выгораживать стали своих-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.

Приказчик все ж таки помнит баринов наказ — ставит Прокопьичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику.

— Не гож этот...

Приказчик взъедаться стал:

— До какой поры это будет? Не гож да не гож, когда гож будет? Учи этого...

Прокопьич знай свое:

— Мне что... Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет...

— Какого тебе еще?

— Мне хоть и вовсе на ставь,— об этом не скучаю...

Так вот и перебрали приказчик с Прокопьичем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове — как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопьич их прогнал.

Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, глазенки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что — навытяжку: что прикажете? А этот Данилка забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшенье, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, по началу-то, потом рукой махнули:

— Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.

На заводскую работу либо в гору все ж таки не отдали — шибко жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски.— И тут Данилко не вовсе гож пришелся. Парнишечко ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то — вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сироту, и тот временем ругался:

— Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя?

— Я и сам, дедко, не знаю... Так... ни о чем... Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает, а листок широконький... По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили... А букашка-то и ползет.

— Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она — и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!

Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился — куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:

— Сыграй, Данилушко, песенку.

Он и начнет наигрывать. И песни всё незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок и разговору нет,— каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушко наигрывать и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.

Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной... Самое тут волчье место, глухое... Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой... Так и так обсказали. Ну, из завода тоже побежали-поехали на розыски, да не нашли.

Расправа тогда, известно, какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-то корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже:

— Экой-то,— говорит,— с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.

Ударил все ж таки — не пожалел, а Данилушко молчит. Палач его вдругорядь — молчит, втретьи — молчит. Палач тут и расстервенился, давай полысать со всего плеча, а сам кричит:

— Я тебя, молчуна, доведу... Дашь голос... Дашь!

Данилушко дрожит весь, слезы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слыхали. Приказчик,— он тут же, конечно, был,— удивился:

— Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.

Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. Заместо лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты... Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.

Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав да корешков, да цветков всяких у ней насушено да навешано по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен — как эту зовут? где растет? какой цветок? Старушка ему и рассказывает.

Раз Данилушко и спрашивает:

— Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?

— Хвастаться,— говорит,— не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.

— А разве,— спрашивает,— еще не открытые бывают?

— Есть,— отвечает,— и такие. Папору вот слыхал? Она будто цветет на Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв траве цветок — бегучий огонек. Поймай его — и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.

— Чем, бабушка, несчастный?

— А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали.

Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишко мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит:

— Иди-ко теперь к Прокопьичу — малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.

Ну, что сделаешь? Пошел Данилушко, а самого еще ветром качает.

Прокопьич поглядел на него, да и говорит:

— Еще такого недоставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого что взыщешь — еле живой стоит.

Пошел Прокопьич к приказчику:

— Не надо такого. Еще ненароком убьешь — отвечать придется.

Только приказчик — куда тебе, слушать не стал:

— Дано тебе — учи, не рассуждай! он — этот парнишка — крепкий. Не гляди, что жиденький.

— Ну, дело ваше,— говорит Прокопьич,— было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.

— Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай,— отвечает приказчик.

Пришел Прокопьич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан — кромку отбить. Вот Данилушко на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопьичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:

— Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?

Данилушко и отвечает:

— На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.

Прокопьич закричал, конечно:

— Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?

— То и понимаю, что эту штуку испортили,— отвечает Данилушко.

— Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне — первому мастеру!.. Да я тебе такую порчу покажу... жив не будешь!

Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопьич-то, вишь, сам над этой досочкой думал — с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уж добром:

— Ну-ко, ты, мастер явленый, покажи, как, по-твоему, сделать?

Данилушко и стал показывать да рассказывать:

— Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше — пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.

Прокопьич, знай, покрикивает:

— Ну-ну... Как же! Много ты понимаешь. Накопил — не просыпь! — А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок — он и ноги протянет».

Подумал так, да и спрашивает:

— Ты хоть чей, экий ученый?

Данилушко и рассказал про себя.

Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозванье отцовское — про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал.

Прокопьич пожалел:

— Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое.

Потом будто рассердился, заворчал:

— Ну, хватит, хватит! Вишь, разговорчивый какой! Языком-то — не руками,— всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.

Прокопьич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей снаходу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечерами Прокопьич сам управлял, что ему надо.

Поели, Прокопьич и говорит:

— Ложись вон тут, на скамеечке!

Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поежился маленько,— вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени,— все ж таки вскорости уснул. Прокопьич тоже лег, а уснуть не может: все у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдет. Ворочался-ворочался, встал; зажег свечку, да и к станку — давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую... прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишка лучше узор понял.

— Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопьич.— Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну, и глазок. Ну, и глазок!

Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:

— Спи-ко, глазастый!

А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то — тепло ему стало — и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопьича своих ребят не бывало, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушко, знай, посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопьича забота — как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.

— С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отрава,— живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.

На другой день и говорит Данилушке:

— Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой уж у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватило,— в самый раз она теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь — то и ладно. Хлеба возьми полишку,— естся в лесу-то,— да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек плеснула. Понял?

На другой день опять говорит:

— Поймай-ко ты мне щегленка поголосистее да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?

Когда Данилушко поймал и принес, Прокопьич говорит:

— Ладно, да не вовсе. Лови других.

Так и пошло. На каждый день Прокопьич Данилушке работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить — пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, поест дома да и спит покрепче. Шубу ему Прокопьич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ скатали. Прокопьич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.

В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопьичу тоже прильнул. Ну, как! — понял прокопьичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопьичу расскажет, да и спрашивает — это что да это как? Прокопьич объяснит, на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется. «Ну-ко, я...» — Прокопьич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.

Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:

— Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу... По будням с удочкой балуется, а уж не маленький... Кто-то его от работы прячет...

Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.

— Ну-ко,— говорит,— тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.

Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:

— Ты чей?

Данилушко и отвечает:

— В ученье, дескать, у мастера по малахитному делу.

Приказчик тогда хвать его за ухо:

— Так-то ты, стервец, учишься! — Да за ухо и повел к Прокопьичу.

Тот видит — неладно дело, давай выгораживать Данилушку:

— Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.

Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и давай проверку Данилушке делать:

— Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил?

Данилушко запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит — у него на все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево. Однем словом, все как есть.

Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопьичу:

— Этот, видно, гож тебе пришелся?

— Не жалуюсь,— отвечает Прокопьич.

— То-то, не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу — до смерти не забудешь, да и парнишке невесело станет.

Погрозился так-то, ушел, а Прокопьич дивуется:

— Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил.

— Сам же,— говорит Данилушко,— показывал да рассказывал, а я примечал.

У Прокопьича даже слезы закапали,— до того ему это по сердцу пришлось.

— Сыночек,— говорит,— милый, Данилушко... Что еще знаю, все тебе открою... Не потаю...

Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшенья разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь — у малахитчиков — дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.

А как выточил зарукавье-змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:

«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тихо. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопьича, на оброк отпустить?»

Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопьич пойдет, да и говорит:

— Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится — только камень без пользы изведет.

Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без большой натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопьич ему в этом тоже сноровлял. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:

— Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?

Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Однем словом, сухота девичья. Прокопьич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко, знай, головой потряхивает:

— Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.

Барин на приказчиково известие отписал:

«Пусть тот прокопьичев выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу — на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтобы Прокопьич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь — с тебя взыск будет».

Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит:

— Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.

Прокопьич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет... Закричал только: «Не твое дело!»

Ну, вот пошел Данилушко работать на новое место, а Прокопьич ему наказывает:

— Ты, гляди, не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.

Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай — не делай, а срок отбывай — сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:

— Еще такую же делай!

Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:

— Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопьичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!

Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин,— то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был,— все как есть наоборот повернул.

Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать — может-де вдвоем-то скорее придумают что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки. Однем словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была».

Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопьичу и чертеж отдал.

Повеселели Данилушко с Прокопьичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил,— пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватает — хорошо идет дело. Одно ему не по нраву — трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопьичу, а он только удивился:

— Тебе-то что? Придумали — значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они — толком и не знаю.

Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:

— Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!

Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал,— не выдумают ли вдвоем-то чего новенького,— и говорит:

— Ты вот что... делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь — твое дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо — такой и дам.

Тут вот Данилушке ду́мка и запала. Не нами сказано — чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать — не одну ночку с боку на бок повертишься. Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопьич заметил, спрашивает:

— Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь.

— И то,— говорит Данилушко,— в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.

С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе, либо на полянке в лесу и стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку — не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело, да и скажет:

— Потерять не потерял, а найти не могу.

Ну, которые и запоговаривали:

— Неладно с парнем.

А он придет домой и сразу к станку да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеди: черемицу да омег, дурман да багульник, да

резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопьич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:

— Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел.

Прокопьич давай отговаривать:

— На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор — сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать — только и всего.

Ну, Данилушко на своем стоит.

— Не для барина,— говорит,— стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим да режем, да полер наводим и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желанье так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.

По времени отошел Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:

— Лента каменная с дырками, каемочка резная...

Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит. Прокопьичу сказал:

— По дурман-цветку свою чашу делать буду.

Прокопьич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопьичу:

— Ну, ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай... Не могу ее из головы выбросить.

Прокопьич отвечает:

— Ладно, мешать не стану,— а сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется».

Занялся Данилушко чашей. Работы с ней много — в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопьич и стал про женитьбу заговаривать:

— Вот хоть бы Катя Летемина — чем не невеста? Хорошая девушка... Похаять нечем.

Это Прокопьич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно по-



«МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА»



«КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

глядывал. Ну, и она не отворачивалась. Вот Прокопьич, будто ненароком, и заводил разговор. А Данилушко свое твердит:

— Погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди — молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождет она меня.

Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя — невеста-то — с родителями пришла, еще которые... из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.

— Как,— говорит,— только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего все гладко да чисто обточено!

Мастера тоже одобряют:

— В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь — пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.

Данилушко слушал-слушал, да и говорит:

— То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, а красота где? Вон цветок... самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.

— А где оплошал,— смеются мастера,— там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь.

— Вот-вот... А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!

Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.

Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопьич не раз говаривал:

— Камень — камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать.

Только был тут старичок один. Он еще Прокопьича и тех —других-то мастеров — учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушке:

— Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к Хозяйке в горные мастера...

— Какие мастера, дедушко?

— А такие... в горе живут, никто их не видит... Что Хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.

Всем любопытно стало. Спрашивают,— какую поделку видел.

— Да змейку,— говорит,— ту же, какую вы на зарукавье точите.

— Ну, и что? Какая она?

— От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает — не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки... Того и гляди — клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.

Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:

— Не знаю, милый сын, слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.

Данилушко на это и говорит:

— Я бы поглядел.

Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:

— Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? — да в слезы. Прокопьич и другие мастера сметили дело, давай старого мастера насмех подымать:

— Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.

Старик разгорячился, по столу стукнул:

— Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.

Мастера смеются:

— Хлебнул, дедушко, лишка!

А он свое:

— Есть каменный цветок!

Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около

своего дурман-цветка ходить, а про свадьбу и не поминает. Прокопьич уж понуждать стал:

— Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того и жди — пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то?

Данилушко одно свое:

— Погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу.

И повадился он на медный рудник — на Гумешки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит:

— Нет, не тот...

Только это промолвил, кто-то и говорит:

— В другом месте поищи... у Змеиной горки.

Глядит Данилушко,— никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли... Будто и спрятаться негде. Поогляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять:

— Слышишь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.

Оглянулся Данилушко,— женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.

«Что,— думает,— за штука? Неуж *сама?* А что, если сходить на Змеиную-то?»

Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет. Давно всю срыли, а раньше камень поверху брали.

Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.

Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень — на руках не унести — и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется... Ну, все, как есть... Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопьичу:

— Гляди-ко, камень какой! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это не легко. Вот только эта работа меня и держит. Скорее бы ее кончить!

Ну, и принялся Данилушко за тот камень. Ни дня, ни ночи не знает. А Прокопьич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идет. Низ камня отделал. Как есть, слышь-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки — все пришлось лучше нельзя. Прокопьич и то говорит — живой цветок-от хоть рукой пощупать. Ну, а как до верху дошел — тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонехоньки — как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то... Не живой стал и красоту потерял. Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопьич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся,— чего еще парню надо? Чаша вышла — никто такой не делывал, а ему неладно. Умуется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят,— поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.

— Ладно,— говорит,— больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня.— И давай сам торопить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику сказал. Тот прибежал, глядит — вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:

— Погоди маленько, доделка есть.

Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову, кто-то и помянул про это — вот-де скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушко эти слова на приметку взял, Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего?» — и про камень припомнил: «Ведь как положенный был! И голос на руднике-то... про Змеиную же горку говорил».

Вот и пошел Данилушко. Земля тогда уже подмерзать стала, и снежок припорашивал. Подошел Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто это камень ломал, зашел в выбоину. «Посижу,— думает,— отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит — у одной стены камень-серовик, вроде стула.

Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы нейдет. «Вот бы поглядеть!» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу ее признал. Только и то думает:

«Может, мне это кажется, а на деле никого нет». Сидит — молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:

— Ну, что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?

— Не вышла,— отвечает.

— А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.

— Нет,— отвечает,— не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.

— Показать-то,— говорит,— просто, да потом жалеть будешь.

— Не отпустишь из горы?

— Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.

— Покажи, сделай милость!

Она еще его уговаривала:

— Может, еще попытаешь сам добиться! — Про Прокопьича тоже помянула: — Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть.— Про невесту напомнила: — Души в тебе девка не чает, а ты на сторону глядишь.

— Знаю я,— кричит Данилушко,— а только без цветка мне жизни нет. Покажи!

— Когда так,— говорит,— пойдем, Данило-мастер, в мой сад.

Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня... Ну, всякие... Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава, тоже каменная. Лазоревая, красная... разная... Солнышка не видно, а светло, как перед закатом. Промеж де-

ревьев-то змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.

И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут, как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют.

— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка.

— Не найдешь,— отвечает Данилушко,— камня, чтобы так-то сделать.

— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу.— Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.

Пришел Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко веселым себя показывал —песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:

— Что с тобой? Ровно на похоронах ты!

А он и говорит:

— Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу.

На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:

— Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся.

Про себя думает: «Пообдует Данилушку ветром,— не лучше ли ему станет».

А подружкам что... Рады-радехоньки.

— И то,— кричат,— проводить надо. Шибко он близко живет — провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.

Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит — вовсе ни к че-

му это: «И без того Данилушко у меня невеселый, а они еще такое причитанье петь придумали».

Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идет, голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться — кому куда, а Данилушко уж без обряду невесту свою проводил и домой пошел.

Прокопьич давно спал. Данилушко потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку, как ножом по сердцу, резнуло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопьич прокашлялся, спрашивает:

— Ты что это с чашами-то?

— Да вот гляжу, не пора ли сдавать?

— Давно,— говорит,— пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь.

Ну, поговорили еще маленько, потом Прокопьич опять уснул. И Данилушко лег, только сна ему нет и нет. Поворочался-поворочался, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопьичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал...

Потом взял балодку да как ахнет по дурман-цветку,— только схрупало. А ту чашу,— по барскому-то чертежу,— не пошевелил! Плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.

Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал — Хозяйка взяла его в горные мастера.

На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.

ГОРНЫЙ МАСТЕР

Катя,— данилова-то невеста,— незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данило потерялся,— она и вовсе из невестинской поры вышла. За двадцать-то годов, по-нашему, по-заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну, а эта Катя, видно, пригожа была, к ней все женихи лезут, а у ней только и слов:

— Данилу обещалась.

Ее уговаривают:

— Что поделаешь! Обещалась, да не вышла. Теперь об этом и поминать не к чему. Давно человек изгиб.

Катя на своем стоит:

— Данилу обещалась. Может, и придет еще он.

Ей толкуют:

— Нет его в живых. Верное дело.

А она уперлась на своем:

— Никто его мертвым не видал, а для меня он и подавно живой.

Видят — не в себе девка,— отстали. Иные насмех еще подымать стали: прозвали ее мертвяковой невестой. Ей это прильнуло. Катя Мертвякова да Катя Мертвякова, ровно другого прозванья не было.

Тут какой-то мор на людей случился, и у Кати старики-то оба умерли. Родство у нее большое. Три брата женатых да сестер замужних сколько-то. Рассорка промеж ними и вышла — кому на отцовском месте оставаться. Катя видит,— бестолковщина пошла, и говорит:

— Пойду-ко я в данилушкову избу жить. Вовсе Прокопьич старый стал. Хоть за ним похожу.

Братья-сестры уговаривать, конечно:

— Не подходит это, сестра. Прокопьич хоть старый человек, а мало ли что про тебя сказать могут.

— Мне-то,— отвечает,— что? Не я сплетницей стану. Прокопьич, поди-ко, мне не чужой. Приемный отец моему Данилу. Тятенькой его звать буду.

Так и ушла. Оно и то сказать: семейные не крепко вязались. Про себя думали: лишний из семьи — шуму меньше. А Прокопьич что? Ему это по душе пришлось.

— Спасибо,— говорит,— Катенька, что про меня вспомнила.

Вот и стали они поживать. Прокопьич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает — в огороде там, сварить-постряпать и протча. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то... Катя— девушка проворная, долго ли ей!.. Управится и садится за какое рукоделье: сшить-связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось, только Прокопьичу все хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя и заподумывала, как они дальше-то жить станут.

«Рукодельем женским не прокормишься, а другого ремесла не знаю».

Вот и говорит Прокопьичу:

— Тятенька! Ты бы хоть научил меня чему попроще.

Прокопьичу даже смешно стало.

— Что ты это! Девичье ли дело за малахитом сидеть! Отродясь такого не слыхивал.

Ну, она все ж таки присматриваться к прокопьичеву ремеслу стала. Помогала ему, где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопьич и стал ей то-другое показывать. Не то, чтобы настояще. Бляшку обточить, ручки к вилкам-ножам сделать и протча, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копеечно, а все разоставок при случае.

Прокопьич недолго зажился. Тут братья-сестры уж понуждать Катю стали:

— Теперь тебе заневолю надо замуж выходить. Как ты одна жить будешь?

Катя их обрезала:

— Не ваша печаль. Никакого мне вашего жениха не надо. Придет Данилушко. Выучится в городе и придет.

Братья-сестры руками на нее машут:

— В уме ли ты, Катерина? Эдакое и говорить грех! Давно умер человек, а она его ждет! Гляди, еще блазнить станет.

— Не боюсь,— отвечает,— этого.

Тогда родные спрашивают:

— Чем ты хоть жить-то станешь?

— Об этом,— отвечает,— тоже не заботьтесь. Продержусь одна.

Братья-сестры так поняли, что от Прокопьича деньжонки остались, и опять за свое:

— Вот и вышла дура! Коли деньги есть, мужика, беспременно, в доме надо. Не ровен час,— поохотится кто за деньгами. Свернут тебе башку, как куренку. Только и свету видела.

— Сколько,— отвечает,— на мою долю положено, столько и увижу.

Братья-сестры долго еще шумели. Кто кричит, кто уговаривает, кто плачет, а Катя заколодила свое:

— Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. Давно у меня есть.

Осердились, конечно, родные:

— В случае, к нам и глаз не показывай!

— Спасибо,— отвечает,— братцы милые, сестрицы любезные! Помнить буду. Сами-то не забудьте — мимо похаживайте!

Смеется, значит. Ну, родня и дверями хлоп.

Осталась Катя одна-одинешенька. Поплакала, конечно, сперва, потом и говорит:

— Врешь! Не поддамся!

Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить — чистоту наводить. Управилась — и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок наводить стала. Что ей не нужно, то подальше, а что постоянно требуется, то под руку. Навела так-то порядок и хотела за работу садиться.

«Попробую сама хоть одну бляшку обточить».

Хватилась, а камня подходящего нет. Обломки данилушковой дурман-чаши остались, да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. У Прокопьича камня, конечно, много было. Только Прокопьич до смерти на больших работах сидел. Ну, и камень все крупный. Обломышки да кусочки все подобрались — порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает:

«Надо, видно, сходить на руднишных отвалах поискать. Не попадет ли подходящий камешок».

От Данилы да и от Прокопьича она слыхала, что они у Змеиной горки брали. Вот туда и пошла.

На Гумешках, конечно, всегда народ: кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то — куда она с корзинкой пошла. Кате это нелюбо, что на нее зря глаза пялят. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать, обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку да тут и села. Горько ей стало — Данилушку вспомнила. Сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом,— она и не сторожится. Так слезы на землю и каплют. Поплакала, глядит — у самой ноги малахит-камень обозначился, только весь в земле сидит. Чем его возьмешь, коли ни кайлы, ни лома? Катя все ж таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла, сколько можно, стала вышатывать. Камень и подался. Как хрупнуло снизу,— ровно сучок обломился. Камешок небольшой, вроде плитки. Толщиной пальца в три, шириной в ладонь, а длиной не больше двух четвертей. Катя даже подивилась:

— Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько бляшек выйдет. И потери самый пустяк.

Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа не быстрая, а Кате еще надо по домашности управляться. Глядишь, весь день в работе, и скучать некогда. Только как за станок садиться, все про Данилушку вспомнит:

— Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то да прокопьичевом месте сидит!

Нашлись, конечно, охальники. Как без этого... Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли к ней в ограду. Попугать хотели али и еще что — их дело, только все выпивши. Катя ширкает пилой-то и не слышит, что у ней в сенках люди. Услышала, когда уж в избу ломиться стали:

— Отворяй, мертвякова невеста! Принимай живых гостей!

Катя сперва уговаривала их:

— Уходите, ребята!

Ну, им это ничего. Ломятся в дверь, того и гляди — сорвут. Тут Катя скинула крючок, расхлобыснула двери и кричит:

— Заходи, нето. Кого первого лобанить?

Парни глядят, а она с топором.

— Ты, говорят,— без шуток!

— Какие,— отвечает,— шутки! Кто за порог, того и по лбу.

Парни, хоть пьяные, а видят — дело не шуточное. Девка возрастная, оплечье крутое, глаз решительный, и топор, видать, в руках бывал. Не посмели ведь войти-то. Пошумели-пошумели, убрались да еще сами же про это рассказали. Парней и стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось, конечно, они и сплели, будто Катя не одна была, а за ней мертвяк стоял.

— Да такой страшный, что заневолю убежишь.

Парням поверили — не поверили, а по народу с той поры пошло:

— Нечисто в этом доме. Недаром она одна-одинешенька живет.

До Кати это донеслось, да она печалиться не стала. Еще подумала: «Пущай плетут. Мне так-то и лучше, если побаиваться станут. Другой раз, глядишь, не полезут».

Соседи и на то дивятся, что Катя за станком сидит. Насмех ее подняли:

— За мужичье ремесло принялась! Что у нее выйдет!

Это Кате солонее пришлось. Она и сама подумывала: «Выйдет ли у меня у одной-то!» Ну, все ж таки с собой совладала: «Базарский товар! Много ли надо? Лишь бы гладко было... Неуж и того не осилю?»

Распилила Катя камешок. Видит — узор на редкость пришелся, и как намечено, в котором месте поперек отпилить. Подивилась Катя, как ловко все пришлось. Поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Только то и в брос, что на сточку пришлось.

Наделала Катя бляшек, еще раз подивилась, какой выходной камешок оказался, и стала смекать, куда сбыть

поделку. Прокопьич такую мелочь в город, случалось, возил и там все в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и придумала сходить в город.

«Спрошу там, будут ли напредки мою поделку принимать».

Затворила избушку и пошла пешочком. В Полевой и не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тот хозяин, который у Прокопьича поделку принимал, и заявилась прямо в лавку. Глядит — полно тут всякого камня, а малахитовых бляшек целый шкап за стеклом. Народу в лавке много. Кто покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий да важный такой.

Катя сперва и подступить боялась, потом насмелилась и спрашивает:

— Не надо ли малахитовых бляшек?

Хозяин пальцем на шкап указал:

— Не видишь, сколь у меня добра этого?

Мастера, которые работу сдавали, припевают ему:

— Много ноне на эту поделку мастеров развелось. Только камень переводят. Того не понимают, что для бляшки узор хороший требуется.

Один-то мастер из полевских. Он и говорит хозяину потихоньку:

— Недоумок эта девка. Видели ее соседи за станком-то. Вот, поди, настряпала.

Хозяин тогда и говорит:

— Ну-ко, покажи, с чем пришла?

Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на Катю уставился и говорит:

— У кого украла?

Кате, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила:

— Какое твое право, не знаючи человека, эдак про него говорить? Гляди вот, если не слепой! У кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ко, скажи! — и высыпала на прилавок всю свою поделку.

Хозяин и мастера видят — верно, на один узор. И узор редкостный. Будто из середины-то дерево выступает, а на ветке птица сидит и внизу тоже птица. Явственно видно и сделано чисто. Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже поглядеть, только хозяин сразу все бляшки прикрыл. Нашел заделье.

— Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу. Тогда и выбирайте, что кому любо.— А сам Кате говорит: — Иди вон в ту дверь. Сейчас деньги получишь.

Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверку, спрашивает:

— Почем сдаешь?

Катя слыхала от Прокопьича цены. Так и сказала, а хозяин давай хохотать:

— Что ты! Что ты! Такую-то цену я одному полевскому мастеру Прокопьичу платил да еще его приемышу Данилу. Да ведь то мастера были!

— Я,— отвечает,— от них и слыхала. Из той же семьи буду.

— Вон что! — удивился хозяин.— Так это, видно, у тебя данилова работа осталась?

— Нет,— отвечает,— моя.

— Камень, может, от него остался?

— И камень сама добывала.

Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному да еще говорит:

— Вперед случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду и цену положу настоящую.

Ушла Катя, радуется,— сколько денег получила! А хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали:

— Сколько?

Он, конечно, не ошибся,— в десять раз против купленного назначил, да и наговаривает:

— Такого узора еще не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать.

Пришла Катя домой, а сама все дивится.

— Вот штука какая! Лучше всех мои бляшки оказались! Хорош камешок попался. Случай, видно, счастливый подошел.— Потом и хватилась: — А не Данилушко ли это мне весточку подал?

Подумала так, скрутилась и побежала на Змеиную горку.

А тот малахитчик, который хотел Катю перед городским купцом оконфузить, тоже домой воротился. Завидно ему, что у Кати такой редкостный узор получился. Он и придумал:

— Надо поглядеть, где она камень берет. Не новое ли какое место ей Прокопьич либо Данило указали?

Увидел, что Катя куда-то побежала, он и пошел за ней. Видит,— Гумешки она обошла стороной и куда-то за Змеиную горку пошла. Мастер туда же, а сам думает: «Там лес. По лесу-то к самой ямке прокрадусь».

Зашли в лес. Катя вовсе близко и нисколько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то зашумело, да так, что мастер даже испугался. Остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, Кати и не стало. Бегал он, бегал по лесу. Еле выбрался к Северскому пруду,— версты, поди, за две от Гумешек.

Катя сном дела не знала, что за ней подглядывают. Забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто побольше стала, а сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катя, он и отстал. Опять, как сучок, хрупнул. Взяла Катя камешок и заплакала-запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают:

— На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул,— и протча тако...

Наревелась, будто полегче стало, стоит — задумалась, в руднишную сторону глядит. Место тут вроде полянки. Кругом лес густой да высокий, а в руднишную сторону помельче пошел. Время на закате. По низу от лесу на полянке темнеть стало, а в то место — к руднику солнышко пришлось. Так и горит это место, и все камешки на нем блестят.

Кате это любопытно показалось. Хотела поближе подойти. Шагнула, а под ногой и схрупало. Отдернула она ногу, глядит —земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы меж деревьями внизу видно травы да цветы, и вовсе они на здешние не походят.

Другая бы на катином месте перепугалась, крик-визг подняла, а она вовсе о другом подумала:

«Вот она, гора, раскрылась! Хоть бы на Данилушку взглянуть!»

Только подумала и видит через прогалы — идет кто-то внизу, на Данилушку походит и руки вверх тянет,

будто сказать что хочет. Катя свету не взвидела, так и кинулась к нему... с дерева-то! Ну, а пала тут же на землю, где стояла. Образумилась, да и говорит себе:

— Верно, что блазнить мне стало. Надо поскорее домой итти.

Итти надо, а сама сидит да сидит, все ждет, не вскроется ли еще гора, не покажется ли опять Данилушко. Так до потемок и просидела. Тогда только и домой пошла, а сама думает: «Повидала все ж таки Данилушку».

Тот мастер, который за Катей подглядывал, домой к этому времени выбежал. Поглядел — избушка у Кати заперта. Он и притаился,— посмотрю, что она притащила. Видит — идет Катя, он и встал поперек дороги:

— Ты куда это ходила?

— На Змеиную,— отвечает.

— Ночью-то? Что там делать?

— Данилу повидать...

Мастер так и шарахнулся, а на другой день по заводу шепотки поползли:

— Вовсе рехнулась мертвякова невеста. По ночам на Змеиную ходит, покойника ждет. Как бы еще завод не подожгла с малого-то ума.

Братья-сестры прослышали, опять прибежали, давай строжить да уговаривать Катю. Только она и слушать не стала. Показала им деньги и говорит:

— Это, думаете, откуда у меня? У хороших мастеров не берут, а мне за перводелку столько отвалили! Почему так?

Братья слышали про ее-то удачу и говорят:

— Случай счастливый вышел. О чем тут говорить.

— Таких,— отвечает,— случаев не бывало. Это мне Данило сам такой камень подложил и узор вывел.

Братья смеются, сестры руками машут:

— И впрямь рехнулась! Надо приказчику сказать. Как бы всамделе завод не подожгла!

Не сказали, конечно. Постыдились сестру-то выдавать. Только вышли, да и сговорились:

— Надо за Катериной глядеть. Куда пойдет — сейчас же за ней бежать.

А Катя проводила родню, двери заперла да принялась новый-то камешок распиливать. Пилит да загадывает:

— Коли такой же издастся, значит, не поблазнило мне — видала я Данилушку.

Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, увидела огонь в избе, подбежала к окошку, смотрит сквозь щелку в ставне и дивится:

— И сон ее не берет! Наказанье с девкой!

Отпилила Катя досочку — узор и обозначился. Еще лучше того-то. Птица с дерева книзу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперек распилить. Катя тут и думать не стала. Схватилась, да и побежала куда-то. Сестра за ней. Дорогой-то постучалась к братьям — бегите, дескать, скорей! Выбежали братья, еще народ сбили. А уже светленько стало. Глядят,— Катя мимо Гумешек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, и не чует, что народ за ней. Пробежала рудник, потише пошла в обход Змеиной горки. Народ тоже призадержался —посмотрим, дескать, что она делать будет.

Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась, и темно еще тут. Катя и думает:

«Видно, я в гору попала».

Родня да народ той порой переполошились:

— Куда она девалась? Сейчас близко была, а не стало!

Бегают, суетятся. Кто на горку, кто кругом горки. Перекликаются друг с дружкой: — Там не видно? А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу найти. Походила-походила, да и закричала:

— Данило, отзовись!

По лесу голк пошел. Сучья запостукивали: «Нет его! Нет его! Нет его!» Только Катя не унялась:

— Данило, отзовись!

По лесу опять: «Нет его! Нет его! Нет его!» Катя снова:

— Данило, отзовись!

Тут Хозяйка горы перед Катей и показалась.

— Ты зачем,— спрашивает,— в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери да уходи поскорее!

Катя тут и говорит:

— Не надо мне твоего мертвого камня! Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твое право чужих женихов сманивать!

Ну, смелая девка. Прямо на горло наступать стала. Это Хозяйке-то! А та ничего, стоит спокойненько:

— Еще что скажешь?

— А то и скажу — подавай Данилу! У тебя он...

Хозяйка расхохоталась, да и говорит:

— Ты, дура-девка, знаешь ли, с кем говоришь?

— Не слепая,— кричит,— вижу. Только не боюсь тебя, разлучница! Нисколечко не боюсь! Сколь ни хитро у тебя, а ко мне Данило тянется. Сама видала. Что, взяла?

Хозяйка тогда и говорит:

— А вот послушаем, что он сам скажет.

До того в лесу темненько было, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно другого краше. В прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные, и пчелки золотые, как искорки, над теми цветами. Ну, такая, слышь-ко, красота, что век бы не наглядеся. И видит Катя: бежит по этому лесу Данило. Прямо к ней. Катя навстречу кинулась:

— Данилушко!

— Подожди,— говорит Хозяйка и спрашивает: — Ну, Данило-мастер, выбирай — как быть? С ней пойдешь — все мое забудешь, здесь останешься — ее и людей забыть надо.

— Не могу,— отвечает,— людей забыть, а ее каждую минуту помню.

Тут Хозяйка улыбнулась светленько и говорит:

— Твоя взяла, Катерина! Бери своего мастера. За удалость да твердость твою вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое в памяти останется. Только вот это пусть накрепко забудет! — И полянка с диковинными цветами сразу потухла.— Теперь ступайте в ту сторону,—указала Хозяйка да еще упредила:— Ты, Данило,

про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел за тем, что теперь забыл.

Поклонилась тут Катя:

— Прости на худом слове!

— Ладно,— отвечает,— что каменной сделается! Для тебя говорю, чтоб остуды у вас не было.

Пошла Катя с Данилой по лесу, а он все темней да темней, и под ногами неровно — бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике — на Гумешках. Время еще раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой. А те, что за Катей побежали, все еще по лесу бродят да перекликаются: — Там не видно?

Искали-искали, не нашли. Прибежали домой, а Данило у окошка сидит.

Испугались, конечно. Чураются, заклятья разные говорят. Потом видят — трубку Данило набивать стал. Ну и отошли.

«Не станет же,— думают,— мертвяк трубку курить».

Подходить стали один по одному. Глядят — и Катя в избе. У печки толкошится, а сама веселехонька. Давно ее такой не видали. Тут и вовсе осмелели, в избу вошли, спрашивать стали:

— Где это тебя, Данило, давно не видно?

— В Колывань,— отвечает,— ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу, будто лучше его нет по работе. Вот и заохотило поучиться маленько. Тятенька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал — тайком ушел, Кате вон только сказался.

— Пошто,— спрашивают,— чашу свою разбил?

Данило притуманился маленько, как о чаше помянули, потом говорит:

— Ну, мало ли... С вечорки пришел... Может, выпил лишка... Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое, поди, случалось. О чем говорить.

Тут братья-сестры к Кате приступать стали, почему не сказала про Колывань-то. Только от Кати тоже не много добились. Сразу отрезала:

— Чья бы корова мычала, моя бы молчала. Мало я вам сказывала, что Данило живой. А вы что? Женихов

мне подсовывали да с пути сбивали! Садитесь-ко лучше за стол. Испеклась у меня чирла-то.

На том дело и кончилось. Посидела родня, поговорила о том-другом, разошлась. Вечером пошел Данило к приказчику объявиться. Тот пошумел, конечно. Ну, все-таки уладили дело.

Вот и стали Данило с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласно. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет — и задумается Данило. Катя понимала, конечно,— о чем, да помалкивала.

ХРУПКАЯ ВЕТОЧКА

У Данилы с Катей,— это которая своего жениха у Хозяйки горы вызволила,— ребятишек многонько народилось. Восемь, слышь-ко, человек, и все парнишечки. Мать-то не раз ревливала: хоть бы одна девчонка на поглядку. А отец, знай, похохатывает:

— Такое, видно, наше с тобой положенье.

Ребятки здоровеньки росли. Только одному не посчастливилось. То ли с крылечка, то ли еще откуда свалился и себя повредил: горбик у него расти стал. Баушки правили, понятно, да толку не вышло. Так горбатенькому и пришлось на белом свете маяться.

Другие ребятишки,— я так замечал,— злые выходят при таком-то случае, а этот ничего — веселенький рос и на выдумки мастер. Он третьим в семье-то приходился, а все братья слушались его да спрашивали:

— Ты, Митя, как думаешь? По-твоему, Митя, к чему это?

Отец с матерью, и те частенько покрикивали:

— Митюшка! Погляди-ко! Ладно, на твой глаз?

— Митяйко, не приметил, куда я воробы поставила?

И то Митюньке далось, что отец смолоду ловко на рожке играл. Этот тоже пикульку смастерит, так она у него ровно сама песню выговаривает.

Данило по своему мастерству все-таки зарабатывал ладно. Ну, и Катя без дела не сиживала. Вот, значит, и поднимали семью, за куском в люди не ходили. И об одежонке ребячьей Катя заботилась. Чтоб всем справа была: пимешки там, шубейки и протча. Летом-то, понятно, и босиком ладно: своя кожа, не куплена. А Митюнь-

ке, как он всех жальчее, и сапожнешки были. Старшие братья этому не завидовали, а малые сами матери говорили:

— Мамонька, пора, поди, Мите новые сапоги заводить. Гляди — ему на ногу не лезут, а мне бы как раз пришлось.

Свою, видишь, ребячью хитрость имели, как бы поскорее митины сапожнешки себе пристроить. Так у них все гладенько и катилось. Соседки издивовались прямо:

— Что это у Катерины за робята! Никогда у них и драчишки меж собой не случится.

А это все Митюнька — главная причина. Он в семье-то ровно огонек в лесу: кого развеселит, кого обогреет, кого на думки наведет.

К ремеслу своему Данило не допускал ребятишек до времени.

— Пускай,— говорит,— подрастут сперва. Успеют еще малахитовой-то пыли наглотаться.

Катя тоже с мужем в полном согласье — рано еще за ремесло садить. Да еще придумали поучить ребятишек, чтоб, значит, читать-писать, цифру понимать. Школы по тогдашнему положению не было, и стали старшие-то братья бегать к какой-то мастерице. И Митюнька с ними. Те ребята понятливые, хвалила их мастерица, а этот вовсе на отличку. В те годы по-мудреному учили, а он с лету берет. Не успеет мастерица показать,— он обмозговал. Братья еще склады толмили, а он уж читал, знай слова лови. Мастерица не раз говаривала:

— Не бывало у меня такого выученика.

Тут отец с матерью возьми и погордись маленько: завели Митюньке сапожки поформеннее. Вот с этих сапожек у них полный переворот жизни и вышел.

В тот год, слышь-ко, барин на заводе жил. Пропикнул, видно, денежки в Сам-Петербурхе, вот и приехал на завод — не выскребу ли, дескать, еще сколь-нибудь.

При таком-то деле, понятно, как денег не найти, ежели с умом распорядиться. Одни приказные да приказчик сколько воровали. Только барин вовсе в эту сторону и глядеть не умел.

Едет это он по улице и углядел — у одной избы трое робятишек играют, и все в сапогах. Барин им и маячит рукой-то: — идите сюда.

Митюньке хоть не приводилось до той поры барина видать, а признал, небось. Лошади, вишь, отменные, кучер по форме, коляска под лаком и седок гора-горой, жиром заплыл, еле ворочается, а перед брюхом палку держит с золотым набалдашником.

Митюнька оробел маленько, все-таки ухватил братишек за руки и подвел поближе к коляске, а барин хрипит:

— Чьи такие?

Митюнька, как старший, объясняет спокойненько:

— Камнереза Данилы сыновья. Я вот Митрий, а это мои братики малые.

Барин аж посинел от этого разговору, чуть не задохся, только пристанывает:

— Ох, ох! что делают! что делают! Ох, ох!

Потом, видно, провздыхался и заревел медведем:

— Это что? А? — А сам палкой-то на ноги ребятам показывает. Малые, понятно, испужались, к воротам кинулись, а Митюнька стоит и никак в толк взять не может, о чем его барин спрашивает.

Тот заладил свое, недоладом орет:

— Это что?

Митюнька вовсе оробел да и говорит:

— Земля.

Барина тут как параличом хватило, захрипел вовсе:

— Хр-р, хр-р! До чего дошло! До чего дошло! Хр-р, хр-р.

Тут Данило сам из избы выбежал, только барин не стал с ним разговаривать, ткнул кучера набалдашником в шею — поезжай!

Этот барин не твердого ума был. Смолоду за ним такое замечалось, к старости и вовсе несамостоятельной стал. Напустится на человека, а потом и сам объяснить не умеет, что ему надо. Ну, Данило с Катериной и подумали — может, обойдется дело, забудет про ребятишек, пока домой доедет. Только не тут-то было: не забыл барин ребячьих сапожишек. Первым делом на приказчика насел.

— Ты куда глядишь? У барина башмаков купить не на что, а крепостные своих ребятишек в сапогах водят? Какой ты после этого приказчик?

Тот объясняет:

— Вашей, дескать, барской милостью Данило на оброк отпущен и сколько брать с него — тоже указано, а как платит он исправно, я и думал...

— А ты,— кричит,— не думай, а гляди в оба. Вон у него что завелось! Где это видано? Вчетверо ему оброк назначить.

Потом призвал Данилу и сам объяснил ему новый оброк. Данило видит — вовсе несуразица и говорит:

— Из воли барской уйти не могу, а только оброк такой тоже платить не в силу. Буду работать, как другие, по вашему барскому приказу.

Барину, видать, это не по губе. Денег и без того нехватка,— не до каменной поделки. В пору и ту продать, коя от старых годов осталась. На другую какую работу камнереза поставить тоже не подходит. Ну, и давай рядиться. Сколько все-таки ни отбивался Данила, оброк ему вдвое барин назначил, а не хошь — в гору. Вот куда загнулось!

Понятное дело, худо Данилу с Катей пришлось. Всех прижало, а робятам хуже всего: до возрасту за работу сели. Так и доучиться им не довелось. Митюнька — тот виноватее всех себя считал — сам так и лезет на работу. Помогать, дескать, отцу с матерью буду, а те опять свое думают:

— И так-то он у нас нездоровый, а посади его за малахит — вовсе изведется. Потому — кругом в этом деле худо. Присадочный вар готовить — пыли не продохнешь, щебенку колотить — глаза береги, а олово крепкой водкой на полер разводить — парами задушит. Думали, думали и придумали отдать Митюньку по гранильному делу учиться.

Глаз, дескать, хваткий, пальцы гибкие и силы большой не надо — самая по нему работа.

Гранильщик, конечно, у них в родстве был. К нему и пристроили, а он рад-радехонек, потому знал — парнишечко смышленый и к работе не ленив.

Гранильщик этот так себе средненький был, второй, а то и третьей цены камешок делал. Все-таки Митюнька перенял от него, что тот умел. Потом этот мастер и говорит Данилу:

— Надо твоего парнишка в город отправить. Пущай там дойдет до настоящей точки. Шибко рука у него ловкая.

Так и сделали. У Данилы в городе мало ли знакомства было по каменному-то делу. Нашел кого надо и пристроил Митюньку. Попал он тут к старому мастеру по каменной ягоде. Мода, видишь, была из камней ягоды делать. Виноград там, смородину, малину и протча. И на все установ имелся. Черну, скажем, смородину из агату делали, белу — из дурмашков, клубнику — из сургучной яшмы, княженику — из мелких шерловых шаричков клеили. Однем словом, всякой ягоде свой камень. Для корешков да листочков тоже свой порядок был: кое из офата, кое из малахита либо из орлеца и там еще из какого-нибудь камня.

Митюнька весь этот установ перенять перенял, а нет-нет и придумает по-своему. Мастер сперва ворчал, потом похваливать стал:

— Пожалуй, так-то живее выходит.

Напоследок прямо объявил.

— Гляжу я, парень, шибко большое твое дарование к этому делу. В пору мне, старику, у тебя учиться. Вовсе ты мастером стал да еще с выдумкой.

Потом помолчал маленько, да и наказывает:

— Только ты, гляди, ходу ей не давай! Выдумке-то! Как бы за нее руки не отбили. Бывали такие случаи.

Митюнька, известно, молодой — безо внимания к этому. Еще посмеивается:

— Была бы выдумка хорошая. Кто за нее руки отбивать станет?

Так вот и стал Митюха мастером, а еще вовсе молодой: только-только ус пробиваться стал. По заказам он не скучал, всегда у него работы полно. Лавочники по каменному делу смекнули живо, что от этого парня большим барышом пахнет,— один перед другим заказы ему дают, успевай только. Митюха тут и придумал:

— Пойду-ко я домой. Коли мою работу надо, так меня и дома найдут. Дорога недалекая, и груз не велик — материал привезти да поделку забрать.

Так и сделал. Семейные обрадовались, понятно: Митя пришел. Он тоже повеселить всех желает, а самому не сладко. Дома-то чуть не цельная малахитовая мастерская стала. Отец и двое старших братьев за станками в малухе сидят и младшие братья тут же: кто на распиловке, кто на шлифовке. У матери на руках долгожданная, девчушка-годовушка трепещется, а радо-

сти в семье нет. Данило уж вовсе стариком глядит, старшие братья покашливают, да и на малых смотреть невесело. Бьются, бьются, а все в барский оброк уходит.

Митюха тут и заподумывал: все, дескать, из-за тех сапожнешек вышло.

Давай скорее свое дело налаживать. Оно хоть мелкое, а станков к нему не один, струментишко тоже требуется. Мелочь все, а место и ей надо.

Пристроился в избе против окошка и припал к работе, а про себя думает:

— Как бы добиться, чтоб из здешнего камня ягоды точить. Тогда и младших братишек можно было бы к этому делу пристроить.— Думает, думает, а пути не видит. В наших краях, известно, хризолит да малахит больше попадаются. Хризолит тоже дешево не добудешь, да и не подходит он, а малахит только на листочки и то не вовсе годится: оправки либо подклейки требует.

Вот раз сидит за работой. Окошко перед станком по летнему времени открыто. В избе никого больше нет. Мать по своим делам куда-то ушла, малыши разбежались, отец со старшими в малухе сидят. Не слышно их. Известно, над малахитом-то песни не запоешь и на разговор не тянет.

Сидит Митюха, обтачивает свои ягоды из купецкого материала, а сам все о том же думает:

— Из какого бы вовсе дешевого здешнего камня такую же поделку гнать?

Вдруг просунулась в окошко какая-то не то женская, не то девичья рука,— с кольцом на пальце и в зарукавье,— и ставит прямо на станок Митюньке большую плитку змеевика, а на ней, как на подносе, соковина дорожная.

Кинулся Митюха к окошку — нет никого, улица пустехонька, ровно никто и не прохаживал.

Что такое? Шутки кто шутит али наважденье какое? Оглядел плитку да соковину и чуть не заскакал от радости: такого материала возами вози, а сделать из него, видать, можно, если со сноровкой выбрать да постараться. Что только?

Стал тут смекать, какая ягода больше подойдет, а сам на то место уставился, где рука-то была. И вот опять она появилась и кладет на станок репейный ли-

сток, а на нем три ягодных веточки, черемуховая, вишневая и спелого-спелого крыжовника.

Тут Митюха не удержался, на улицу выбежал дознаться, кто это над ним шутки строит. Оглядел все — никого, как вымерло. Время — самая жарынь. Кому в эту пору на улице быть?

Постоял-постоял, подошел к окошку, взял со станка листок с веточками и разглядывать стал. Ягоды настоящие, живые, только то диво — откуда вишня взялась. С черемухой просто, крыжовнику тоже в господском саду довольно, а эта откуда, коли в наших краях такая ягода не растет, а будто сейчас сорвана?

Полюбовался так на вишни, а все-таки крыжовник ему милее пришелся и к матерьялу ровно больше подходит. Только подумал — рука-то его по плечу и погладила:

«Молодец, дескать! Понимаешь дело!»

Тут уж слепому ясно, чья это рука. Митюха в Полевой вырос, сколько-нибудь раз слыхал про Хозяйку горы. Вот он и подумал — хоть бы сама показалась. Ну, не вышло. Пожалела, видно, горбатенького парня растревожить своей красотой — не показалась.

Занялся тут Митюха соком да змеевиком. Немало перебрал. Ну, выбрал и сделал со смекалкой. Попотел. Ягодки-то крыжовника сперва половинками обточил, потом внутре-то выемки наладил да еще, где надо желобочки прошел, где опять узелочки оставил, склеил половинки да тогда их начисто и обточил. Живая ягодка-то вышла. Листочки тоже тонко из змеевки выточил, а на корешок ухитрился колючки тонехонькие пристроить. Однем словом, сортовая работа. В каждой ягодке ровно зернышки видно и листочки живые, даже маленько с изъянами: на одном дырки жучком будто проколоты, на другом опять ржавые пятнышки пришлись. Ну, как есть настоящие.

Данило с сыновьями хоть по другому камню работали, а тоже в этом деле понимали. И мать по камню рабатывала. Все налюбоваться не могут на митюхину работу. И то им диво, что из простого змеевика да дорожного соку такая штука вышла. Мите и самому любо. Ну, как — работа! Тонкость. Ежели кто понимает, конечно.

Из соку да змеевику Митя много потом делал. Семье-то шибко помог. Купцы, видишь, не обегали этой по-

делки, как за настоящий камень платили, и покупатель в первую голову митюхину работу выхватывал, потому — на отличку. Митюха, значит, и гнал ягоду. И черемуху делал, и вишню, и спелый крыжовник, а первую веточку не продавал — себе оставил. Посыкался отдать девчонке одной, да все сумленье брало.

Девчонки, видишь, не отворачивались от митюхина окошка. Он хоть горбатенький, а парень с разговором да выдумкой, и ремесло у него занятное, и не скупой: шаричков для бусок, бывало, горстью давал. Ну, девчонки нет-нет и подбегут, а у этой чаще всех заделье находилось перед окошком — зубами поблестеть, косой поиграть. Митюха и хотел отдать ей свою веточку, да все боялся.

— Еще насмех девчонку поднимут, а то и сама за обиду почтет.

А тот барин, из-за которого поворот жизни случился, все еще на земле пыхтел да отдувался. В том году он дочь свою просватал за какого-то там князя ли купца и придано ей собирал. Полевской приказчик и вздумал подслужиться. Митину-то веточку он видал и тоже, видно, понял, какая это штука. Вот и послал своих охлестов с наказом:

— Если отдавать не будет, отберите силой.

Тем что? Дело привычное. Отобрали у Мити веточку, принесли, а приказчик ее в бархатну коробушечку. Как барин приехал в Полевую, приказчик сейчас:

— Получите, сделайте милость, подарочек для невесты. Подходящая штучка.

Барин поглядел, тоже похвалил сперва-то, потом и спрашивает:

— Из каких камней делано и сколько камни стоят?

Приказчик и отвечает:

— То и удивительно, что из самого простого материалу: из змеевику да шлаку.

Тут барин сразу задохся:

— Что? Как? Из шлаку? Моей дочери?

Приказчик видит — неладно выходит, на мастера все поворотил:

— Это он, шельмец, мне подсунул, да еще насказал четвергов с неделю, а то бы я разве посмел.

Барин, знай, хрипит:

— Мастера тащи! Тащи мастера!

Приволокли, понятно, Митюху, и, понимаешь, узнал ведь его барин.

«Это тот... в сапогах-то который...»

С палкой на Митюху кинулся.

— Как ты смел?

Митюха сперва и понять не может, потом раскумекал и прямо говорит:

— Приказчик у меня силом отобрал, пускай он и отвечает.

Только с барином какой разговор, все свое хрипит:

— Я тебе покажу...

Потом схватил со стола веточку, хлоп ее на пол и давай-ко топтать. В пыль, понятно, раздавил.

Тут уж Митюху за живое взяло, затрясло даже. Оно и то сказать,— кому полюбится, коли твою дорогую выдумку диким мясом раздавят.

Митюха схватил баринову палку за тонкий конец да как хряснет набалдашником по лбу, так барин на пол и сел и глаза выкатил.

И вот диво — в комнате приказчик был и прислужников сколько хочешь, а все как окаменели,— Митюха вышел и куда-то девался. Так и найти не могли, а поделку его и потом люди видали. Кто понимающий, те узнавали ее.

И еще заметочка вышла. Та девчонка, которая зубы-то мыла перед митюхиным окошком, тоже потерялася, и тоже с концом.

Долго искали эту девчонку. Видно, рассудили по-своему-то, что ее найти легче, потому — далеко женщина от своих мест уходить не привычна. На родителей ее наступали:

— Указывай место!

А толку все-таки не добились.

Данилу с сыновьями прижимали, конечно, да, видно, оброку большого пожалели,— отступили. А барин еще сколько-то задыхался, все-таки вскорости его жиром задавило.

ЖЕЛЕЗКОВЫ ПОКРЫШКИ

Дело это было вскорости после пятого году. Перед тем как войне с немцами начаться.

В те годы у мастеров по каменному делу заминка случилась. Особо у малахитчиков. С материалом, видишь, вовсе туго стало. Гумешевский рудник, где самолучший малахит добывался, в полном забросе стоял, и отвалы там не по одному разу перебраны были. На Тагильском медном, случалось, находили кусочки, да тоже нечасто. Кому надо, охотились за этими кусочками все едино, как за дорогим зверем. В городе по такому случаю заграничную контору держали, чтоб такую редкость скупать. А контора, понятно, не для здешних мастеров старалась. Так и выходило: что найдут, то и уплывет за границу.

Ну, может, и то сказалось, что мода на малахит прошла. Это в каменном деле тоже бывает: над каким камнем деды всю жизнь стараются, на тот при внуках никто глядеть не хочет. Только для церквей и разных дворцовских украшений больше орлец да яшму спрашивали, а в лавках по каменным поделкам вовсе дешевкой торговали. Так пустой камешок на немецкий лад гнали: было бы пестренько да оправа с высокой пробой. Прямо сказать, доброму мастеру никакой утехи. Кончил поделку, покурил да сплюнул и принимайся за другую. Одно слово, пустяковина, базарский товар. Глядеть тошно, кто в том деле понимает.

Ну, все-таки старики, коих смолоду малахитовым узором ушибло, своего дела не бросали. Исхитрялись как-то: и камешок добывали и покупателя с понятием находили.

Один такой в нашем заводе жил, Евлахой Железком его звали. Еще слух шел, что этот Евлаха свою потайную ямку с малахитом имел. Правда ли это, сказать не берусь, а только и про такой случай рассказывали.

Вот будто подошел какой-то большой царицын праздник. Не просто именины али родины, а, сказать по-теперешнему, вроде как юбилей. Ну, может, седьмую дочь родила или еще что. Не в этом дело, а только придумали на семейном царском совете сделать царице по этому случаю подарок позанятнее.

У царей, известно, положение было: про всякий чих платок наготовлен. Захотел выпить — один поставщик волокет, закусить придумал — другой поставщик старается. По подарочным делам у них был француз Фабержей. В своем деле понимающий. Большую фабрику по драгоценным и узорным камням содержал, на обе столицы широкую торговлю вел, и мастера у него были первостатейные.

Призывает этого Фабержея царь и говорит: так и так, надо царице к такому-то дню приготовить дорогой подарок, чтоб всем на удивленье. Фабержей, понятно, кланяется да приговаривает: «будет сготовлено», а сам думает: «вот так загвоздка!» Он, конечно, до тонкости понимал, кому чем угодить, только тут дело вышло не простое. Брильянтами да изумрудами и другими дорогими камнями царицу не удивишь, коли у ней таких камней полнехонек сундук набит, и камни самого высокого сорту. Тонкой гранью либо узором тоже не проймешь, потому — люди без понятия. И то французу было ведомо, что царица после пятого году камень с краснинкой видеть не могла. То ли ей тут красные флаги мерещились, то ли чем другим память бередило. Ну, может, те картинки вспоминала, какие на тайных листах печатали, как она с царем кровавыми руками по земле шарила. Не знаю это, да и разбирать не к чему, а только с пятого году к царице с красным камнем и не подходи — во всю голову завизжит, все русские слова потеряет и по-немецки заругается. А дальше известно, спросы да допросы, с каким умыслом царице такой камень показывали, какие советчики да пособники были? Тоже кому охота в такое дело вляпаться!

Француз этот Фабержей и маялся, придумывал, чем царицу удивить, и чтоб красненького в подарке и званья

не было. Думал-думал, пошел со своими мастерами посоветоваться. Обсказал начистоту и спрашивает:

— Как располагаете?

Мастера, понятно, всяк от своего, по-разному судят, а один старик и говорит:

— На мое понятие, тут больше малахит подходит. Радостный камень и широкой силы: самому вислоносому дураку покажи, и тому весело станет.

Хозяин, конечно, оговорил старика: не к чему, дескать, о вислоносых дураках поминать, коли разговор идет о царском подарке, за это и подтянуть могут, а насчет камня согласился:

— Верно говоришь. Малахит, пожалуй, к такому случаю подойдет.

Другие мастера сомневаются:

— Не найдешь по нынешним временам доброго камня.

Ну, хозяин на деньги обнадежился.

— Коли, говорит, в цене не постоять, так любой камешок достать можно.

На этом и сговорились: будем делать альбом для царской семьи с малахитовыми крышками. И украшения, какие полагаются, тут же придумали.

Сказано — сделано. В тот же день Фабержей своего доверенного в наши края послал и наказ ему дал.

— Денег не жалей. Только бы камень настоящий и спокойного цвету!

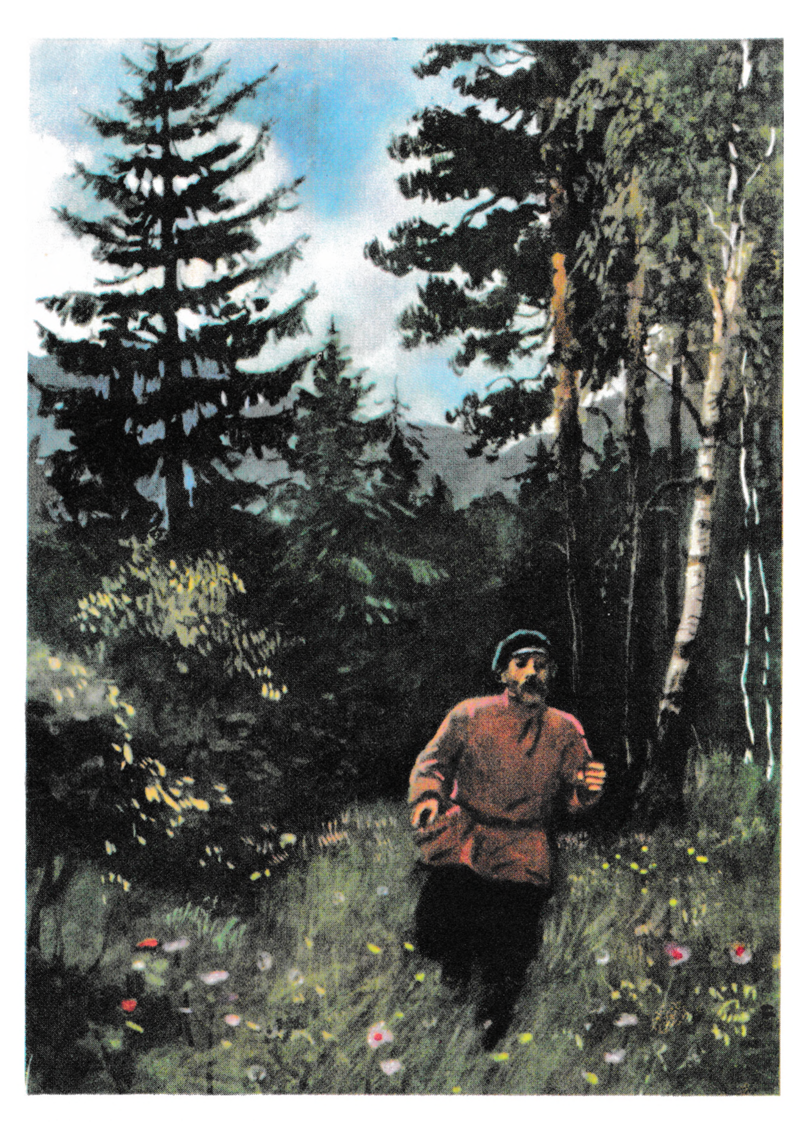
Приехал этот фаберждеев доверенный и давай искаться. Первым делом, конечно, на Гумешки. Тамошние камнерезы наотрез отказали — нету доброго камня. В Тагил сунулся — есть кусочки, да не того сорту. В заграничной конторе через подставного человека наведался. Только разве там продадут, коли сами крохами собирали. Совсем приуныл доверенный, да, спасибо, один горщик надоумил:

— Поезжай-ко ты к Евлахе Железку. У этого беспременно камень имеется. Недавно он на руки одному такую поделочку сдал, што все здешние купцы по каменному делу да и в заграничной конторе неделю кулаками махали, ногами топали да грозились:

— После этого пусть Евлаха со своей поделкой и на глаза не показывается. За пятак не примем!



«ПРИКАЗЧИКОВЫ ПОДОШВЫ»



«СОЧНЕВЫ КАМЕШКИ»

А Евлаха посмеивается да ответный поклончик послал:

— Рад стараться с жульем не вязаться. Теперь еще, поди-ко, не забыл, как таким кланяться доводилось. Больше этого не будет. Кому надо, пускай сам ко мне за камешком волокется, а я еще погляжу — кому удружить, кому оглобли заворотить. А самолично вашему брату и беспокоиться не след. Я хоть остарел, а еще так могу по загривку дать, что который и с каменной десятипудовой совестью, а легкой пташкой за ворота вылетит.

Фабержеев доверенный, как услышал это, забеспокоился, спрашивает:

— Видно, этот Евлаха в деньгах не нуждается? Богатый сильно?

— Нет,— отвечают,— богатства особого не видно, а просто уважает человек свое мастерство. Дороже денег его ставит. Коли не захочет, рублем не сманишь, а коли интерес поимеет, так недорого сделает. И поделка будет хоть на выставку, а то и в царский дворец поставь. Нигде себя не уронит.

Доверенному полегче стало. «Есть,— думает,— чем Евлаху сманить. Скажу, что для царского дворца камни требуются». И не ошибся в расчете. Евлаха, как узнал, для чего камни, без слова согласился, спросил только:

— Какой величины камни и какой узор надо?

Доверенный объяснил, что крышки по дольнику должны быть не меньше двух четвертей, поперек — четверть с малым походом, а камни желательно со *своим* узором. С таким, значит, чтоб на обои ничуть не походило.

Евлаха говорит:

— Ладно. Найдется такой камень. Приезжай через неделю.

И цену назначил — по две сотни за штуку. Доверенный, понятно, и рядиться не стал. Хотел еще поразговаривать, да Евлаха на это не больно охочий был, сразу обрезал:

— Сказал — приезжай через неделю, тогда и разговор будет, а то о чем нам у пустого места судить.

Приехал доверенный через неделю — готовы крышки, и не две, а четыре штуки. Все, понимаешь, как вешняя трава под солнышком, когда ветерком ее колышет. Так волны по зелени-то и ходят. И у каждой крышки

свой узор. Ни один завиток-плетешок полной сходственности не имеет, а все-таки подобрано так, что и бестолковому понятно, какие крышки парой приходятся. Одним словом, мастерство.

Разложил Евлаха свою поделку.

— Выбирай любую пару!

Фабержеев доверенный, конечно, знал толк в камне. Оглядел крышки, не нашел никакого изъяну, полюбовался узором и говорит:

— Покупаю все.

— Что ж,— отвечает,— бери, коли надо. Плати деньги.

Доверенный поскорее рассчитался по уговору, и домой. Мастера фабержеевы похвалили покупку, только тот старик, который посоветовал насчет малахиту, посомневался маленько.

— Вроде,— говорит,— деланный камень, а не натурный. Ну, руками делан.

Другие мастера засмеялись — выдумывает старик, хочет себя выше всех поставить, а хозяин прямо объявил:

— Ежели и деланный, так не хуже настоящего, а это в мастерстве еще дороже.

Ну, вот, изготовили альбом на удивленье. Царь, как узнал, что другая пара крышек есть, настрого запретил до его приказу эти крышки в дело пускать. Так они и лежали у Фаберже в запасе и долежали до того году, как самое высокое французское начальство к царю в гости приехало. И приехал с этим начальством мастер, который по брильянтовой плавке отличался. Петергофским мастерам по гранильному и камнерезному делу да и фабержеевым тоже охота была этого приезжего кое о чем поспрошать. Вот они ходили за ним, все едино, как женихи за невестой, угодить старались. Кто-то придумал показать каменные поделки в царском дворце. Разрешили им. И вот в числе тех поделок увидел приезжий мастер евлахины крышки. Подивился красоте камня, вздохнул, да и говорит в том смысле:

— Ловко, дескать, вашим-то! Режь камень без всякой выдумки, и вон какое диво само выходит.

Наши мастера объясняют, что дело не столь просто, потому — камень из кусочков складывают.

— Про это,— отвечает,— знаю. Дело, конечно, мешкотное, а все-таки хитрости тут нет, коли под рукой любого узору камешок имеется.

Один мастер на это возьми и скажи:

— У нас на фабрике насчет этих крышек еще спор был: из природного они камня али из сделанного.

Французского мастера такими словами будто подстегнуло: всю степенность потерял, забегал, засуетился, спрашивает: кто так говорил? почему? какие приметки сказывал? чем дело решилось? А пуще того добивался, где тот мастер живет, который крышки делал. Дивился, понятно, что никто об этом толком сказать не умеет. Одно говорят,— доверенный привез с какого-то заводу. Сказывал, что мастер мужик с пружинкой: не по месту заденешь, так и по лбу стукнуть может, а как прозванье мастеру — не говорил. Надо, дескать, у этого доверенного и спросить, только он в отлучке по хозяйским делам.

На другой день приезжий мастер прибежал к Фабержею на фабрику и давай опять про крышки спрашивать. Старый малахитчик не потаился, сказал, в чем сумленье поимел. Другие мастера опять заспорили, всяк свое доказать желает. Тут сам Фабержей прибежал, послушал, пострекотал с приезжим по-своему, по-французскому, и велел принести запасные крышки.

— Чем,— говорит,— попусту время терять, давай-ко отпилим у крышек правые уголышки, которые на волю, да опробуем их как следует. Крышкам от того изъяну не будет, потому как можно на тех местах закругленье дать либо их украшеньем прикрыть, зато в точности узнаем, какой это камень: природный али сделанный?

Живо опилили уголышки и давай пробовать на кислоту, на размол, по весу. Однем словом, всяко старались, а до дела не дошли. На то вышло, что состав малахитовый, а полностью сходства нет. К тому все-таки склонились — не зря старик-малахитчик сомневался: что-то не так.

Французский мастер в этом деле больше всех старался и книжки какие-то притащил, по ним глядел. А как вышло это решенье, что камень сделанный, сейчас в контору побежал. Там, дескать, беспременно фамилия мастера должна быть. В конторе, верно, расписка оказалась: получено-де за четыре малахитовые доски такой-то меры две тысячи рублей и крючок вроде подпи-

си поставлен, даром что Евлаха грамоте не разумел, а ниже писарь подписался, и волостною печатью шлепнуто. Доверенный, известно, по правилу воровал: Евлахе заплатил восемь сотен, писарю сунул одну либо две, остаток себе в карман.

Послали этому доверенному телеграмму, чтоб полное имя и местожительство мастера дал, который крышки на царский альбом делал. Доверенный, видно, испугался, не открылось ли мошенство,— не отвечает. Другую телеграмму послали, третью — все молчит. Тогда хозяин сам ему строгое письмо написал, дескать, что это такое? Как ты смеешь меня перед приезжим гостем конфузить? Тогда уж доверенный отписал — завод такой-то, мастера там все знают, а как его полное имя — не упомнит, заводские больше зовут его Евлахой.

Как получили это письмо, француз живенько собрался — и на поезд. Из городу прикатил на тройке, остановился на ямской квартире и первым делом спрашивает, где мастер по малахиту живет. Ему сразу сказали — в Пеньковке, пятые или там девятые ворота от большого заулка направо.

На другой день этот приезжий пошел, куда ему сказывали. Одежа, конечно, французского покрою, ботинки желтые, перчатки по летнему времени зеленые, на голове шляпа ведерком, а вся белая, только лента по ней черного атласу. В нашем заводе отродясь такой не видали. Ребята, понятно, сбежались, дивятся на этого барина в белой шляпе.

Вот дошел француз до Пеньковки. Видит — улица не из тех, где добрые дома стоят. Посомневался, спрашивает:

— Где тут мастер живет, который по малахиту работает?

Ребята рады стараться, наперебой кричат, пальцами показывают — вон-де в той избе дедушко Евлампий проживает.

Француз поглядел, вроде как удивился, все-таки в ограду зашел. Видит — на крылечке сидит старик: из себя рослый, на лицо тончавый и похоже — хворый. Седая борода лопатою, и маленько она зеленым отливает. Одет, конечно, по-домашнему: в тиковых подштанниках, в калошах на босу ногу, а поверх рубахи жилеточка старенька, вся в пятнах от кислоты.

Сидит этот старик и ножичком вырезывает из сосновой коры что-то, а парнишко, видно внучонок, наговаривает:

— Ты, дедо, сделай, чтобы лучше митюнькиного наплавочек был. Ладно?

Домашние, какие в ограде на то время случились, забеспокоились, а Евлаха сидит себе, будто его дело не касается. У него, видишь, повадки не было перед городскими заказчиками лебезить, в строгости их держал.

Заграничный мастер постоял у ворот, поогляделся, подошел ко крылечку, снял свою белую шляпу и спрашивает по всей французской вежливости. Дескать, дозвольте спросить, можно ли видеть «каспадин мастер Ефляк, который делает из малякит».

Евлаха слышит по разговору,— чужеземный какой-то пришел, и говорит дружественно:

— Гляди, коли надобность имеется. Я вот и есть мастер по малахиту. На весь завод один остался. Старики, видишь, поумирали, а молодые еще не дошли. Только, конечно, меня не Фляком зовут, а попросту Евлампий Петрович, прозваньем Железко, а по книгам пишусь Медведев.

Француз, конечно, понял с пятого на десятое, а все-таки головой замотал, перчатку зеленую сдернул, здоровается с Евлахой за руку, а сам наговаривает в том смысле, что напредки, дескать, будем знакомы. Простите-извините, не знал, как назвать, звеличать. И про себя тоже объяснил, что он мастер по брильянтовому делу.

Евлаха похвалил это.

— Что ж,— говорит,— камешок ничем не похаешь. Недаром он самой высокой цены, потому — глаз веселит. Известно, всякому камню свое дано. Наш вон много дешевле, а в сердце весну делает, радость человеку дает.

Француз опять головой мотает и по-своему лепечет: рад-де побеседовать. Нарочно для того из французской стороны приехал. А Евлаха пошутил:

— Милости просим, коли с добрым словом, а ежели с худым, так ворота у меня не заперты, выйти свободно.

Повел Евлаха приезжего в избу. Велел снохе самоварчик сгоношить, полштофа на стол поставил. Однем словом, принял гостя по-хорошему. Побалакали они тут,

только заграничный мастер ту линию гнет, чтобы мастерскую у Евлахи поглядеть. Евлахе это подозрительно показалось, только он виду не подал и говорит:

— Отчего не поглядеть? Не фальшивы монетки, поди-ко, делаю. Поглядеть можно.

Ну, вот. Повел Евлаха приезжего мастера на огород. Там у него малуха была. Избушка, известно, небольшая. Дверцы хоть широконькие, а без наклону не пройдешь. Ну, француза это не держит: не боится свою белую шляпу замарать, вперед хозяина лезет. Евлахе это не поглянулось.

— Вишь, скачет! Думает,— так ему и скажу!

В малухе, как полагается, станок с кругами, печка-железянка. Чистоты, конечно, большой нет, а все-таки в порядке разложено, где камень, где молотая зеленая руда, шлак битый, тоже уголь сеяный и протча. Французский мастер оглядел все, рукой опробовал и, видать, чего-то найти не может, а Евлаха навстречу ему усмехается:

— Цементу нет. Не употребляем.

Посовался-посовался французский мастер, видит, на глаз дела не понять, а Евлаха подошел к станочку, достал сундучок, высыпал из него не меньше сотни малахитовых досочек и говорит:

— Вот погляди, барин, что из этой грязи делаю.

Французский мастер стал досочки перебирать и видит, все они цветом разнятся и узором не сходятся. Француз подивился, как это так выходит, а Евлаха усмехается:

— Я из окошечка на ту вон полянку гляжу. Она мне цвет и узор кажет. Под солнышком одно видишь, под дождиком другое. Весной так, летом иначе, осенью по-своему, а все красота. И конца краю той красоте не видится.

Приезжий тут давай доспрашиваться, как составлять камень. Ну, Евлаха на это не пошел, пустыми словами загородился.

— Составы, дескать, разные бывают. Когда одного больше берешь, когда другого. Иное спекаешь, иное свариваешь, а которое и просто смешать можно.

— Каким,— спрашивает,— инструментом работаете?

А Евлаха и отвечает:

— Инструмент известный — руки.

Заграничный на это головой заболтал, заухмылялся, нахваливать Евлаху стал:

— Волшебные руки, Ефляк Петрош! Волшебные руки!

— Волшебства,— отвечает,— нет, а не жалуюсь.

Заграничный мастер видит — ни хитростью, ни лаской не возьмешь, вынимает из кармана два петровских билета, тысячу, значит, рублей, кладет на верстак и говорит:

— Плачу тысячу, если все по совести расскажешь, а коли научишь натурально, еще столько доплачиваю.

Евлаха поглядел на петровский портрет и говорит:

— Хороший государь был! Не чета протчим, а только он тому не учил, чтоб мы нутром своим торговали. Бери-ко, барин, свои деньги да ступай, откуда пришел.

Тот, конечно, завертелся — что такое? В чем обида?

Ну, Железко тут свой характер показал, отчитал гостя.

— Эх ты,— говорит,— белошляпый, а еще мастером называешься! Скажи тебе, а ты за шляпу-то да за перчатки, кому хочешь продашь. Харчок в золотой оправе станешь за малахит по пятишке продавать. Понимаешь это? Харчок за наш родной камень, в коем радость земли собрана. Да никогда этого не будет! Нам самим этот камешок пригодится. Не то что покрышки на царской альбом, а такую красоту сделаем, что со всего свету съезжаться будут, чтобы хоть глазком поглядеть. И будет это наша работа! Вот такими же руками делана!

Так заграничный мастер и ушел от Железки ни с чем. А крышки от Фабержея все-таки увез. Через свое начальство улестил царя, чтоб подарок такой сделали.

А Железко умер уж в гражданскую войну. Тогда еще которые сомневались, как да что будет, а Железко одно говорил:

— Не беспокойтесь — рабочие руки все могут! Кое в порошок сомнут, кое по крупинкам соберут да мяконько прогладят — вот и выйдет цельный камень небывалой радости. Всему миру на диво. И на поученье — тоже.

ДВЕ ЯЩЕРКИ

Нашу-то Полевую, сказывают, казна ставила. Никаких еще заводов тогда в здешних местах не было. С боем шли. Ну, казна, известно. Солдат послали. Деревню-то Горный Щит нарочно построили, чтоб дорога без опаски была. На Гумешках, видишь, в ту пору видимое богатство поверху лежало,— к нему и подбирались. Добрались, конечно. Народу нагнали, завод установили, немцев каких-то навезли, а не пошло дело. Не пошло и не пошло. То ли немцы показать не хотели, то ли сами не знали — не могу объяснить, только Гумешки-то у них безо внимания оказались. С другого рудника брали, а он вовсе работы не стоил. Вовсе зряшный рудничишко, тощенький. На таком доброго завода не поставишь. Вот тогда наша Полевая и попала Турчанинову.

До того он — этот Турчанинов — солью промышлял да торговал на строгановских землях, и медным делом тоже маленько занимался. Завод у него был. Так себе заводишко. Мало чем от мужичьих самоделок отошел. В кучах руду-то обжигали, потом варили, переваривали, да еще хозяину барыш был. Турчанинову, видно, этот барыш поглянулся.

Как услышал, что у казны медный завод плохо идет, так и подъехал: нельзя ли такой завод получить? Мы, дескать, к медному делу привышны,— у нас пойдет.

Демидовы и другие заводчики, кои побогаче да поименитее, ни один не повязался. У немцев,— думают,— толку не вышло — на что такой завод? Убыток один. Так Турчанинову наш завод и отдали да еще Сысерть на придачу. Эко-то богатство и вовсе даром!

Приехал Турчанинов в Полевую и мастеров своих привез. Насулил им, конечно, того-другого. Купец, умел с народом обходиться! Кого хочешь обвести мог.

— Постарайтесь,— говорит,— старички, а уж я вам по гроб жизни...

Ну, ласковый язычок,— напел! Смолоду на этом деле,— понаторел! Про немцев тоже ввернул словечко:

— Неуж против их не выдюжите?

Старикам большой охоты переселяться со своих мест не было, а это слово насчет немцев-то задело. Неохота себя ниже немцев показать. Те еще сами нос задрали, свысока на наших мастеров глядят, будто и за людей их не считают. Старикам и вовсе обидно стало. Огляделили они завод. Видят, хорошо устроено против ихнего-то. Ну, казна строила. Потом на Гумешки походили, руду тамошнюю поглядели, да и говорят прямо:

— Дураки тут сидели. Из такой-то руды да в этаких печах половина на половину выгнать можно. Только, конечно, соли чтобы безотказно было, как по нашим местам.

Они, слышь-ко, хитрость одну знали — руду с солью варить. На это и надеялись. Турчанинов уверился на своих мастеров и всем немцам отказал:

— Больше ваших нам не требуется.

Немцам что делать, коли хозяин отказал? Стали собираться, кто домой, кто на другие заводы. Только им все ж таки удивительно, как одни мужики управляться с таким делом станут. Немцы и подговорили человек трех из пришлых, кои у немцев при заводе работали.

— Поглядите,— говорят,— нет ли у этих мужиков хитрости какой. На что они надеются,— за такое дело берутся? Коли узнаете, весточку нам подайте, а уже мы вам отплатим.

Один из этих, кого немцы подбивали, добрый парень оказался. Он все нашим мастерам и рассказал. Ну, мастера тогда и говорят Турчанинову:

— Лучше бы ты всех рабочих на медный завод из наших краев набрал, а то видишь, что выходит. Поставишь незнамого человека, а он, может, от немцев подосланный. Тебе же выгода, чтобы нашу хитрость с медью другие не знали.

Турчанинов, конечно, согласился, да у него еще и своя хитрость была. Про нее мастерам не сказал, а сам думает: «К руке мне это».

Тогда, видишь, Демидовы и другие заводчики здешние всяких беглых принимали, башкир тоже, староверов там и протча. Эти, дескать, подешевле и ответу за них нет,— что хошь с ними делай. Ну, а Турчанинов по-другому, видно, считал:

— Наберешь таких-то, с бору да с сосенки, потом не управишься, себе не рад станешь. Беглые народ бывалый,— один другого подучать станут. У башкир опять язык свой и вера другая,— не углядишь за ними. Переманю-ка лучше из дальних мест зазнамо да перевезу их с семьями. Куда тогда он убежит от семьи-то? Спокойно будет, а как зажму в руке, так еще поглядим, у кого выгоды больше закаплет. А беглых да башкир либо еще каких вовсе и к заводам близко подпускать не надо.

Так оно, слышь-ко, и вышло потом. По нашим заводам, известно, все одного закону. У тагильских вон мне случалось бывать, так у их этих вер-то не пересчитать, а у нас и слыхом не слыхали, чтобы кто по какой другой вере ходил. Ну, из других народов тоже нет, окромя начальства. Однем словом, подогнано.

Тогда те речи плавильных мастеров Турчанинову шибко к сличью пришлись. Он и давай наговаривать:

— Спасибо, старички, что надоумили. Век того не забуду. Все как есть по вашему наученью устрою. Завод в наших местах прикрою и весь народ сюда перевезу. А вы еще подглядите каких людей понадежнее, я их выкуплю, либо на срока заподряжу. Потрудитесь уж, сделайте такую милость, а я вам...

И опять, значит, насулил свыше головы. Не жалко ему! Вином их поит, угощенье поставил, сам за всяко просто пирует с ними, песни поет, пляшет. Ну, обошел стариков.

Те приехали домой и давай расхваливать:

— Места привольные, угодья всякие, медь богатимая, заработки, по всему видать, добрые будут. Хозяин простяга. С нами пил-гулял, не гнушался. С таким жить можно.

А турчаниновски служки тут как тут. На те слова людей ловят. Так и набрали народу не то что для мед-

ного заводу, а на все работы хватит. Изоброчили больше, а кого и вовсе откупили. Крепость, вишь, была. Продавали людей-то, как вот скот какой.

Мешкать не стали, в то же лето перевезли всех с семьями на новые места — в Полевую нашу. Назад дорогу, конечно, начисто отломили. Не говоря о купленных, оброчным и то обратно податься нельзя. Насчитали им за перевозку столько, что до смерти не выплатишь. А бежать от семьи кто согласен? Своя кровь, жалко. Так и посадил этих людей Турчанинов. Все едино как цепью приковал.

Из старых рабочих на медном заводе только того парнюгу оставили, который про немецкую подлость мастерам сказал. Турчанинов и его хотел в гору загнать, да один мастер усовестил:

— Что ты это! Парень полезное нам сделал. Надо его к делу приспособить — смышленый, видать.

Потом и спрашивает у парня:

— Ты что при немцах делал?

— Стенбухарем,— отвечает,— был.

— Это по-нашему что же будет?

— По-нашему, около пестов ходил,— руду толчи да сеять.

— Это,— говорит мастер,— дело малое — в стенку бухать. А засыпку немецкую знаешь?

— Нет,— отвечает,— не допущали наших. Свой у них был. Наши только подтаскивали, кому сколько велит. По этой подноске я и примечал маленько. Понять было охота. За карнахарем тоже примечать случалось. Это который у них медь чистил, а к плавке вовсе допуску не было.

Мастер послушал-послушал и сказал твердое слово:

— Возьму тебя подручным. Учить буду по совести, а ты обратно мне говори, что полезное у немцев видел.

Так этого парня — Андрюхой его звали — при печах и оставили. Он живо к делу приобык и скоро сам не хуже того мастера стал, который его учил-то.

Вот прошло годика два. Вовсе не так в Полевой стало, как при немцах. Меди во много раз больше пошло. Загремели наши Гумешки. По всей земле про них слава прошла. Народу, конечно, большое увеличенье сделалось, и все из тех краев, где у Турчанинова раньше заводишко был. У печей полно, а в горе и того

больше. У Турчанинова на это большая охота проявилась — деньги-то огребать. Ему сколь хошь подавай — находил место. Навидячу богател. На что Строгановы, и тех завидки взяли. Жалобу подали, что Гумешки на их землях приходятся и Турчанинову зря попали. Надо, дескать, их отобрать да им — Строгановым — отдать. Только Турчанинов в те годы вовсе в силу вошел. С князьями да сенаторами попросту. Отбился от Строгановых. При деньгах-то долго ли!

Ну, народу, конечно, тяжело приходилось, а мастерам плавильным еще и обидно, что обманул их.

Сперва, как дело направлялось, мягонько похаживал перед этими мастерами:

— Потерпите, старички! Не вдруг Москва строилась. Вот обладим завод по-хорошему, тогда вам большое облегченье выйдет.

А какое облегченье? Чем дальше, тем хуже да хуже. На руднике вовсе людей насмерть забивают, и у печей начальство лютовать стало. Самолучших мастеров по зубам бьют да еще приговаривают:

— На то не надейтесь, что хитрость с медью показали. Теперь лучше плавень знаем. Скажем вот барину, так он покажет!

Турчанинова тогда уже все барином звали. Барин да барин, имени другого не стало. На завод он вовсе и дорожку забыл. Некогда, вишь, ему — денег много, считать надо.

Вот мастера, которые подбивали народ переселяться в здешние места, и говорят:

— Надо к самому сходить. Он, конечно, барином стал, а все ж таки обходительный мужик, понимает дело. Не забыл, поди, как с нами пировал? Обскажем ему начистоту.

Вот и пошли всем народом, а их и не допустили.

— Барин,— говорят,— кофею напился и спать лег. Ступайте-ко на свои места к печам да работайте хорошенько.

Народ зашумел:

— Какой такой сон не к месту пришел! Время о полдни, а он спать! Разбуди! Пущай к народу выходит!

На те слова барин и вылетел. Выспался, видно. С ним оборуженных сколько хошь. А подручный тот —

Андрюха-то, человек молодой, горячий, не испугался, громче всех кричит, корит барина всяко. В конце концов и говорит:

— Ты про соль-то помнишь? Что бы ты без нее был?

— Как,— отвечает барин,— не помнить! Схватить этого, выпороть да посолить хорошенько! Память крепче будет.

Ну, и других тоже хватать стали, на кого барин указывал. Только он, сказывают, страсть хитрый был,— не так распорядился, как казенно начальство. Не зря людей хватал, а со сноровкой: чтоб изъяну своему карману не сделать. На завод хоть не ходил, а через наушников до тонкости про всякого знал, кто чем дышит. Тех мастеров, кои побойчее да поразговорчивее, всех отхлестали, а которые потишае,— тех не задел. Погрозил только им:

— Глядите у меня! То же вам будет, коли стараться не станете!

Ну, те испугались, за двоих отвечают, за всяким местом глядят,— порухи бы не вышло. Только все ж таки людей недохватка — как урону не быть? Стали один по одному старых мастеров принимать, а этого, который Андрюху учил, вовсе в живых не оказалось. Захлестали старика. Вот Андрюху и взяли на его место. Он сперва ничего — хорошим мастером себя показал. Всех лучше у него дело пошло. Турчаниновски прислужники думают — так и есть, подшучивают еще над парнем. Соленым его прозвали. Он без обиды к этому Когда и сам пошутит:

— Солено-то мяско крепче.

Ну, вот, так и уверились в него, а он тогда исхитрился, да и посадил козлов сразу в две печи. Да так, слышь-ко, ловко заморозил, что крепче нельзя. Со сноровкой сделал.

Его, конечно, схватили да в гору на цепь. Рудничные про Андрюху наслышаны были, всяко старались его вызволить, а не вышло. Стража понаставлена, людей на строгом счету держат... Ну, никак...

Человеку долго ли на цепи здоровье потерять? Хоть того крепче будь, не выдюжит. Кормежка, вишь, худая, а воды когда принесут, когда и вовсе нет — пей руднишную! А руднишная для сердца шибко вредная.

Помаялся так-то Андрюха с полгода ли, с год — вовсе из сил выбился. Тень-тенью стал,— не с кого работу спрашивать.

Руднишный надзиратель, и тот говорит:

— Погоди, скоро тебе облегченье выйдет. Тут в случае и закопаем, без хлопот.

Хоронить, значит, ладится, да и сам Андрюха видит — плохо дело. А молодой,— умирать неохота.

«Эх,— думает,— зря люди про Хозяйку горы сказывают. Будто помогает она. Коли бы такая была, неуж мне не пособила бы? Видела, поди, как человека в горе замордовали. Какая она Хозяйка! Пустое люди плетут, себя тешат».

Подумал так, да и свалился, где стоял. Так в руднишную мокреть и мякнулся, только брызнуло. Холодная она — руднишная-то вода, а ему все равно — не чует. Конец пришел.

Сколько он пролежал тут — и сам не знает, только тепло ему стало. Лежит будто на травке, ветерком его обдувает, а солнышко так и припекает, так и припекает. Как вот в покосную пору.

Лежит Андрюха, а в голове думка:

«Это мне перед смертью солнышко приснилось».

Только ему все жарче да жарче. Он и открыл глаза. Себе не поверил сперва. Не в забое он, а на какой-то лесной горушечке. Сосны высоченные, на горушке трава негустая и камешки мелконькие — плитнячок черный. Справа у самой руки камень большой, как стена ровный, выше сосен.

Андрюха давай-ко себя руками ощупывать — не спит ли. Камень заденет, травку сорвет, ноги принялся скоблить — изъедены ведь грязью-то... Выходит,— не спит, и грязь самая руднишная, а цепей на ногах нет.

«Видно,— думает,— мертвяком меня выволокли, расковали, да и положили тут, а я отлежался. Как теперь быть? В бега кинуться, али подождать, что будет? Кто хоть меня в это место притащил?»

Огляделся и видит,— у камня туесочек стоит, а на нем хлеб ломтями нарезанный. Ну, Андрюха и повеселел:

«Свои, значит, вытащили и за мертвого не считали. Вишь, хлеба поставили да еще с питьем! По потемкам, поди, навестить придут. Тогда все и узнаю».

Съел Андрюха хлеб до крошки, из туеска до капельки все выпил и подивился,— не разобрал, что за питье. Не хмелит будто, а так силы и прибавляет. После еды-то вовсе ему хорошо стало. Век бы с этого места не ушел. Только и то думает:

«Как дальше? Хорошо, если свои навестят, а вдруг вперед начальство набежит? Надо оглядеться хоть, в котором это месте. Тоже вот в баню попасть бы! Одежонку какую добыть!»

Однем словом, пришла забота. Известно, живой о живом и думает. Забрался он на камень, видит — тут они, Гумешки-то, и завод близко, даже людей видно,— как мухи ползают. Андрюхе даже боязно стало,— вдруг оттуда его тоже увидят. Слез с камня, сел на старое место, раздумывает, а перед ним ящерки бегают. Много их. Всякого цвету. А две на отличку. Обе зеленые. Одна побольше, другая поменьше.

Вот бегают ящерки. Так и мелькают по траве-то, как ровно играют. Тоже, видно, весело им на солнышке. Загляделся на них Андрюха и не заметил, как облачко набежало. Запокапывало, и ящерки враз попрятались. Только те две зеленые-то не угомонились, всё друг за дружкой бегают и вовсе близко от Андрюхи. Как посильнее дождичек пошел, и они под камешки спрятались. Сунули головенки,— и нет их. Андрюхе забавно показалось. Сам-то он от дождя прятаться не стал. Теплый да, видать, и ненадолго. Андрюха взял и разделся.

«Хоть,— думает,— которую грязь смоет»,— и ремки свои под этот дождик разостлал.

Прошел дождик, опять ящерки появились. Туда-сюда шныряют и сухоньки все. Ну, а ему холодно стало. К вечеру пошло,— у солнышка уж сила не та. Андрюха тут и подумал:

«Вот бы человеку так же. Сунулся под камень — тут тебе и дом».

Сам рукой и уперся в большой камень, с которого на завод и Гумешки глядел. Не то чтобы в силу уперся, а так легохонько толкнул в самый низ. Только вдруг камень качнулся, как повалился на него. Андрюха отскочил, а камень опять на место стал.

«Что,— думает,— за диво? Вон какой камень, а еле держится. Чуть меня не задавил».

Подошел все ж таки поближе, оглядел камень со всех сторон. Никаких щелей нет, глубоко в землю ушел. Уперся руками в одном месте, в другом. Ну, скала и скала. Разве она пошевелится?

«Видно, у меня в голове круженье от нездоровья. Почудилось мне»,— подумал Андрюха и сел опять на старое место.

Те две ящерки тут же бегают. Одна ткнула головенкой в том же месте, какое Андрюха сперва задевал, камень и качнулся. По всей стороне щель прошла. Ящерка туда юркнула, и щели не стало. Другая ящерка пробежала до конца камня да тут и притаилась, сторожит будто, а сама на Андрюху поглядывает:

— Тут, дескать, выйдет. Некуда больше.

Подождал маленько Андрюха,— опять по низу камня чутешная щелка прошла, потом раздаваться стала. В другом-то конце из-под камня ящерка головенку высунула, оглядывается, где та — другая-то, а та прижалась, не шевелится. Выскочила ящерка, другая, и скок ей на хребетик — поймала, дескать! — и глазенками блестит, радуется. Потом обе убежали. Только их и видели. Как показали Андрюхе, в котором месте заходить, в котором выходить.

Оглядел еще раз камень. Целехонек он, даже званья нет, чтоб где тут трещинка была.

«Ну-ко,— думает,— попытаю еще раз».

Уперся опять в том же месте в камень, он и повалился на Андрюху. Только Андрюха на это безо внимания — вниз глядит. Там лестница открылась, и хорошо, слышь-ко, улаженная, как вот в новом барском доме. Ступил Андрюха на первую ступеньку, а обе ящерки шмыг вперед, как дорогу показывают. Спустился еще ступеньки на две, а сам все за камень держится, думает:

«Отпущусь — закроет меня. Как тогда в потемках-то?»

Стоит, и обе ящерки остановились, на него смотрят, будто ждут. Тут Андрюха и смекнул:

«Видно, Хозяйка горы смелость мою пытает. Это, говорят, у ней первое дело».

Ну, тут он и решился. Смело пошел, и как голова ниже щели пришлась, опустился рукой от камня. Зак-

рылся камень, а внизу как солнышко взошло — все до капельки видно стало.

Глядит Андрюха, а перед ним двери створные каменные, все узорами изукрашенные, а вправо-то однополотная дверочка. Ящерки к ней подошли — в это, дескать, место. Андрюха отворил дверку, а там — баня. Честь-честью устроена, только все каменное. Полок там, колода, ковшик и протча. Один веничек березовый. И жарко страсть — уши береги. Андрюха обрадовался. Хотел первым делом ремки свои выжарить над каменкой. Только снял их — они куда-то и пропали, как не было. Оглянулся, а по лавкам рубахи новые разложены и одежи на спицах сколь хошь навешено. Всякая одежа: барская, купецкая, рабочая. Тут Андрюха и думать не стал, залез на полок и отвел душеньку — весь веник измочалил. Выпарился лучше нельзя, сел — отдышался. Оделся потом по-рабочему, как ему привычно. Вышел из баньки, а ящерки его у большой двери ждут.

Отворил он — что такое? Палата перед ним, каких он и во сне не видал. Стены-то все каменным узором изукрашены, а посередке стол. Всякой еды и питья на нем наставлено. Ну, Андрюха уж давно проголодался. Раздумывать не стал, за стол сел. Еда обыкновенная, питье не разберешь. На то походит, какое он из туесочка-то пил. Сильное питье, а не хмелит.

Наелся-напился Андрюха, как на самом большом празднике либо на свадьбе, ящеркам поклонился:

— На угощенье, хозяюшки!

А они сидят обе на скамеечке высоконькой, головенками помахивают:

— На здоровье, гостенек! На здоровье!

Потом одна ящерка — поменьше-то — соскочила со скамеечки и побежала. Андрюха за ней пошел. Подбежала она ко кровати, остановилась — ложись, дескать, спать теперь! Кровать до того убранная, что и задеть-то ее боязно. Ну, все ж таки Андрюха насмелился. Лег на кровать и сразу уснул. Тут и свет потух.

А на Гумешках тем временем руднишный надзиратель переполошился. Заглянул утром в забой,— жив ли прикованный,— а там одна цепь. Забеспокоился надзиратель, запобегивал:

— Куда девался? Как теперь быть?

Пометался-пометался, никаких знаков нет, и на кого подумать — не знает. Сказать начальству боится — самому отвечать придется. Скажут — плохо глядел. Вот этот руднишный надзиратель и придумал обрушить кровлю над тем местом. Не шибко это просто, а исхитрился все ж таки,— кое с боков подгреб, кое сверху наковырял. Тогда и по начальству сказал. Начальство, видно, не крепко в деле понимало, поверило.

— И то,— говорит,— обвал. Вишь, как его задавило, чуть цепь видно.

Надзиратель, конечно, поет:

— Отрывать тут не к чему. Кровля вон какая ненадежная, руды настоящей давно нет, а мертвому не все ли равно, где лежать.

Руднишные видели, конечно,— подстроено тут, а молчали.

«Отмаялся,— думают,— человек. Чем ему поможешь?»

Так начальство и барину сказало:

— Задавило, дескать, того, Соленого-то, который нарочно в печи козлов посадил.

Барин и тут свою выгоду не забыл:

— Это,— говорит,— его сам бог наказал. Надо про эту штуку попам сказать. Пущай народ наставляют, как барину супротивничать.

Попы и зашумели. Весь народ про Андрюху-то узнал, что его кровлей задавило. Пожалели, конечно:

— Хороший парень был. Немного таких осталось.

А он что? После бани-то спит да спит. Тепло ему, мягко. День проспал, два проспал, на другой бок перевернулся да пуще того. Выспался все ж таки и вовсе здоровый стал, будто не хворал и в руднике не бывал. Глядит — стол опять полнехонек, и обе ящерки на скамейке сидят, поглядывают.

Наелся, напился Андрюха, ящеркам поклонился, да и говорит:

— Теперь не худо бы барину Турчанинову за соль спасибо сказать. Подарочек сделать, чтоб до слез чихнул.

Одна ящерка — поменьше-то — сейчас соскочила со скамейки и побежала. Андрюха за ней. Привела его ящерка к другой двери. Отворил, а там тоже лестница в потолок идет. На потолке скобочка медная, как руч-

ка. Андрюха, понятно, догадался, к чему она. Поднялся по лестнице, повел эту скобочку, выход и открылся. Вышел Андрюха на горушечку, а время, глядит, к вечеру — солнышко на закате.

«Это,— думает,— мне и надо. Схожу по потемкам на рудник. Может, повидаю кого, узнаю, как у них там и в заводе что».

Пошел потихоньку· Сторожится, конечно, как бы его не увидели, кому не надо. Подобрался к руднику, за вересовым кустом притаился. Людей у руды много, а подходящего случаю не выходит. Либо грудками копошатся, либо не те люди. Темненько уж стало. Тут и отбился один, близко подошел. Парень простоватый, а так надежный. Вместе с Андрюхой у печей ходил, да тоже на Гумешки попал. Андрюха и говорит ему негромко:

— Михайло! Иди-ко поближе.

Тот сперва пошел на голос, потом остановился, спрашивает:

— Кому надо?

— Иди,— говорю,— ближе.

Михайло еще подался, а уж, видать, боится чего-то. Андрюха тогда и выглянул из-за куста, показаться хотел, чтоб он не сомневался. Михайло сойкнул да бежать. Как нарочно в ту пору еще бабеночку одну к тому месту занесло. Она тоже Андрюху-то увидала. Визг подняла — уши затыкай.

— Ой, батюшки, покойник! Ой, покойник!

Михайло тоже кричит:

— Андрюху Соленого видел! Как есть такой показался, как до рудника был! Вон за тем кустом вересовым!

В народе беспокойство пошло. Побежали которые с рудника, а начальство вперед всех. Другие говорят:

— Надо поглядеть, что за штука!

Пошли тулаем, а так Андрюхе неладно показалось.

«Покажись,— думает,— зря-то, а мало ли кто в народе случится».

Он и отошел подальше в лес. Те побоялись глубоко-то заходить, потолклись около куста, расходиться стали.

Андрюха тут и удумал. Обошел Гумешки лесом да ночью прямо на медный завод. Увидели его там — пере-

пугались. Побросали все, да кто куда. Надзиратель ночной с перепугу на крышу залез. На другой день уж его сняли — обеспамятел вовсе... Андрюха и походил у печей-то... опять все наглухо заморозил да к барину.

Тот, конечно, прослышал о покойнике, попов велел нарядить, только их на ту пору найти не могли. Тогда барин накрепко заперся в доме и не велел никому отворять. Андрюха видит — не добудешь его, ушел на свое место — в узорчату палату. Сам думает:

«Погоди! Еще я тебе соль попомню!»

На другой день в заводе суматоха. Шутка ли, во всех печах козлы. Барин слезами ревет. На Гумешках тоже толкошатся. Им велел отрыть задавленного и попам отдать,— пущай, дескать, хорошенько захоронят, по всем правилам, чтоб не встал больше.

Разобрали обвал, а там тела-то и нет. Одна цепь осталась и кольца ножные целехоньки, не надпилены даже. Тут руднишного надзирателя потянули. Он еще повертелся, на рабочих хотел свалить, потом уж рассказал, как было дело. Сказали барину — сейчас перемена вышла. Рвет и мечет:

— Поймать, коли живой!

Всех своих стражников-прислужников нарядил лес обыскивать.

Андрюха этого не знал и вечером опять на горушечку вышел. Сколь, видно, ни хорошо в подземной палате, а на горушечке все лучше. Сидит у камня и раздумывает, как бы ему со своими друзьями повидаться. Ну, девушка тоже одна на уме была.

«Небось, и она поверила, что умер. Поплакала, поди, сколь-нибудь?»

Как на грех, в ту пору женщины по лесу шли. С покосу ворочались али так, ягодницы припозднились... Ну, мало ли по лесу народу летом проходит. От той горушечки близенько шли. Сначала Андрюха слышал, как песни пели, потом и разговор разбирать стал.

Вот одна-то и говорит:

— Заподумывала, поди, Тасютка, как про Андрюху услыхала. Живой ведь, сказывают, он.

Другая отвечает:

— Как не живой, коли все печи заморозил!

— Ну, а Тасютка-то что? Искать, поди, собралась?

— Дура она, Тасютка-то. Вчера сколь ей говорила,

а она старухам своим верит. Боится, как бы Андрюха к ней под окошко не пришел, а сама ревет.

— Дура и есть. Не стоит такого парня. Вот бы у меня такой был — мертвого бы не побоялась.

Слышит это Андрюха, и потянуло его поглядеть, кто это Тасютку осудил. Сам думает: «Нельзя ли через них весточку послать?»

Пошел на голоса. Видит — знакомые девчонки, только никак объявиться нельзя. Много, видишь, народу-то идет, да еще ребятишки есть. Ну, как объявишься?

Поглядел-поглядел, не показался. Пошел обратно.

Сел на старое место, пригорюнился. А пока он ходил, его, видно, какой-то барский пес и углядел да потихоньку другим весточку подал. Окружили горушечку. Радуются все. Самоглавный закричал:

— Бери его!

Андрюха видит — со всех сторон бегут... нажал на камень, да и туда. Стражники-прислужники подбежали,— никого нет. Куда девался? Давай на тот камень напирать. Пыхтят — стараются. Ну, разве его сдвинешь? Одумались маленько, страх опять на них напал:

— В самделе, видно, покойник, коли через камень ушел.

Побежали к барину, обсказали ему. Того и запотряхивало с перепугу-то.

— В Сысерть,— говорит,— мне надо. Дело спешное там. Вы тут без меня ловите. В случае не поймаете — строго взыщу с вас.

Погрозил — и на лошадь да в Сысерть и угнал. Прислужники не знают, что им делать. Ну, на то вывели — надо горушку караулить. Андрюха там, под камнем-то, тоже заподумывал: как быть? Сидеть без дела непривычно, а выходить не приходится.

«Ночью,— думает,— попытаю. Не удастся ли по потемкам выбраться, а там видно будет».

Надумал эдак-то, хотел еды маленько на дорогу в узелок навязать, а ящерок нету. Ему как-то без них неловко стало, вроде крадучись возьмет.

«Ладно,— думает,— и без этого обойдусь. Живой буду — хлеба добуду».

Поглядел на узорчату палату, полюбовался как все устроено, и говорит:

— Спасибо этому дому — пойду к другому.

Тут Хозяйка и показалась ему, как быть должно. Остолбенел парень — красота какая! А Хозяйка говорит:

— На верх больше ходу нет. Другой дорогой пойдешь. О еде не беспокойся. Будет тебе, как захочешь,— заслужил. Выведет тебя дорога, куда надо. Иди вон в те двери, только, чур, не оглядывайся. Не забудешь?

— Не забуду,— отвечает,— спасибо тебе за все доброе.

Поклонился ей и пошел к дверям, а там точь-в-точь такая же девица стоит, только еще ровно краше. Андрюха не вытерпел, оглянулся,— где та-то? А она пальцем грозит:

— Забыл обещанье свое?

— Забыл,— отвечает,— ума в голове не стало.

— Эх ты,— говорит,— а еще Соленый! По всем статьям парень вышел, а как девок разбирать, так и неустойку показал. Что мне теперь с тобой делать-то?

— Твоя,— говорит,— воля.

— Ну, ладно. На первый раз прощается, другой раз не оглянись. Худо тогда будет.

Пошел Андрюха, а та, другая-то, сама ему двери отворила. Там штольня пошла. Светло в ней, и конца не видно.

Оглянулся ли другой раз Андрей и куда его штольня вывела,— про то мне старики не сказывали. С той только поры в наших местах этого парня больше не видали, а на памяти держали.

Посолил он Турчанинову-то!

А те — прислужники-то турчаниновски — долго, слышь-ко, камень караулили. Днем и ночью кругом камня стояли. Нарочно народ ходил поглядеть на этих дураков. Потом, видно, им самим надоело. Давай тот камень порохом рвать. Руднишных нагнали. Ну, разломали, конечно, а барин к той поре отутовел,— отошел от страху да их же ругать.

— Пока,— кричит,— вы пустой камень караулили, мало ли в заводе и на Гумешках урону вышло. Вон у приказчика-то зад сожгли. Куда годится?

ПРИКАЗЧИКОВЫ ПОДОШВЫ

Был в Полевой приказчик — Северьян Кондратьич. Ох, и лютой, ох и лютой! Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак собака. Зверь.

В заводском деле он, слышь-ко, вовсе не мараковал, а только мог человека бить. Из бар был, свои деревни имел, да всего решился. А все из-за лютости своей. Сколько-то человек до смерти забил, да еще которых из чужого владенья. Ну, огласка и вышла, прикрыть никак невозможно. Суд да дело — Северьяна и присудили в Сибирь либо на здешние заводы. А Турчаниновым — владельцам — такого убойцу подавай. Сразу назначили Северьяна в Полевую.

— Сократи, сделай милость, тамошний народ. Ежели и убьешь кого, на суд тебя тут никто не потянет. Лишь бы народ потише стал, а то он вон что вытворять придумал.

А в Полевой перед этим старого-то приказчика на калену болванку посадили, да так, что он в одночасье помер. Драли, конечно, за приказчика-то. Только виноватого не нашли.

— Никто его не садил. Сам сел. Угорел, может, либо затменье на него нашло. Хватились поднять его с болванки, а уж весь зад до нутра испортило. Такая, видно, воля божья, чтоб ему с заду смерть принять.

По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтобы народ испужать.

Вот и стал убойца Северьян нашим заводским приказчиком. Он, слышь-ко, смелый был, а все ж таки понимал — завод не деревня, больше опаски требует. Народ, вишь, завсегда кучкой, место тесное, да еще у огня.

Всякий с орудией какой-нибудь... Клещами двинуть может, молотком садануть, сгибнем либо полосой брякнуть, а то и плахой ахнуть. Очень даже просто. Могут и в валок либо в печь головой сунуть. Угорел-де, подошел близко, его и затянуло. Поджарили же того приказчика.

Северьян и набрал себе обережных. Откуда только выкопал! Один другого могутнее да отчаяннее. И все народишко — откать последняя. Братцы-хватцы из шатальной волости. С этой оравой и ходил по заводу. Впереди сам идет. В руке плетка в два перста толщиной, с подвитым кончиком. В кармане пистолет, на четыре ствола заряженный. Пистончики надеты, только из кармана выдернуть. За Северьяном шайка идет. Кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто в поход какой срядился.

Первым делом уставщика спрашивает:

— Кто худо робит?

Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя, сам под плетку попадешь — потаковщик-де. Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком — понасердке, а на ком и вовсе зря. Лишь бы от себя плетку отвести. Наговорит так-то на людей, приказчик и примется лютовать. Сам, слышь-ко, бил. Хлебом его не корми, любил над человеком погалиться. Такой уж характер имел. Убойца, однем словом.

В Медну гору сперва все ж таки не спущался. Без привычки-то под землей страшно, хоть кому доведись. Главная причина — потемки, а свету не прибавишь. Хоть сам владелец спустись, ту же блендочку дадут. Разбери, горит она али так только вид дает. Ну, и мокреть тоже. И народ в горе вовсе потерянный. Такому что жить, что умирать — все едино. Безнадежный народ, самый для начальства беспокойный. И про то Северьян слыхал, что у Медной горы своя Хозяйка есть. Не любит будто она, как под землей над человеком измываются. Вот Северьян и побаивался. Потом насмелился. Со всей своей шайкой в гору спустился. С той поры и пошло. Ровно еще злости в Северьяне прибавилось. Раньше руднишных драли завсегда наверху, а теперь нову моду придумали. Приказчик плетью и чем попало прямо в забое народ бьет. Да каждый день в гору повадился, а распорядок у него один — как бы по-

больше людям худа сделать. Который день много народу изобьет, в тот и веселее. Расправит усы свои, да и хрипит руднишному смотрителю:

— Ну-ко, старый хрыч, приготовь к подъему. Пообедать пора, намахался.

С неделю он так-то хозяевал в горе. Потом случай и вышел. Только сказал руднишному смотрителю — готовь к подъему,— вдруг голос, да так звонко, будто где-то совсем близко:

— Гляди, Северьянко, как бы подошвы деткам своим на помин не оставить!

Приказчик схватился:

— Кто сказал? — Повернулся на голос, да и повалился, чуть ноги не переломал. Они у него как прибитые стали. Едва от земли оторвал. А голос женский. Сумление тут приказчика и взяло, а все ж таки виду не оказывает. Будто ничего не слыхал. Северьянова шайка тоже молчит, а видать — приуныла. Эти сразу сметили — *сама* погрозилась.

Вот ладно. Перестал приказчик в гору лазать. Вздохнули маленько руднишные, только ненадолго. Приказчику, вишь, стыдно; вдруг рабочие тот голос слышали да теперь и посмеиваются про себя: струсил-де Северьян. А это ему хуже ножа, как он завсегда похвалялся — никого не боюсь. Приходит он в прокатную, а там кричат:

— Эй, подошвы береги! — Это у них присловье такое. Упредить, значит, кто зазевался. А приказчик свое думает:

«Надо мной смеются». Шибко его тем словом укололо. Не стал и человека искать, который про подошвы кричал. Даже никого на тот раз не избил, а стал посередке прокатной, да и говорит своей-то ораве:

— Что-то мы давненько в горе не были. Надо там за порядком доглядеть.

Спустились в гору. И такая на приказчика злость накатила, как еще не бывало. Походя всех лупит. Все ему показать-то охота, что никого не боится. И вот опять тот же голос:

— Другой раз, Северьянко, тебя упреждаю. Пожалей своих малолетков. Подошвы им только оставишь!

Приказчик на голос повернулся и повалился, как и тот раз. Ноги от земли оторвать не может. Глядит,

а они чуть не на вершок в породу вдавились, хоть каелкой отбивай.

Вырвал все ж таки, только сапоги спереду оскалились — подошвы отстали.

Притих приказчик, а как наверх поднялись, опять осмелел. Спрашивает своих-то:

— Слыхали что? в шахте?

Те говорят:

— Слыхали.

— Видели — как ноги у меня прилипли?

— Видели,— отвечают.

— Как думаете — что это?

Ну, те мнутся, понятно, потом один выискался и говорит:

— Не иначе, это Медной горы Хозяйка тебе знак подает. Грозится вроде, а чем — непонятно.

— Так вот,— говорит Северьян,— слушайте, что я скажу. Завтра, как свет, в гору приготовьтесь. Я им покажу, как меня пужать да бабенку в горе прятать. Все штольни-забои облазаю, а бабенку ту поймаю и вот этой плеткой с пяти раз дух из нее вышибу. Слышали?

И дома перед женой этак же похваляется. Та, женским делом, в слезы.

— Ох да ах, поберегся бы ты, Северьянушко! Хоть бы попа позвал, чтоб он тебя оградил.

И верно, попа позвали. Тот попел, почитал, образок Северьяну на шею повесил, пистолет водичкой покропил, да и говорит:

— Не беспокойся, Северьян Кондратьич, а в случае чего — читай «Да воскреснет бог».

На другой день на свету вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помучнели все, один приказчик гоголем похаживает. Грудь выставил, плечи поднял, и глядят — сапоги на нем новешенькие, как зеркало блестят. А Северьян плеткой по сапожкам похлопывает и говорит:

— Еще раз оборву подошвы, так покажу руднишному смотрителю, как грязь разводить. Не погляжу, что он двадцать лет в горе служит, спущу и ему шкуру. А вы первым делом старайтесь бабенку эту углядеть. Кто ее поймает, тому пятьдесят рублей награда.

Спустились, значит, в гору и давай везде шнырять. Приказчик, как обыкновенно, впереди, а орава за ним.

Ну, в штольнях-то узко, они цепочкой и растянулись, один за другим. Вдруг приказчик видит — впереди кто-то маячит. Так себе легонько идет, блендочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина. Приказчик заорал — стой! — а она будто не слыхала. Приказчик за ней бегом, а его верные слуги не шибко торопятся. Дрожь на их нашла. Потому видят — неладно дело: *сама* это. А назад податься тоже не смеют — Северьян до смерти забьет. Приказчик все вперед бежит, а догнать не может. Лается, конечно, всяко, грозится, а она и не оглянется. Народу в той штольне ни души.

Вдруг женщина повернулась, и сразу светло стало. Видит приказчик — перед ним девица красоты неописанной, а брови у ней сошлись и глаза, как уголья.

— Ну,— говорит,— давай разочтемся, убойца! Я тебя упреждала: перестань,— а ты что? Похвалялся меня плеткой с пяти раз забить? Теперь что скажешь?

А Северьян вгорячах кричит:

— Хуже сделаю. Эй, Ванька, Ефимка, хватай девку, волоки отсюда, стерву!

Это он своим-то слугам. Думает, тут они, близко, а сам чует — ноги у него опять к земле прилипли.

Уж не своим голосом закричал:

— Эй, сюда! — А девица ему и говорит:

— Ты глотку-то не надрывай. Твоим слугам тут ходу нет. Их и в живых сейчас многих не будет.

И легонько этак рукой помахала. Как обвал сзади послышался, и воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, а за ним стена — ровно никакой штольни и не было.

— Теперь что скажешь? — спрашивает опять Хозяйка.

А приказчик,— он шибко ожесточенный был, да и попом обнадеженный,— выхватил свой пистолет:

— Вот что скажу! — И хлоп из одного ствола... в Хозяйку-то! Та пульку рукой поймала, в коленку приказчику бросила и тихонько молвила:

— До этого места нет его.— Как приказ отдала. И сейчас же приказчик по самое коленко зеленью оброс. Ну, тут он, понятно, завыл:

— Матушка-голубушка, прости, сделай милость. Внукам-правнукам закажу. От места откажусь. Отпусти душу на покаянье!

А сам ревет, слезами уливается. Хозяйка даже плюнула.

— Эх ты,— говорит,— погань, пустая порода! И умереть не умеешь. Смотреть на тебя — с души воротит.

Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос. Как глыба большая на его месте стала. Хозяйка подошла, чуть задела рукой, глыба и свалилась, а Хозяйка как растаяла.

А в горе переполох. Ну, как же — штольня обвалилась, а туда приказчик со всей свитой ушел. Не шутка дело. Народ согнали. Откапывать стали. Наверху сumatоха тоже поднялась. Барину в Сысерть нарочного послали. Горное начальство из города на другой день прикатило. Дня через два отрыли приказчиковых-то слуг. И вот диво! Которые хуже-то всех были, те все мертвые, а кои хоть маленько стыд имели, те только изувечены.

Всех нашли, только приказчика нету. Потом уж докопались до какого-то неведомого забоя. Глядят, а на середине глыба малахиту отворочена лежит. Стали оглядывать ее и видят — с одного-то конца она шлифована.

«Что,— думают,— за чудо. Кому тут малахит шлифовать?» Стали хорошенько разглядывать, да и увидели — посредине шлифованного места две подошвы сапожные. Новехоньки подошевки-то. Все гвоздики на них видно. В три ряда. Довели об этом до барина, а тот уже старик тогда был, в шахту давно не спускался, а поглядеть охота. Велел вытаскивать глыбу, как есть. Сколько тут битвы было! Подняли все ж таки. Старый барин, как увидел подошвы, так в слезы ударился:

— Вот какой у меня верный слуга был! — Потом и говорит: — Надо это тело из камня вызволить и с честью похоронить.

Послали сейчас же на Мрамор за самым хорошим камнерезом. А там тогда Костоусов на славе был. Привезли его. Барин и спрашивает:

— Можешь ты тело из камня вызволить и чтоб тела не испортить?

Мастер оглядел глыбу и говорит:

— А кому обой будет?

— Это,— говорит барин,— уж в твою пользу, и за работу заплачу, не поскуплюсь.

— Что ж,— говорит,— постараться можно. Главное дело — материал шибко хороший. Редко такой и увидишь. Одно горе — дело наше мешкотно. Если сразу до тела обивать, дух, я думаю, смрадный пойдет. Сперва, видно, надо оболванить, а это малахиту потеря.

Барин даже огневался на эти слова.

— Не о малахите,— говорит,— думай, а как тело моего верного слуги без пороку добыть.

— Это,— отвечает мастер,— кому как.

Он, вишь, вольный, Костоусов-то, был. Ну, и разговор у него такой. Стал Костоусов мертвяка добывать. Оболванил сперва, малахит домой увез. Потом стал до тела добираться. И ведь что? Где тело либо одежда были, там все пустая порода, а кругом малахит первосортный.

Барин все ж таки эту пустую породу велел похоронить как человека. А мастер Костоусов жалел:

— Кабы знатье,— говорит,— так надо бы глыбу сразу на распил пустить. Сколько добра сгибло из-за приказчика, а от него, вишь, что осталось! Одни подошвы.

СОЧНЕВЫ КАМЕШКИ

После Степановой смерти — это который малахитовы-то столбы добыл — много народу на Красногорку потянулось. Охота было тех камешков доступить, которые в мертвой степановой руке видели. Дело-то в осенях было, уж перед снегом. Много ли тут настараешься. А как зима прошла, опять в то место набежали. Поскыркались-поскыркались, набили железной руды, видят — пустое дело,— отстали. Только Ванька Сочень остался. Люди-то косить собираются, а он, знай свое, на руднике колотится. И старатель-то был невсамделешный, а так, сбоку припека. Смолоду-то около господ терся, да за провинку выгнали его. Ну, а зараза эта — барские-то блюдья лизать — у него осталась. Все хотел чем ни на есть себя оказать. Выслужиться, значит. Ну, а чем он себя окажет? Грамота малая. С такой в приказные не возьмут. На огненную работу не гож, в горе и недели не выдюжит. Он на прииска и подался. Думал — там мед пьют. Хлебнул, да солоно. Тогда он и приспособил себе ремесло по рылу — стал у конторы нюхалкой-наушником промеж старателей. Старательского ковшика не бросил. Тоже около песков кышкался, а сам только то и смышлял, где бы что выведать да конторским довести. Конторские видят себе пользу — сноровлять Сочню стали. Хорошие места отводят, деньжонками подавывают, одежонкой, обувкой. Старатели опять свой расчет с Сочнем ведут: когда по загорбку, когда по уху, когда и по всем местам. Глядя по делу. Только Сочень к битью привыкши был, по лакейскому-то сословию. Отлежится да за старое. Так вот и жил — вертелся промеж тех да этих. И женешка ему подстать была, не то что гулящая

али вовсе плеха, а так... чужой ужной звали: на даровщину любила пожить. Ребят, конечно, у них вовсе не было. Где уж таким-то.

Вот как пошли по заводу разговоры про степановы камешки, да кинулся народ на Красногорку, этот Сочень туда же.

«Поищу-ко,— думает.— Чем я хуже Степана? Небось, такой дурости не допущу, чтоб богатство в руке раздавить».

Старатели знают, где что искать. Поскреблись на Красногорке, видят — порода не та,— отстали. А этот Сочень умнее всех себя кажет,— один остался.

— Не я,— говорит,— буду, коли богатство не возьму! — Вот какой умник выискался!

Хлещется этак раз в забое. Вовсе зря руду разворачивает. Вдруг глыба отвалилась. Пудов, поди, на двадцать, а то и больше. Чуть ноги Сочню не отдавило. Отскочил он, глядит, а в выбоине-то как раз против него два зеленых камня. Обрадовался Сочень, думает — на гнездо напал. Потянул руку выковырнуть камешок, а оттуда как пышкнет — с Ванькой от страху неладно стало. Глядит — из забоя кошка выскочила. Чисто вся бурая, без единой отметины, только глаза зеленые да зубы белеют. Шерсть дыбом, спина горбом, хвост свечкой — вот-вот кинется. Ванька давай-ко от этой кошки бежать. Версты, поди, две без оглядки чесал, задохся, чуть не умер. Потом уж потише пошел. Пришел домой, кричит своей бабе:

— Топи скорей баню! Неладно со мной приключилось.

После бани-то возьми, дурова голова, и расскажи все бабе. Та, конечно, сейчас же присоветовала:

— Сходить бы тебе, Ванюшка, к бабушке Колесишке. Покланяться ей. Она те живо на путь наставит.

Была такая, сказывают, старушонка. Родильниц в банях парила; случалось, и девий грех хоронила. Ноги, слышь-ко, у ней шибко кривые были. Как на колесе тулово посажено. За это Колесишкой и прозвали.

Ванька сперва упирался:

— Никуда не пойду, а на рудник и золотом не заманишь. На эки-то страсти! Да ни в жизнь! — За струментишком своим хотел даже человека нарядить. Боял-

ся, вишь. Потом — денька через два, через три — отошел, а бабенка ему свое толмит:

— Сходи ты, сходи к Колесишке! Она ведунья. Научит, как те камешки взять.— Тоже, видно, обжаднела сочнева-то баба на богатство.

Пошел Ванька к Колесишке. Стал ей рассказывать, а что старуха понимает в земельном богатстве. Сидит да бормочет:

— Дыр-гыр-быр. Змея кошки боится, кошка собаки боится, собака волка боится, волк медведя боится. Дыр-быр-гыр! Чур меня рассыпься! — Ну, и протчу ведунью дурость, а Ванька думает: «Ишь какая мудреная бабка».

Рассказал Ванька, старуха и спрашивает:

— Есть у тебя, сынок, яга собачья?

— Есть,— отвечает,— немудренькая, вся в дырьях!

— Это,— говорит,— все едино, лишь бы песьим духом смердило.

— Смердит,— говорит,— шибко смердит. Из некормных собак собрана.

— Вот и ладно. Ты эту ягу надень и с себя не снимай, пока камешки домой не принесешь. А ежели еще опа́сишься, так я тебе дам волчий хвост на шею повесить либо медвежьего сальца в рубаху зашить. Только та штука денежку стоит, и не малую.

Порядился Сочень с ведуньей, сходил домой, принес деньги.

— Давай, бабушка, хвост и сало! — Старушонке любо: дурака бог дал.

Повесил Сочень хвост на шею, сало ему жена в рубец на вороту рубахи зашила. Снарядился так-то, надел на себя ягу и пошел на Красногорку. Кто встретится, всяк дивуется — в Петровки ягу надел. А Сочень пристанывает — лихоманка одолела,— даром что пот ручьем бежит.

Пришел на рудник. Видит — струментишко его тут валяется. Никто не обзарился. Шалашишко только ветром малость скособочило.

Никто, видать, без него тут не бывал. Огляделся так-то Сочень и давай опять зря руду ворочать. Дело-то к вечеру пошло. Сочень боится на руднике остаться, а намахался. В яге-то летом помаши каелкой! Кто и покрепче — умается, а Сочень вовсе раскис. Где стоял, тут

и лег. Сон-от не свой брат,— всех ровняет. Который и боязливый, а храпит не хуже смелого.

Выспался Ванька — лучше некуда и вовсе осмелел. Поел — да за работу. Колотился-колотился, и опять, как тот раз, большая глыба отскочила — едва Ванька ноги уберег. Думает — сейчас кошка выскочит. Нет, никого нету: видно, волчий хвост да медвежье сало помогают. Подошел к выбоине и видит — выход породы новой обозначился. Пообчистил Ванька кругом, подобрался к тому месту и давай породу расковыривать. Порода сголуба, вроде лазоревки, легкая, рохло лежит. Поковырял маленько — на гнездышко натакался. Целых шесть штук зеленых камешков взял, и все парами в породе сидели. Откуда у Сочня и сила взялась, давай дальше руду ворочать. Только, сколь ни бился, ничего больше добыть не мог. Как отрезало. Даже породы той не стало. Ровно кто ее на поглядку положил.

Долго Ванька не сдавал. Поглядит на камешки, полюбуется да за кайлу. Толку все ж таки нет. Измаялся, хлебной запас приел, надо домой бежать. Тропка была прямехонько к ключику, который у мостика через Северушку. Ванька той тропкой и пошел. Лес тут густой, стоялый, а тропка приметная. Идет Сочень, барыши считает: сколь ему за камни дадут. Только вдруг сзади-то:

— Мяу! мяу! отдай наши глаза!

Оглянулся Сочень, а на него прямо три кошки бегут. Все бурые и все без глаз. Вот-вот наскочат. Ванька в сторону, в лес. Кошки за ним. Только где им, безглазым-то! Сочень с глазами, и то себе всю рожу раскровянил, ягу в клочья изорвал по чаще-то. Сколь раз падал, в болоте вяз, насилу на дорогу выбился. По счастью, мужики северские ехали на пяти телегах. Видят — выскочил какой-то вовсе не в себе — без слова подсадили и подвезли до Северной, а там Сочень потихоньку сам добрел. Время ночное. Баба у Сочня спит, а избушка не заперта. Беспелюха тоже добрая была, сочнева-то женешка. Ей бы взвалехнуться, а до дому дела нет. Сочень вздул огонька, покрестил все углы и сразу в кошелек — поглядеть на свои камешки. Хвать-похвать, а в кошельке-то пыли щепоточка. Раздавил! Взвыл тут Сочень и давай с горя Колесишку позаочь материть.

— Не могла, такая-эдакая, от кошек уберегчи. За что я тебе деньги стравил, за что ягу на себе таскал!

Баба пробудилась — ей тычка дал и всяко выкорил. Баба видит — на себя мужик не походит,— давай-ко к нему ластиться. Он ее костерит, а она:

— Ванюшка, не истопить ли баньку?

Знала тоже, с чем подъехать. Ну, Ванька пошумел-пошумел, да и отошел — сказал бабе все до капельки. Тут уж она сама заревела. Поглядит на пыль-то в кошельке, на палец возьмет — лизнет и опять в слезы. Поревели так-то оба, потом баба опять советовать стала.

— Видно,— говорит,— колесишкина сила не берет. Надо для укрепы к попу сходить.

Сочень сперва и слушать не хотел. Думать боялся, как это он еще на тот рудник пойдет. Только ведь баба, как осенний дождь. День долбит, два долбит — додолбила-таки. Ну и сам Ванька отутовел маленько.

«Зря,— думает,— я тогда кошек испужался. Что они без глаз-то!»

Пошел к попу: так и так, батюшка.

Поп подумал-подумал, да и говорит:

— Надо бы тебе, сыне, обещанье дать, что первый камешок из добычи на венчик богородице приложишь, а потом по силе добавленье дашь.

— Это,— отвечает Сочень,— можно. Ежели десятка два добуду, пяток не пожалею.

Тогда поп давай над Сочнем читать. Из одной книжки почитал, из другой, из третьей, водой покропил, крестом благословил, получил с Ваньки полтину, да и говорит:

— Хорошо бы тебе, сыне, крестик кипарисовый с Афон-горы доступить. Есть у меня такой, да только себе дорого стоит. Тебе, пожалуй, для такого случая уступлю по своей цене,— и назначил вдвое против Колесишки-то. Ну, с попом ведь не рядятся,— сходил Ванька домой, заскребли с бабой последние деньги. Купил Сочень крестик и перед бабой похваляется:

— Теперь никого не боюсь.

На другой день на рудник собрался. Баба ему ту рубаху, с медвежьим-то салом, вымыла, ягу починила сколь можно. Хвост волчий Ванька на шею надел, тут же крестик кипарисовый повесил. Пришел на Красногорку. Там все по-старому. Что где лежало, то тут и

лежит. Только шалашишко еще ровно больше скособочило. Ну Ваньке не до этого. Сразу в забой. Только замахнулся кайлой, его кто-то и спрашивает:

— Опять, Ваня, пришел? Безглазых кошек не боишься?

Ванька оглянулся, а чуть не рядом *сама* сидит. По платью-то малахитовому Ванька сразу признал ее. У Ваньки руки-ноги отнялись, и язык без пути заболтался:

— Как же, как же... Дыр-гыр-быр... Свят... свят... рассыпься.

Она этак посмеивается:

— Да ты не бойся! Ведь я не кошка безглазая. Скажи-ка лучше, что тебе тут надо?

Ванька, знай, бормочет:

— Как же, как же... Дыр-гыр-быр...— Потом отошел будто маленько: — Камешков поискать пришел... В степановой руке люди видели...

Она прихмурилась:

— Ты это имя не трожь! А камней я тебе дам. Вижу, какой ты старатель, да и от приисковских про тебя слыхала. Будто ты шибко им полезный.

— Как же, как же...— обрадовался Ванька.— Я завсегда по совести.

— Вот по твоей совести и получишь. Только, чур, уговор. Никому те камни не продавай. Ни единого, смотри! Сразу снеси все приказчику. Он тебя и наградит из своих рук. Потом из казны добавит. На всю жизнь будешь доволен. Столь отсыплет, что самому и домой не донести.

Сказала так-то и повела Сочня под горку. Как спустились, пнула ногой огромадный камень. Камень отвалился, а под ним как тайничок открылся. По голубой породе камешки зеленые сидят. Полным-полнехонько.

— Нагребай,— говорит,— сколько надо,— а сама тут же стоит, смотрит.

Ванька хоть старатель был маломальный, а кошелек у него исправный, больше всех. Набил натуго, а все ему мало. Охота бы в карманы насовать, да боится. Хозяйка сердито глядит, а сама молчит. Делать нечего,— видно, надо спасибо сказать. Глядит,— а никого нет. Оглянулся на тайник, и его не стало. Будто не было вовсе. На том месте камень лежит, на медведя походит. Пошу-

пал Ванька кошелек — полнехонек, как бы не разошелся. Поглядел еще на то место, где камешки брал, да айда-ко поскорее домой. Бежит-бежит да пощупает кошелек: тут ли. Хвостом волчьим над ним помашет, крестиком потрет и опять бежит. Прибежал домой задолго до вечера. Баба даже испугалась.

— Баню,— спрашивает,— топить?

А он как дикой.

— Занавесь-ко,— кричит,— окошки на улку! — Ну, баба, конечно, занавесила, чем попало, оба окошечка, а Сочень кошелек на стол:

— Гляди!

Баба видит — полон кошелек каких-то зеленых зернышек. Обрадовалась сперва-то, закрестилась, потом и говорит:

— А может, не настоящие?

Ванька даже осердился:

— Дура! В горе, поди, брал. Кто тебе в гору подделку подсунет? — Про то не сказал, что ему Хозяйка сама камни показала да еще наказ дала. А сочнева баба все ж таки сумлевается:

— Ежели ты сразу кошелек набил, так лошадные мужики узнают — возами привезут. Куда тогда эти камешки? Малым ребятам на игрушки да девкам на буски?

Ванька даже из лица вспыхнул:

— Сейчас узнаешь цену такому камешку!

Отсыпал в горстку пять штук, кошелек на шею и побежал к щегарю:

— Кузьма Мироныч, погляди камешки.

Щегарь оглядел. Стеколко свое на ножках взял. Еще оглядел. Кислотой попробовал.

— Где,— говорит,— взял?

Ну, Ванька, конторская нюхалка, сразу и говорит:

— На Красногорке.

— В котором месте?

Тут Ванька схитрил маленько, указал — где сперва-то работал.

— Сумнительно что-то,— говорит щегарь.— По железу медных изумрудов не бывает. А много добыл?

Ванька и вытащил кошелек на стол. Щегарь взглянул в кошелек и прямо обомлел. Потом отдышался, да и говорит:

— Поздравляю вас, Иван Трифоныч! Счастье вас поискало. Не забудьте при случае нас, маленьких.— А сам Ваньку-то за ручку да все навеличивает. Известно, деньги чего не делают! — Пойдемте,— говорит,— сейчас же к приказчику.

Ванька так и сяк:

— Помыться бы сперва, в баню сходить, переоболокчись.

А это ему охота было камешков отсыпать. Только щегарь свое:

— С таким-то кошелем не то что к приказчику, к царю можно итти. Не побрезгует, во всякое время примет.

Ну, делать нечего. Привел щегарь Ваньку к приказчику. А там сборище како-то было. И сам старый барин тут же, только что приехал. Сидит осередь комнаты и рожок при ухе держит, а приказчик ему: «ду-ду», наговаривает всяку штуку.

Зашел щегарь в ту комнату, обсказал, что надо, а приказчик сейчас же в рожок барину задудел:

— Нашли-таки мы медные изумруды. Один верный человек расстарался. Надо его наградить как следует.

Привели Сочня в комнату.

Достал он свой кошелек, подал барину да еще и руку ему чмокнул. Барин даже удивился:

— Откуда такой? Весь порядок знает.

— В лакеях раньше-то состоял,— задудел приказчик.

— То-то и есть,— говорит барин,— сразу видать. А еще толкуют, что из дворовых плохие работники. Вон этот сколько добыл.

Сам эдак подкидывает кошелек на руке-то. Кругом вся заводская знать собралась. Барыни, кои поважнее, тут же трутся. Барин стал кошелек развязывать, да сноровки нет, он и подал Сочню — развяжи-де. Сочень рад стараться: дернул ремешок, растянул устьице.

— Пожалуйте!

И тут такой, слышь-ко, дух пошел,— терпеть нельзя. Ровно палую лошадь либо корову затащили. Барыни, которые поближе стояли, платочками рты-носы захватили, а барин на приказчика накинулся:

— Эт-та что? Надсмешки надо мной строишь?

Приказчик хвать рукой в кошелек, а там ничем-ничегошеньки, только дух того гуще пошел. Барин захватил

рот рукой да из комнаты. Остальные — кто куда. Один приказчик да Сочень остались. Сочень побелел весь, а приказчик от злости трясется:

— Ты это что? А? Откуда столь вони насобирал? Кто научил?

Сочень видит — дело плохо, давай рассказывать все начистоту. Ничего не утаил. Приказчик слушал-слушал, да и спрашивает:

— Награду,— говоришь,— сулила?

— Сулила,— вздохнул Сочень.

— От меня сулила?

— Так и сказала: наградит из своей руки да ещё из казны добавит.

— Получай тогда,— заревел приказчик да как двинет Сочня по зубам — чуть он угол башкой не прошиб.

— Это,— кричит,— тебе задаток. Награду на пожарной получишь. До веку ее не забудешь.

И верно. На другой день отсыпали Сочню столько, что на своих ногах донести не смог — на рогоже в лазарет стащили. Даже те, кому не раз случалось Сочня колачивать, пожалели маленько.

— Достукался, конторская нюхалка!

Только и приказчику не сладко поелось. В тот же день барин давай его допекать:

— Как ты смел такую штуку подстроить.

Приказчик, понятно, финти-винти:

— Не причастен этому делу. Старателишко меня подвел.

— А кто,— спрашивает,— этого старателишка ко мне допустил да еще с этаким кошельком?

Приказчику податься некуда, сознался:

— Моя оплошка.

— Вот и получи. По заслуге. Ступай-ко из приказчиков надзирателем на Крылатовско,— говорит барин да еще своим подручникам, кои при разговоре случились, объясняет:

— Пущай, дескать, на вольном воздухе пробыгается. И так-то от него дух тяжелый. Недаром козлом дразнят, а теперь и вовсе его видеть не могу. С души воротит, после вчерашнего-то.

На крылатовском тот приказчик и в доски ушел. После прежнего-то житья не сладко тоже пришлось.

Насмеялась, видно, и над ним Хозяйка.

ТРАВЯНАЯ ЗАПАДЕНКА

Это не при нашем заводе было, а на Сысертской половине. И не вовсе в давних годах. Мои-то старики уж в подлетках в заводе бегали. Кто на шаровке, кто на подсыпке, а то в слесарке, либо в кузне. Ну, мало ли куда малолеток при крепости загоняли.

Тогда этот разговор про травяную западенку и прошел.

Так, сказывают, дело-то было.

Турчаниновские наследники промотались и половину заводов продали барину Саломирскову. Тут у них неразбериха и пошла.

Продать продали, а деньги с завода Турчаниновым охота получать по-старому. Саломирсков опять, наоборот, говорит:

— Я главный хозяин — мне и получка вся! А вам — сколь выделю.

Спорили-спорили, сговорились нанять сообща главного приказчика. Пущай, дескать, хозяйствует, как умеет, а нам бы деньги выдавал, сколько кому по частям причтется.

Так-то, видно, им вольготнее показалось! Оно и то сказать: турчаниновски наследники сроду в заводском деле не мерекали, да и новый барин, видать, не мудренее достался. Он, сказывают, из каких-то царских ли, княжеских незаконных родов вышел. То ему и заводы купили и заслуг всяких надавали.

Завсегда будто в белых штанах в обтяжку ходил, а на шапке от бусой лошади хвост.

В этой-то одеже в кричну либо сварочную не пойдешь! Под домну и вовсе не суйся. Да новый барин об

этом и не скучал. По своему понятию другое ремесло придумал: жеребцов по кругу на веревке гонять.

У турчаниновских в ту пору барыня одна в головах ходила. Самая, сказать, умойная баба. Ей гору золота насыпь,— и от той пыли не оставит. Увидела эта барыня — Саломирсков жеребцами забавляется.

— Чем,— думает,— я хуже? Почище заведу!

И точно, цельный конский завод на Щербаковке поставила и тоже давай жеребцов гонять.

Главный приказчик у них из нездешних случился. Паном почто-то его в глаза звали.

Ну, этот пан сперва барам семячек подсыпал. Поманил, значит. Которое продаст, которое заложит, руду под самым заводом брать велел, уголь чуть не на улицах жгут. Глядишь — и наскребет деньжонок. Барам этого и надо. Разговорами себя тешат:

— Это по началу так-то. Дальше лучше пойдет.

Приказчик видит — уверились в него бары, взял да и жогнул их, сколь мог. Наглухо, сукин сын, заводы в долги посадил, весь народ обездолил, а сам шапочку надел, да и в сторону.

— Прощайте-ко! Век бы на ваших жеребчиков да кобылок глядел, да недосуг мне. Два поместья купил,— хозяевать надо.

Тут промеж бар чуть не драчишка случилась. Один другого винят, ни в чем сговориться не могут, суд завели. Вот тогда они и придумали с глупого-то ума у одних печей нарозно хозяйство вести. Одна половина одного приказчика поставила, другая — другого. И мелкое начальство эдак же. Один так велит, другой на свое поворачивает. Путали-путали народ, потом и народ поделили. Одни, значит, стали турчаниновски, други — саломирсковски. Однем словом, беспутица. А хуже всего это по земельному богатству пришлось.

Не о том забота, как бы найти да добыть, а как бы что новенькое другому хозяину не показать. Всяк про себя смекал:

— Присудят в мою пользу — тогда и буду добывать из нового места.

У барина Саломирскова на ту пору главным щегарем был Санко Масличко. Мужичонко плутяга, до всего донюхается, и в делах понимал. Для приисковых и руд-

нишных самый зловредный. А у турчаниновских щегарем был Яшка Зорко.

Этот вовсе зря на такое место угадал. Он, конечно, тоже смолоду по рудникам да приискам околачивался. Ну на смеху был.

Мужичище был бык-быком, а рожа у него ровно нарошно придумана. Как свекла краснехонька, а по ней волосешки белые кустичками. Ровно известкой наляпано по тем местам, где у людей волос растет. И по голове эти же кустики прошли. За это и звали его Облезлым.

По-доброму-то пустяк это. Мало ли у человека какой изъян случится. Только Яшка шибко перед народом гордился. Дескать, я — приказный, а ты кто еси? Ну, Яшку и не любили. Да он еще похвалялся перед руднишными.

— Меня,— кричит,— не проведешь. Сдалека всяку вашу плутню разгляжу!

Даром, что слепыш-слепышом. Еле мизюкал. Носом по чернилу водил, как писать случалось. Рудобои за эту похвальбу-то и стали звать его еще Зорком. Нет-нет — и поддернут:

— Наш Зорко, небось, рукавицу с шапкой не смешат. На аршин в землю видит.

Кто-то возьми да и дунь это слово барыне Турчаниновой в ухо. Та, известно, заполошная,— схватилась:

— Где такой объявился?

Ей сказали — в обмерщиках, дескать, на таком-то руднике.

Барыня призвала тут Яшку и спрашивает:

— Ты, верно, на аршин в землю видишь?

Яшке неохота перед барыней свою неустойку по глазам сказать, он и отвечает:

— Пониже наклонюсь, так всяк камешок разгляжу.

Барыня обрадовалась.

— Такого,— кричит,— мне и надо. Будешь главным щегарем на моей половине.

Яшке с малого-то ума это лестно.

— Рад,— отвечает,— стараться.

Барыня свое наказывает:

— Гляди, чтоб Саломирскову чего не донеслось, коли новое найдешь!

Яшка, понятно, хвостом завилял.

— Будьте в спокое! Будьте в спокое! Которое я открою, то ни единой саломирсковской собачонке не унюхать.

Таким случаем, значит, и стал Яшка главным щегарем на турчаниновской половине.

Сперва-то маленько побаивался. Нет-нет и притащит барыне мешочек с камешками с какого-нибудь старого рудника. Вот, дескать, какую штуку обыскал. Только у барыни один разговор:

— Гляди, как бы саломирсковски про это не узнали. Вот суд кончится, тогда и покажешь это место.

Ну, а суд когда кончится! Яшка видит,— спокойное дело,— вовсе осмелел. Покатывается на лошадке в седелышке по всей заводской даче — и все. Рожу наел — как не лопнет, а глаза все наприщур держит, будто надаля глядит. Какие знакомые руднишные встретятся, завсегда Яшке кукишку покажут, а сами наговаривают:

— Наше почтенье Яков Иванычу! Всю, поди, дачу вызнал,— эдак-то далеко глядишь!

Яшка, конечно, нос кверху. Пятнышки свои на губах погладит, да и говорит:

— Вкруте эко дело не поворотишь. Знаете, поди-ко, меня,— пустяком займоваться не стану!

Рудобои тут и примутся для смеху Яшке места сказывать:

— Поглядел бы ты по Габеевке. На пятой версте. Мне дедушко сказывал.

Другой опять на Березовый увал приметки говорит. Ну, разное. Кто куда придумает.

Яшка тоже, как вытный, порядок ведет. Вовсе будто к этому безо внимания, а сам, глядишь, и начнет поезживать по тем местам. Руднишным это и забавно.

Раз в таком-то разговоре один рудобой и говорит:

— Что всамделе, ребята, вы к Яков Иванычу с пустяком липнете. Ему богатство открыть все едино, что нам с вами плюнуть. Женится вот на вдове Шаврихе да укажет она ему мужеву ямку с малахитом,— только и всего. Будет тогда на нашей половине медный рудник, почище полевских Гумешек. Яковлевским его, поди, звать будут, а то, может, Зорковским? Как тебе больше глянется, Яков Иваныч?

Яшка, как ему в обычае, будто и не приметил разговору, а сам думает:

«Верно. Был слушок, что покойный Шаврин где-то ямку с малахитом имел. Может, и впрямь вдова про это знает».

Яшка, видишь, в годах был, а неженатый. Девки его обегали; он и ладил жениться на какой ни на есть вдове. К Шаврихе-то он шибко приглядывался. Совсем дело к свадьбе шло, да как раз барыня Яшку главным щегарем назначила. Ему и низко показалось на вдове из бедного житья жениться. Сразу дорожку в ту улицу забыл, где эта Шавриха жила. Года два, а то и больше не бывал, а тут, значит, и вспомнил. Стал на лошадке подъезжать. Дескать, знай наших! Не кто-нибудь, а главный щегарь!

У вдовы к той поре дочь Устя поспела. Самые ей те годы, как замуж отдают. Яшка слепыш-слепыш, а тоже разглядел эту деваху и давай удочки под этот бережок закидывать. Мать видит, какой поворот вышел,— не супорствует этому. Еще и радуется.

— Вишь, дескать, Усте счастье какое! Глядишь,— и я за Яков Иванычевой спиной в спокое проживу, никто тревожить не станет. Вон он какой начальник! Пешком-то и ходить забыл. Все на лошадке да на лошадке.

У Шаврихи тоже своя причинка была. Мужик-от у ней, покойная головушка, самостоятельного характеру был. Кремешок. Из-за этого, сказывают, и в доски ушел. Он, видишь, малахитом занимался, и слушок шел, будто свою ямку имел где-то вовсе близко от заводу. Ну, барские нюхалки и подкарауливали. Один раз чуть не поймали, да Шаврин ухитрился — в болоте отсиделся. Тут нездоровье и получил. А как умер, жену и стали теснить.

— Сказывай, где малахитова ямка!

Шавриха — женщина смирная, про мужевы дела, может, вовсе не знала — что она скажет? Говорит по совести, а на нее пуще того наступают:

— Сказывай, такая-сякая!

Пригрожали всяко, улещали тоже, в каталажку садили, плетями били. Однем словом, мытарили. Еле она отбилась. С той вот поры она и стала шибко бояться всяких барских ухачей.

Устя у той вдовы, как говорится, ни в мать, ни в отца издалась.

Ровно с утра до ночи девка в работе, одежонка у ней сиротская, а все с песней. Веселей этой девки по заводу нет. На гулянках первое запевало. Так ее и звали — Устя-Соловьишна. Плясать тоже — редкий ей в пару сгодится. И пошутить мастерица была, а насчет чего протчего — это не допускала. В строгости себя держала. Однем словом, живой цветик, утеха.

За такой девкой и при бедном житье женихи табунятся, а тут на-ко — выкатил млад ясен месяц на буланом мерине — Яшка Зорко Облезлый! Устенька, конечно, сразу хотела отворотить ему оглобли — насмех его подняла. Только Яшка на это шибко простой. Ему, как говорится, плюнь в глаза, а он утрется да скажет: божья роса.

Устюха все ж таки не унывает.

«Подожди,— думает,— устрою я тебе штуку. Другой раз не поманит ко мне ездить».

Узнала, когда Яшка будет, спровадила куда-то мать, нагнала полную избу подружек, да и пристроила около порогу веревку. Как Яшке в избу заходить, Устя натянула веревку, он и чебурахнулся носом в пол, аж посуда на середе забренчала. Подружки смеху до потолка подняли, а Яшку не проняло. Поднялся, да и говорит:

— Не обессудьте, девушки, не доглядел вашей шутки. Привык, вишь, на-даля глядеть, под ногами-то и не заметил.

Что вот с таким поделаешь?

Другой раз Устенька шиповых колючек под седло яшкину мерину насовала. Мерин хоть и вовсе смирный был, а тут сдичал — сбросил Яшку башкой на чьи-то ворота. Только Яшке хоть бы что.

Подружки Устины вовсе приуныли.

— Как ты, Устенька, отобьешься! Стыда у Яшки ни капельки, а башка — чугунная. Гляди-ка, чуть ворота не проломил, а хоть бы что.

И Устенька тоже пригорюнилась.

Тут парни забеспокоились, как бы девку из беды вызволить. Первым делом, конечно, подкараулили Яшку в тихом месте, да и отмутузили. Кулаков, понятно, не жалели. Только Яшка и тут отлежался, а народу большое беспокойство вышло.

Бары хоть друг дружке не на глаза, а при таком случае, небось, в одну дуду задудели.

— Немедля разыскать, кто смел приказного бить! Эдак-то разохотятся, так — чего доброго — и барам неспокойно будет!

Занюхтили барские собачонки с обеих сторон. Виноватых, конечно, не нашли, а многим, кто на заметке у начальства был, пришлось спину показывать. На саломирсковской стороне палками тогда хлестали, а на турчаниновской — плетью. Которое слаще, им бы самим отведать.

Много народу отхлестали, а одному чернявому парню,— забыл его прозванье,— так ему с обеих сторон насыпали. Виноватее всех почто-то оказался.

Зато Яшка вовсе нос задрал. Барыня, вишь, придумала, что на Яшку озлобились за работу на барскую руку. Ну, хвалит, понятно, потом спрашивает:

— Не надо ли тебе чего?

Яшка не будь плох и говорит:

— Жениться хочу. На девахе из вашего владения. Шаврихи-вдовы дочь — Устинья.

— Это можно.— И велела Шавриху позвать. Та прибежала, объясняет барыне: дескать, сама-то всей душой, да деваха супротивничает.

— Старый,— говорит,— да облезлый.

Барыня завизжала, заухала:

— Да как она смеет! Ее ли дело разбирать, кого в мужья дадут! Чтоб завтра же под венец!

По счастью, пост случился. По церковному правилу венчать нельзя. Осечка у барыни вышла. Призвала все ж таки попа и говорит:

— Как можно станет, сейчас же окрути эту девку! Без поблажки, смотри!

Наказала так-то и укатила в Щербаковку жеребцов гонять.

Пришла Шавриха домой, объявила Усте барынину волю, а Устя ничего.

— Ладно,— говорит.

Задушевные подружки прибежали, болезнуют:

— Приходится, видно, за облезлого выходить.

Устя и им отвечает:

— Что поделаешь! И с облезлыми люди живут.

Подивились подружки,— что с девкой сделалось! — убежали. Тут и сам женишок прикатил, а Устя его всяко привечает. Яшка и обрадовался:

«Поняла, знать, девка свое счастье. Теперь уж малахитовая яма моя будет».

Только подумал, Устюха и говорит ему навстречу:

— Спрашивают меня люди, не знаю ли про отцовскую малахитовую ямку, да я не сказываю.

Яшка башкой заболтал:

— Так и надо! Так и надо! Никому не сказывай! Мне только укажи!

— Тебе-то,— отвечает Устенька,— и подавно боюсь сказать. Еще откажешься тогда от меня. Засмеют меня люди.

Яшка заклялся-забожился:

— Никогда не откажусь! И барыня так велела. Разве можно против барынина приказу итти?

Устенька еще помялась маленько, да и говорит:

— Страшное это дело, Яков Иваныч! Как бы худа тебе не вышло.

Яшка расхрабрился.

— Никого не боюсь. Укажи место!

— То-то и есть,— отвечает Устенька,— что место, где богатство открывается, никому не известно. А могу я сказать, в которое время и где голос слушать.

— Какой,— спрашивает,— голос?

— А тот, который богатство-то указывает.

Тут Устенька и рассказала:

— Покойный тятенька так мне про это сказывал. Есть, дескать, близ Климинского рудника береза приметная. Всю ее губой-слезомойкой изъело, она и согнулась дугой. Только три прута здоровых остались, как три тычка по дуге поставлены.

Вот под этой березой надо стать ночью как раз в эту пору, когда травы наливаются. От Андрея Наливы до Иванова дня. В руках надо держать веник — банный опарыш и стоять крепко, не ворочаться, не оглядываться.

Тут и услышишь голос женский — песню поет. Потом этот голос тебя спросит, кто ты такой да зачем пришел. А как ты скажешь, полетят в тебя камни да песок, а голос опять спросит:

— Которое тебе надо?

Ты, как узнаешь на руку, что тебе надобно, так и кричи скорее:

— Вот это.

Голос тебе и укажет место. А там уже дело простое. Потяни в том месте за траву,— и откроется тебе западенка, как ход в гору, а там этого песку либо руды, сколь хочешь, хоть возами греби.

Только под березу надо пешком итти. На лошади поедешь — ничего не услышишь. И банный опарыш, смотри, из рук не выпускай! Да коли какой камешок в тебя угодит, потерпи как-нибудь, не закричи!

Выслушал Яшка этот разговор и в тот же день уехал березу искать. Нашел ловко. Все приметы сошлись.

Вечером взял Яшка мешок, спрятал в него банный опарыш, да и пошел на примеченное место.

Ночью в лесу, хоть и летом, одному без огонька скучненько. Ну, Яшка об этом не думал, спозаранку считал, сколько ему из богатства урвать достанется. Стоит, как пень,— не пошевельнется и банный опарыш в руках держит.

Как вовсе глухая ночь настала, слышит — голос женский запел. Тихонько и где-то совсем близко. Песня незнакомая. Яшка только и разобрал: «Милый друг, ясны глазыньки».

Потом голос спрашивает:

— Ты, молодец, кто такой будешь и зачем пришел?

Яшка назвал-звеличал себя, да и объясняет:

— Малахитовой руды доступить желаю.

— А ты,— спрашивает голос,— женатый али холостой?

— Холостой,— говорит Яшка.

— То-то! Женатым я не пособляю! — говорит голос. Потом опять спрашивает:

— Ты камнерез али рудобой?

— Я главный щегарь!

— Вон что! — вроде как удивилась та женщина.— Тебе, значит, всякой породы камни подойдут? Получай, нето, да выбирай, какой любее!

Тут посыпались в Яшку камни да песок. До того порно бьют, что едва на ногах Яшка держится, даром что мужик здоровенный. Не до того ему, чтобы породу выбирать, да и где такому в потемках на руку понять камень. Одна плитка садчее других пришлась. Яшка ухватил ее, да и кричит недоладом:

— Эта вот самая! Эта!

Тогда женщина и говорит:

— Ладно. Приходи завтра в это же время к Карасьей горе. Там скажу тебе, что надо.— И объяснила, в котором месте дожидаться. После этого голоса не стало.

Яшка постоял еще сколько-то, потом давай по земле руками шарить, камни подбирать. Полон мешок нагреб и поволок его домой, как светать стало. Еле доволок, даром что чуть не половина камней по дороге через дырки в мешке высыпалась. Яшка и не заметил. Говорит еще:

— Вишь, как утряслось!

Стал дома камни разглядывать. Разное оказалось. Котора руда железная, которое — просто галька. Ну, и малахит есть. Та плитка, которую Яшка сперва ухватил и за пазуху спрятал, тоже малахитовая оказалась. Да и малахит-то поделочный, самого высокого сорту.

Обрадовался Яшка, про синяки и раны свои сразу забыл.

«Как бы,— думает,— не сорвалось! Что это она про женатых говорила? Ладно ли, что я жениться собираюсь?»

Раздумывать Яшке все ж таки не время. Засветло надо сперва оглядеться, а Карасья гора не близкое место. Запрятал мешок с породой, поел, да и поехал. Того и не думает, что за ним подглядывают.

Утром-то, как Яшка под мешком кряхтел, его видели саломирсковски прислужники и камешок — один или два — подобрали. У собачонок, известно, завычка,— как бы друг дружку подкусить. Сейчас же, значит, эти камешки своему барину представили.

— Вот-де с чем турчаниновский щегарь по городской дороге шел, а наш щегарь куда глядит?

Барин, как ему втолковали, чем эти камешки пахнут, не хуже жеребца на дыбы поднялся. Своему-то щегарю Санку Масличку малахитиной в зубы:

— Погложи-ко!

Санко завертелся:

— Буду стараться.

У барина свой разговор:

— Три дня сроку! Коли не узнаешь, из-под палок не встанешь!

Тут Масличко и заповорачивался. Первым делом погнал по городской дороге,— не оставил ли Яшка еще следочка, а дружкам своим наказал:

— Глядите за Яшкой!

На городской дороге ничего не нашел. Приехал домой, дружки и сказывают — туда-то Яшка проехал. Масличко в ту же сторону кинулся, да и подкараулил Яшку, а тот сослепу и не приметил.

К вечеру Яшка опять захватил мешок с банным опарышем, да и зашагал к Карасьей горе, а Масличко за ним крадется.

Добрался Яшка до большого камня и тут остановился. Достал что-то из мешка, перед носом держит, а сам стоит, не пошевельнется. И Масличко недалеко от того места притаился.

Как ночь глухая наступила, близенько от Яшки на траве светлячок загорелся. За ним другой, третий, да и насыпало их. Как западенку на траве обвели, и кольцо посередке. Только-только поднять, а тут женский голос и спрашивает:

— Это у тебя, молодец, на что банный опарыш?

Яшка, видно, вкруте не смекнул, как ответить, да и ляпнул:

— Невеста мне так велела.

Женщина вроде как осердилась:

— Как ты смел тогда ко мне являться! Сказано тебе — женатым не пособляю, а женихам и подавно!

Яшка тут и давай изворачиваться:

— Не сердись, сделай милость! Подневольный человек — что поделаешь! Барыня это мне велела. Сам-то я только о том и думаю, как бы от этой невесты отбиться.

— Вот,— отвечает женщина,— сперва отбейся, тогда и ко мне приходи! Только не на это место, а на Полевскую дорогу. Знаешь Григорьевский рудник? Вот там найди такую же березу, под какой первый раз стоял. Под этой березой и будет тебе западенка. Поднимешь ее за траву и бери, сколько окажется.

Замолчала женщина. Яшка постоял еще, а как светать стало, побежал домой. Ну, а Масличко остался. Хотел, видно, при свете то место хорошенько оглядеть.

Прибежал Яшка домой. Схватил мешок с камнями да айда-ко к барыне, в Щербаковку. Рассказал ей, вот-

де штука какая выходит, и камни показал. Барыня, как поняла, сейчас завизжала!

— Не сметь у меня и заикаться о женитьбе! Надо о барской выгоде стараться, а не о пустяках думать! А попу да приказчику скажи, чтоб ту негодную девку обвенчали, как приказано. Пущай приказчик найдет ей жениха, да такого, чтоб хуже его не было!

Приехал Яшка домой, передал приказчику да попу барынин наказ насчет Устеньки, а сам ко Григорьевскому руднику побежал. До ночи искал березу — не мог найти. На другой день тоже. Так и пошло. Ходит около рудника с утра до вечера. Про то и думать забыл, что Иванов день давно прошел. Отстрадовали люди, к зиме дело пошло, а Яшка все около рудника топчется — кривую березу ищет. Березы реденько попадаются, да все прямые. Какая Яшке сослепу кривой покажется, под той он до ночи стоит, а ночью примется траву драть. Начисто кругом опашет. Нет, не открывается западенка.

Однем словом, ума решился. Вовсе дурак стал. Из-за жадности-то своей. Барыня, конечно, пробовала лечить Яшку плетями,— будто он богатство Саломирскову продал,— да тоже ничего не вышло. Так, сказывают, и замерз Яшка на Григорьевском руднике, под березой.

А Санка Масличка у Карасьей горы мертвого нашли. И стяжок березовый рядом оставлен. Стяжок ровно легонький, да рука, видать, тяжелая пришлась. Может, Масличко близко к месту подошел, али еще какая опаска от него вышла,— его, значит, и стукнули. А может, и за другое. Тоже ведь было за что.

Барин Саломирсков по этому случаю жалобу подал: «Турчаниновски моего главного щегаря убили и богатство спрятали». Турчаниновски опять наоборот: «Саломирсков нашего главного щегоря с ума свел и богатство украл». Потом, конечно, на каждой половине других щегарей назначили, а наказ им все тот же:

— Гляди у меня! Как бы другая половина чего не нашла!

Ну, те и давай стараться волчьим обычаем. Только о том и думают, как бы свой кусок ухранить, а чужой из зубов вырвать. Дорогие пески пустяком заваливают, в пустые пески золотом стреляют, породу где не надо подбрасывают и протча тако. Мало сказать, путают,— начисто нитки рвут.

Какому старателю посчастливит на новое место натакаться, того сейчас к приказчику волокут, а там один разговор:

— Зарой и забудь, а не то!.. Понял?

А как не поймешь, коли дело бывалое? Чуть кто заартачится, того с семьей на дальние прииска сгонят, а то и в солдаты сдадут, либо вовсе с концом в Сибирь упеткают. Ну, а кто не упирается,— тому стакан вина да рублевка серебра. Просто понять-то.

Так вот и зарывали да забывали. Иное, поди, и вовсе зарыли да забыли. И не найдешь!

Про травяную западенку все ж таки разговор не заглох. Нет-нет, да и пройдет.

Ягодницы либо еще кто видели... Вовсе на гладком покосном месте подъехал мужик на телеге. Потянул за траву, и открылась ему западенка. Спустился он в эту западенку и давай оттуда малахитовые камни таскать да на телегу складывать. Закрыл потом пологом и поехал потихоньку, и западенки не стало.

Насчет места только путают. Кто говорит — у городской дороги это было, где сперва малахитины-то нашли, кто — у Григорьевского рудника, где Зорко замерз. Другие опять сказывают, что у Карасьей горы, близко от того места, где Масличка нашли. Однем словом, путанка. Крепконько, видно, ту западенку травой затянуло...

А об Устеньке, что сказать? Ее, как Петровки прошли, замуж отдали. Приказчик вовсе и думать не стал, кого ей в мужья, сразу попу сказал:

— Виноватее такого-то у меня нет. Совсем от рук парень отбился. Кабы не хороший камнерез был, давно бы его под красную шапку поставил!

И указал попу на того чернявого парня, которого с двух-то сторон за Яшку хлестали.

Попу не все едино, с кого деньги сорвать? Обвенчал, как указано, да Устенька и не супротивничала. Веселенько замуж выходила и потом, слышно, не каялась. До старости не покинула девичьей своей привычки. Где по заводу песня завелась, так и знай — непременно тут Устя-Соловьишна.

С мужиком-то своим они складненько жили. Камнерез он у ней был, и ребята по этому же делу пошли. Нынешний сысертский малахитчик Железко из этой же

семьи. Устинье-то он не то внучком, не то правнучком приходится.

Кто вот слыхал про Соловьишну да Зорка, те и думают, что этот Железко про травяную западенку знает. Спрашивают у него: скажи, дескать, в котором месте? Только Железко — железко и есть: немного из него соку добудешь.

Подпоить сколько раз пробовали,— тоже не выходит. Железка-то, сказываю, поить, как песок поливать. Сами упарятся: ноги врозь, язык на губу, а Железко сухим-сухохонек да еще посмеивается:

— Не сказать ли вам, друзья, побасенку про травяную западенку? В каком месте ее искать, с которой стороны отворять, чтоб барам не видать?

Вот он какой — Устиньин-то внучек! Да и как его винить, коли у него дело такое. Ведь только обмолвись,— сейчас на том месте рудник разведут, а где камень на поделку брать? Железко, значит, и укрепился.

— Ищите сами!

Ну, найти не просто. Барским-то щегарям тут, видно, кто-то и с умом пособил следок запутать. С умом и разбирать надо. А по всему видать, есть она — травяная-то западенка. Берут из нее люди по малости. Берут.

Вот кому из вас случится по тем местам у земляного богатства ходить, вы это и посмекайте. А на мой глаз, ровно ниточки-то больше к Карасьей горе клонят. У этой горы да Карасьего озера и поглядеть бы! А? Как, по-вашему?

ТАЮТКИНО ЗЕРКАЛЬЦЕ

Был еще на руднике такой случай.

В одном забое пошла руда со шлифом. Отобьют кусок, а у него, глядишь, какой-нибудь уголышек гладехонек. Как зеркало блестит, глядись в него — кому любо.

Ну, рудобоям не до забавы. Всяк от стариков слыхал, что это примета вовсе худая.

— Пойдет такое — берегись! Это Хозяйка горы зеркало расколотила. Сердится. Без обвалу дело не пройдет.

Люди, понятно, и сторожатся, кто как может, а начальство в перву голову. Рудничный смотритель как услышал про эту штуку, сразу в ту сторону и ходить перестал, а своему подручному надзирателю наказывает:

— Распорядись подпереть проход двойным перекладом из лежаков да вели очистить до надежного потолка забой. Тогда сам погляжу.

Надзирателем на ту пору пришелся Ераско Поспешай. Егозливый такой старичонко. На глазах у начальства всегда рысью бегал. Чуть ему скажут, со всех ног кинется и бестолку народ полошит, как на пожар.

— Поспешай, робятушки, поспешай! Руднично дело тихого ходу не любит. Одна нога здесь, другая нога — там.

За суматошливость-то его Поспешаем и прозвали.

Только в этом деле и у Поспешая ноги заболели. В глазах свету не стало, норовит чужими поглядеть. Подзывает бергала-плотника, да и говорит:

— Сбегай-ко, Иван, огляди хорошенько да смекни, сколько бревен подтаскивать, и начинайте благословясь. Руднично дело, сам знаешь, мешкоты не любит, а у ме-

ня, как на грех, в боку колотье поднялось и поясница отнялась. Еле живой стою. К погоде, видно. Так вы уж без меня постарайтесь! Чтоб завтра к вечеру готово было!

Бергалу податься некуда — пошел, а тоже не торопится. Сколь ведь в руднике ни тошно, а в могилу до своего часу все же никому неохота. Ераско даже пригрозил:

— Поспешай, братец, поспешай! Не оглядывайся! Ленивых-то, сам знаешь, у нас хорошо на пожарной бодрят. Видал, поди?

Он — этот Ераско Поспешай — лисьей повадки человечишко. Говорил сладенько, а на деле самый зловредный был. Никто больше его народу под плети не подводил. Боялись его.

На другой день к вечеру поставили переклады. Крепь надежная, что говорить, только ведь гора! Бревном не удержишь, коли она осадку дает. Жамкнет, так стояки-бревна, как лучинки, хрустнут, и лежакам не вытерпеть: в блин их сдавит. Бывалое дело.

Ераско Поспешай все же осмелел маленько. Хоть пристанывает и на колотье в боку жалуется, а у перекладов ходит и забой оглядел. Видит — дело тут прямо смертное, плетями в тот забой не всякого загонишь. Вот Ераско и перебирает про себя, кого бы на это дело нарядить.

Под рукой у Ераска много народу ходило, только смирнее Гани Зари не было. На диво безответный мужик выдался. То ли его смолоду заколотили, то ли такой уродился,— никогда поперек слова не молвит. А как у него семейная беда приключилась, он и вовсе слова потерял. У Гани, видишь, жена зимним делом на пруду рубахи полоскала, да и соскользнула под лед. Вытащить ее вытащили и отводились, да, видно, застудилась и к весне свечкой стаяла. Оставила Гане сына да дочку. Как говорится, красных деток на черное житье.

Сынишко не зажился на свете, вскорости за матерью в землю ушел, а девчоночка ничего,— востроглазенькая да здоровенькая, Таюткой звали. Годов четырех она от матери осталась, а в своей ровне уж на примете была,— на всякие игры первая выдумщица. Не раз и доставалось ей за это.

Поссорятся девчонки на игре, разревутся, да и бегут к матерям жаловаться.

— Это все Тайка Заря придумала!

Матери, известно, своих всегда пожалеют да приголубят, а Таютке грозят:

— Ах она, вострошарая! Поймаем вот ее да вицей! Еще отцу скажем! Узнает тогда, в котором месте заря с зарей сходится. Узнает!

Таютка, понятно, отца не боялась. Чуяла, поди-ко, что она ему, как порошинка в глазу,— только об ней и думал. Придет с рудника домой, одна ему услада — на забавницу свою полюбоваться да послушать, как она лепечет о том, о другом. А у Таютки повадки не было, чтобы на обиды свои жаловаться, о веселом больше помнила.

Ганя с покойной женой дружно жил, жениться второй раз ему неохота, а надо. Без женщины в доме с малым ребенком, конечно, трудно. Иной раз Ганя и надумает — беспременно женюсь, а как послушает Таютку, так и мысли врозь.

— Вот она у меня какая забавуха растет, а мачеха придет — все веселье погасит.

Так без жены и маялся. Хлеб стряпать соседям отдавал и варево, какое случалось, в тех же печах ставили. Пойдет на работу, непременно соседским старухам накажет:

— Доглядите вы, сделайте милость, за моей-то.

Те понятно:

— Ладно, ладно. Не беспокойся!

Уйдет на рудник, а они и не подумают. У всякой ведь дела хоть отбавляй. За своими внучатами доглядеть не успевают, про чужую и подавно не вспомнят.

Хуже всего зимой приходилось. Избушка, видишь, худенькая, теплуху подтапливать надо. Не малой же девчонке это дело доверить. Старухи вовремя не заглянут. Таютка и мерзнет до вечера, пока отец с рудника не придет да печь не натопит. Вот Ганя и придумал:

— Стану брать Таютку с собой. В шахте у нас тепло. И на глазах будет. Хоть сухой кусок, да вовремя съест.

Так и стал делать. А чтобы от начальства привязки не было, что, дескать, женскому полу в шахту спускаться нельзя, он стал обряжать Таютку парнишком. Наде-

нет на нее братнюю одежонку, да и ведет с собой. Рудобои, которые по суседству жили, знали, понятно, что у Гани не парнишко, а девчонка, да им-то что. Видят,— по горькой нужде мужик с собой ребенка в рудник таскает, жалеют его и Таютку позабавить стараются. Известно, ребенок! Всякому охота, чтоб ему повеселее было. Берегут ее в шахте, потешают, кто как умеет. То на порожней тачке подвезут, то камешков узорчатых подкинут. Кто опять ухватит на руки, подымет выше головы, да и наговаривает:

— Ну-ко, снизу погляжу, сколь Натал Гаврилыч руды себе в нос набил. Не пора ли каелкой выворачивать?

Подшучивали, значит. И прозвище ей дали — Натал Гаврилыч.

Как видят, сейчас разговор:

— А, Натал Гаврилыч!

— Как житьишком, Натал Гаврилыч?

— Отцу пособлять пришел, Натал Гаврилыч? Дело, друг, дело. Давно пора, а то где же ему одному управиться.

Не каждый, конечно, раз таскал Ганя Таютку с собой, а все-таки частенько. Она и сама к тому привыкла, чуть не всех рудобоев, с которыми отцу приходилось близко стоять, знала.

Вот на этого-то Ганю Ераско и нацелился. С вечера говорит ему ласковенько:

— Ты, Ганя, утре ступай-ко к новым перекладам. Очисти там забой до надежного потолка!

Ганя и тут отговариваться не стал, а как пошел домой, заподумывал, что с Таюткой будет, коли гора его не пощадит.

Пришел домой,— у Таютки нос от реву припух, ручонки расцарапаны, под глазом синяк и платьишко все порвано. Кто-то, видно, пообидел. Про обиду свою Таютка все-таки сказывать не стала, а только сразу запросилась:

— Возьми меня, тятя, завтра на рудник с собой.

У Гани руки задрожали, а сам подумал:

«Верно, не лучше ли ее с собой взять. Какое ее житье, коли живым не выйду!»

Прибрал он свою девчушку, сходил к соседям за похлебкой, поужинали, и Таютка сейчас же свернулась на скамеечке, а сама наказывает:

— Тятя, смотри, не забудь меня разбудить! С тобой пойду.

Уснула Таютка, а отцу, конечно, не до этого. До свету просидел, всю свою жизнь в голове перевел, в конце концов решил:

— Возьму! Коли погибнуть доведется, так вместе.

Утром разбудил Таютку, обрядил ее по обычаю парнишком, поели маленько и пошли на рудник.

Только видит Таютка, что-то не так: знакомые дяденьки как незнакомые стали. На кого она поглядит, тот и глаза отведет, будто не видит. И Натал Гаврилычем никто ее не зовет. Как осердились все. Один рудобой заворчал на Ганю:

— Ты бы, Гаврило, этого не выдумывал — ребенка с собой таскать. Не ровен час,— какой случай выйдет.

Потом парень-одиночка подошел. Сам сбычился, в землю глядит и говорит тихонько:

— Давай, дядя Гаврило, поменяемся. Ты с Таюткой на мое место ступай, а я на твое.

Тут другие зашумели:

— Чего там! По жеребьевке надо! Давай Поспешая! Пущай жеребьевку делает, коли такое дело!

Только Поспешая нет и нет. Рассылка от него прибежал: велел, дескать, спускаться, его не дожидаючись. Хворь приключилась, с постели подняться не может.

Хотели без Поспешая жеребьевку провести, да один старичок ввязался. Он — этот старичонко — на доброй славе ходил. Бывальцем считали и всегда по отчеству звали, только как он низенького росту был, так маленько с шуткой — Полукарпыч.

Этот Полукарпыч мысли и повернул.

— Постойте-ко,— говорит,— постойте! Что зря горячиться! Может, Ганя умнее нашего придумал. Хозяйка горы наверняка его с дитей-то помилует. Податная на это,— будьте покойны! Гляди, еще девчонку к себе в гости сводит. Помяните мое слово.

Этим разговором Полукарпыч и погасил у людей стыд. Всяк подумал: «На что лучше, коли без меня обойдется», и стали поскорее расходиться по своим местам.

Таютка не поняла, конечно, о чем спор был, а про Хозяйку приметила. И то ей диво, что в шахте все по-

другому стало. Раньше, случалось, всегда на людях была, кругом огоньки мелькали, и людей видно. Кто руду бьет, кто нагребает, кто на тачках возит. А на этот раз все куда-то разошлись, а они с отцом по пустому месту вдвоем шагают, да еще Полукарпыч увязался за ними же.

— Мне,— говорит,— в той же стороне работа, провожу до места.— Шли-шли, Таютке тоскливо стало, она и давай спрашивать отца:

— Тятя, мы куда пошли? К Хозяйке в гости?

Гаврило вздохнул и говорит:

— Как придется. Может, и попадем.

Таютка опять:

— Она далеко живет?

Гаврило, конечно, молчит, не знает, что сказать, а Полукарпыч и говорит:

— В горе-то у ней во всяком месте дверки есть, да только нам не видно.

— А она сердитая? — спрашивает опять Таютка, а Полукарпыч и давай тут насказывать про Хозяйку, ровно он ей родня либо свойственник. И такая, и сякая, немазаная-сухая. Платье зеленое, коса черная, в одной руке каелка махонькая, в другой цветок. И горит этот цветок, как хорошая охапка смолья, а дыму нет. Кто Хозяйке поглянется, тому она этот цветок и отдаст, а у самой сейчас же в руке другой появится.

Таютке это любопытно. Она и говорит:

— Вот бы мне такой цветочек!

Старичонко и на это согласен:

— А что ты думаешь? Может, и отдаст, коли пугаться да реветь не будешь. Очень даже просто.

Так и заговорил ребенка. Таютка только о том и думает, как бы поскорее Хозяйку поглядеть да цветочек получить. Говорит старику-то:

— Дедо, я ни за что, ну вот, ни за что не испугаюсь и реветь не буду.

Вот пришли к новым перекладам. Видно, крепь надежная поставлена, и смолье тут наготовлено. Ганя со стариком занялись смолье разжигать. Дело, видишь, такое — осветиться хорошенько надо, одних блендочек мало, а огонь развести в таком месте тоже без оглядки нельзя.

Пока они тут место подходящее для огнища устроили да с разжогом возились, Таютка стоит да оглядывает кругом, нет ли тут дверки, чтоб к Хозяйке горы в гости пойти.

Глазенки, известно, молодые, вострые. Таютка и углядела ими — в одном месте, невысоко от земли, вроде ямки кругленькой, а в ямке что-то блестит. Таютка, не того слова, подобралась к тому месту, да и поглядела в ямку, а ничего нет. Тогда она давай пальчишком щупать. Чует — гладко, а края отстают, как старая замазка. Таютка и давай то место расколупывать, дескать, пошире ямку сделаю. Живо очистила место с банное окошечко да тут и заревела во всю голову:

— Тятя, дедо! Большой парень из горы царапается!

Гаврило со стариком подбежали, видят — как зеркало в породу вдавлено, шатром глядит и до того человека большим кажет, что и признать нельзя. Сперва-то они и сами испугались, потом поняли, и старик стал над Таюткой подсмеиваться:

— Наш Натал Гаврилыч себя не признал! Гляди-ко,— я нисколь не боюсь того вон старика, даром что он такой большой. Что хошь заставлю его сделать. Потяну за нос — он себя потянет, дерну за бороду — он тоже. Гляди: я высунул язык, и он свой ротище раззявил и язык выкатил! Как бревно!

Таютка поглядела из-за дедушкина плеча. Точно — это он и есть, только сильно большой. Забавно ей показалось, как дедушка дразнится. Сама вперед высунулась и тоже давай всяки штуки строить.

Скоро ей охота стала на свои ноги посмотреть, пониже, значит, зеркало спустить. Она и начала с нижнего конца руду отколупывать. Отец с Полукарпычем глядят — руда под таюткиными ручонками так книзу и поползла, мелкими камешками под ноги сыплется. Испугались: думали — обвал. Ганя подхватил Таютку на руки, отбежал подальше, да и говорит:

— Посиди тут. Мы с дедушкой место очистим. Тогда тебя позовем. Без зову, смотри, не ходи — осержусь!

Таютке горько показалось, что не дали перед зеркалом позабавиться. Накуксилась маленько, губенки надула, а не заревела. Знала, поди-ко, что большим на ра-

боте мешать нельзя. Сидит, нахохлилась да от скуки перебирает камешки, какие под руку пришлись. Тут и попался ей один занятный. Величиной с ладошку. Исподка у него руда-рудой, а повернешь — там вроде маленькой чашечки, либо блюдца. Гладко-гладко выкатано и блестит, а на закрайках как листочки прилипли. А пуще того занятно, что из этой чашечки на Таютку тот же большой парень глядит. Таютка и занялась этой игрушкой.

А тем временем отец со стариком в забое старались. Сперва-то сторожились, а потом на-машок у них работа пошла. Подведут каелки от гладкого места, да и отворачивают породу, а она сыплется мелким куском. Верхушка только потруднее пришлась... Высоко, да и боязно, как бы порода большими кусками не посыпалась. Старик велел Гане у забоя стоять, чтоб Таютка на ту пору не подошла, а сам взмостился на чурбаках и живой рукой верх очистил. И вышло у них в забое, как большая чаша внаклон поставлена, а кругом порода узором легла и до того крепкая, что каелка ее не берет.

Старик, для верности, и по самой чаше не раз каелкой стукал. Сперва по низу да с оглядкой, а потом начал базгать со всего плеча да еще приговаривает:

— Дай-ка хвачу по носу старика — пусть на меня не замахивается!

Хлестал-хлестал, чаша гудит, как литая медь, а от каелки даже малой чатинки не остается. Тут оба уверились — крепко. Побежал отец за Таюткой. Она пришла, поглядела и говорит:

— У меня такое есть! — и показывает свой камешок.

Большие видят,— верно, на камешке чаша и весь ободок из точки в точку. Ну, все как есть — только маленькое. Старик тут и говорит:

— Это, Таютка, тебе Хозяйка горы, может, на забаву, а может, и на счастье дала.

— Нет, дедо, я сама нашла.

Гаврило тоже посомневался:

— Мало ли какой случай бывает.

На спор у них дело пошло. Стали в том месте, где Таютка сидела, все камешки перебирать. Даже сходства не обозначилось. Тогда старик и говорит:

— Вот видите, какой камешок! Другого такого в жизнь не найти! Береги его, Таютка, и никому не показывай, а то узнает начальство — отберут.

Таютка от таких слов голосом закричала:

— Не отдам! Никому не отдам!

А сама поскорее камешок за пазуху и ручонкой прижала,— дескать, так-то надежнее.

К вечеру по руднику слух прошел:

— Обошлось у Гани по-хорошему. Вдвоем с Поликарпычем они гору руды набили да еще зеркало вырыли. Цельное, без единой чатинки, и ободок узорчатый.

Всякому, конечно, любопытно. Как к подъему объявили, народ и кинулся сперва поглядеть. Прибежали, видят — верно, над забоем зеркало наклонилось, и кругом из породы явственно рама обозначилась, как руками высечена. Зеркало не доской, а чашей: в середине поглубже, а по краям на-нет сошло. Кто поближе подойдет, тот и шарахнется сперва, а потом засмеется. Зеркало-то, видишь, человека вовсе несообразно кажет. Нос с большой угор, волос на усах, как дрова разбросали. Даже глядеть страшно, и смешно тоже. Народу тут и набилось густо. Старики, понятно, оговаривают: не до смеху, дескать, тут, дело вовсе сурьезное. А молодых разве угомонишь, коли на них смех напал. Шум подняли, друг над дружкой подшучивают. Таютку кто-то подтащил к самому зеркалу, да и кричит:

— Это вот тот большой парень зеркало открыл!

Другие отзываются:

— И впрямь так! Не будь Таютки, не смеяться бы тут. Таюткино зеркало и есть!

А Таютка помалкивает да ручонкой крепче свое маленькое зеркальце прижимает.

Ераско Поспешай, конечно, тоже услышал про этот случай — сразу выздоровел, спустился в шахту и пошел к ганиному забою. Вперед шел, так еще про хворь помнил, а как оглядел место да увидел, что народ не боится, сразу рысью забегал и закричал своим обычаем:

— Поспешай, ребятушки, к подъему! Не до ночи вас ждать! Руднично дело мешкоты не любит. Эка невидаль — гладкое место в забое пришлось!

А сам, по собачьему положению, другое смекает:

— Рудничному смотрителю не скажу, а побегу к приказчику. Обскажу ему, как моим распорядком в забое такую диковину отрыли. Тогда мне, а не смотрителю награда будет.

Прибежал к приказчику, а смотритель уж там сидит да еще над Ераском насмехается:

— Вон что! Выздоровел, Ерастушко! А я думал, тебе и не поглядеть, какую штуку без тебя на руднике откопали.

Ераско завертелся: дескать, за этим и бежал, чтоб тебе сказать.

А смотритель, знай, подзуживает:

— Худые, гляжу, у тебя ноги стали. За всяким делом самому глядеть доводится.

Ераску с горя не лук же тереть. Он думал-думал и придумал:

«Напишу-ко я грамотку заграничной барыне. Тогда еще поглядим, куда дело повернется».

Ну, и написал. Так, мол, и так, стараньем надзирателя такого-то отрыли в руднике диковинное зеркало. Не иначе самой Хозяйки горы. Не желаете ли поглядеть?

Ераско это с хитростью подвел. Он так понял. Приказчик непременно барину о таком случае доведет, только это ни к чему будет. Барин на ту пору из таких случился, что ни до чего ему дела не было, одно требовал — давай денег больше! А жена у этого барина из заграничных земель была.

У бар, известно, заведено было по всяким заграницам таскаться. Сысертский барин это же придумал:

«Чем, дескать, я хуже других заводчиков. Поеду — людей посмотрю, себя покажу».

Ну, поездил у теплых морей, поразбросал рублей, и домой его потянуло.

Только дорога-то шла через немецки земли, а там, видишь, на это дело, чтоб к чужим деньгам подобраться, нашлись больно смекалистые.

Видят — барин ума малого, а деньгами ворочает большими, они и давай его обхаживать. Вызнали, что он холостой, и пристроились на живца ловить. Подставили, значит, ему немку посытее да повиднее,— из таких все ж таки, коих свои немецкие женихи браковали, и вперебой стали ту немку нахваливать:

— Вот невеста, так невеста! По всем землям объезди, такой не сыщешь. Домой привезешь, у соседей в глазах зарябит.

Барин всю эту подлость за правду принял, взял да и женился на той немке. И то ему лестно показалось, что невеста перед свадьбой только о том и говорила, как будет ей хорошо на новом месте жить. Ну, а как обзаконились да подписал барин бумажки, какие ему подсунули, так и поворот этому разговору. Молодая жена сразу объявила:

— Неохота мне что-то, мил любезный друг, на край света забираться. Тут привычнее, да и тебе для здоровья полезно.

Барин, понятно, закипятился:

— Как так? Почему до свадьбы другое говорила? Где твоя совесть?

А немка, знай, посмеивается.

— По нашим,— говорит,— обычаям невесте совести не полагается. С совестью-то век в девках просидишь, а это невесело.

Барин горячится, корит жену всякими словами, а ей хоть бы что. Свое твердит:

— Надо было перед свадьбой уговор подписать, а теперь и разговаривать не к чему. Коли тебе надобно, поезжай в свои места один. Сколь хочешь там живи, хоть и вовсе сюда не ворочайся, скучать не стану. Мне бы только деньги посылал вовремя. А не будешь посылать — судом взыщу, потому — законом обязан ты жену содержать, да и подпись твоя на это у меня имеется.

Что делать? Одному домой ехать барин поопасался: насмех, дескать, поднимут,— он и остался в немецкой земле. Долгонько там жил, всю заводскую выручку немцам просаживал. Потом, видно, начетисто показалось али другая какая причина вышла, привез-таки свою немку в Сысерть и говорит:

— Сиди тут.

Ну, ей тоскливо, она и вытворяла, что только удумает. На Азов-горе вон теперь дом с вышкой стоит, а до него там, сказывают, и не разберешь, что было нагорожено: не то монастырь, не то мельница. И называлась эта строянка Раззор. Этот Раззор при той заграничной барыне и поставлен был. Приедет будто туда с целой

оравой, да и гарцуют недели две. Народу от этой барской гулянки не сладко приходилось. То овечек да телят затравят, то кострами палы по лесу пустят. Им забава, а народу маята. За счастье считали, коли в какое лето барыня в наши края не приедет.

Ераску, понятно, до этого дела нет, ему бы свою выгоду не упустить, он и послал грамотку с нарочным. И не ошибся, подлая душа. На другой же день на семи ли, восьми тройках приехала барыня со своей оравой и первым делом потребовала к себе Ераска.

— Показывай, какое зеркало нашел!

Приказчик, смотритель и другое начальство прибежали. Узнали дело, отговаривают: никак невозможно женщине в шахту. Только сговорить не могут. Заладила свое:

— Пойду и пойду!

Тут еще баринок из заграничных бодрится. При ней был. За брата или там за какую родню выдавала и завсегда с собой возила. Этот с грехом пополам балакает:

— Мы, дескать, с ней в заграничной шахте бывали, а это что! — Делать нечего, стали их спускать. Начальство все в беспокойстве, один Ераско радуется, рысит перед барыней, в две блендочки ей светит. Довел-таки до места. Оглядела барыня зеркало. Тоже посмеялась с заграничным баринком, какими оно людей показывает, потом барыня и говорит Ераску:

— Ты мне это зеркало целиком вырежь да в Развор доставь!

Ераско давай ей втолковывать, что сделать это никак нельзя, а барыня свое:

— Хочу, чтоб это зеркало у меня стояло, потому как я хозяйка этой горы!

Только проговорила, вдруг из зеркала рудой плюнуло. Барыня завизжала и без памяти повалилась.

Суматоха поднялась. Начальство подхватило барыню да поскорее к выходу. Один Ераско в забое остался. Его, видишь, тем плевком с ног сбило и до половины мелкой рудой засыпало. Вытащить его вытащили, да только ноги ему по-настоящему отшибло, больше не поспешал и народ зря не полошил.

Заграничная барыня жива осталась, только с той поры все дураков рожала. И не то что недоумков каких,

а полных дураков, кои ложку в ухо несут и никак их ничему не научишь.

Заграничному баринку, который хвалился: мы да мы, самый наконешничок носу сшибло. Как ножом срезало, ноздри на волю глядеть стали — не задавайся, не мыкай до времени!

А зеркала в горе не стало: все осыпалось.

Зато у Таютки зеркальце сохранилось. Большого счастья оно не принесло, а все-таки свою жизнь она не хуже других прожила. Зеркальце-то, сказывают, своей внучке передала. И сейчас будто оно хранится, только неизвестно у кого.

КОШАЧЬИ УШИ

В те годы Верхнего да Ильинского заводов в помине не было. Только наша Полевая да Сысерть. Ну, в Северной тоже железком побрякивали. Так, самую малость. Сысерть-то светлее всех жила. Она, вишь, на дороге пришлась в казачью сторону. Народ туда-сюда проходил да проезжал. Сами на пристань под Ревду с железом ездили. Мало ли в дороге с кем встретишься, чего наслушаешься. И деревень кругом много.

У нас в Полевой против сысертского-то житья вовсе глухо было. Железа в ту пору мало делали, больше медь плавили. А ее караваном к пристани-то возили. Не так вольготно было народу в дороге с тем, с другим поговорить, спросить. Под караулом-то попробуй! И деревень в нашей стороне — один Косой Брод. Кругом лес да горы, да болота. Прямо сказать,— в яме наши старики сидели, ничего не видели. Барину, понятное дело, того и надо.

Спокойно тут, а в Сысерти поглядывать приходилось.

Туда он и перебрался. Сысерть главный у него завод стал. Нашим старикам только стражи прибавил да настрого наказал прислужникам:

— Глядите, чтобы народ со стороны не шлялся, и своих покрепче держите.

А какой тут пришлый народ, коли вовсе на усторонье наш завод стоит. В Сысерть дорогу прорубили, конечно, только она в те годы, сказывают, шибко худая была. По болотам пришлась. Слани верстами. Заневолю брюхо заболит, коли по жерднику протрясет. Да и мало тогда ездили по этой дороге. Не то, что в но-

нешнее время — взад да вперед. Только барские прислужники да стража и ездили. Эти верхами больше,— им и горюшка мало, что дорога худая. Сам барин в Полевую только на полозу ездил. Как санная дорога установится, он и давай наверстывать, что летом пропустил. И все норовил нежданно-негаданно налететь. Уедет примерно вечером, а к обеду на другой день уж опять в Полевой. Видно, подловить-то ему кого-нибудь охота была. Так все и знали, что зимой барина на каждый час жди. Зато по колесной дороге вовсе не ездил. Не любо ему по сланям-то трястись, а верхом, видно, неспособно. В годах, сказывают, был. Какой уж верховой! Народу до зимы-то и полегче было. Сколь ведь приказчик ни лютует, а барин приедет,— еще вину выищет.

Только вот приехал барин по самой осенней распутице. Приехал не к заводу либо к руднику, как ему привычно было, а к приказчику. Из конторы сейчас же туда всех приказных потребовал и попов тоже. До вечера приказные пробыли, а на другой день барин уехал в Северну. Оттуда в тот же день в город поволокся. По самой-то грязи приспичило ему. И обережных с ним что-то вовсе много. В народе и пошел разговор: «Что за штука? Как бы дознаться?»

По теперешним временам это просто — взял да сбегал либо съездил в Сысерть, а при крепости как? Заделье надо найти, да и то не отпустят. И тайком тоже не уйдешь,— все люди на счету, в руке зажаты. Ну, все ж таки выискался один парень.

— Я,— говорит,— вечером в субботу, как из горы поднимут, в Сысерть убегу, а в воскресенье вечером прибегу. Знакомцы там у меня. Живо все разузнаю.

Ушел, да и не воротился. Мало погодя приказчику сказали, а он и ухом не повел искать парня-то. Тут и вовсе любопытно стало,— что творится? Еще двое ушли, и тоже с концом.

В заводе только то и нового, что по три раза на дню стала стража по домам ходить, мужиков считать,— все ли дома. В лес кому понадобится за дровами либо за сеном на покос,— тоже спросись. Отпускать стали грудками и со стражей.

— Нельзя, — говорит приказчик, — поодиночке-то. Вон уж трое сбежали.

И семейным в лес ходу не стало. На дорогах заставы приказчик поставил. А стража у него наподбор — ни от одного толку не добьешься. Тут уж, как в рот положено стало, что в Сысертской стороне что-то деется, и шибко им — барским-то приставникам — не по ноздре. Зашептались люди в заводе и на руднике.

— Что хочешь, а узнать надо.

Одна девчонка из руднишных и говорит:

— Давайте, дяденьки, я схожу. Баб-то ведь не считают по домам. К нам вон с бабушкой вовсе не заходят. Знают, что в нашей избе мужика нет. Может, и в Сысерти эдак же. Способнее мне узнать-то.

Девчонка бойконькая... Ну, руднишная, бывалая... Все ж таки мужикам это не в обычае.

— Как ты,— говорят,— птаха Дуняха, одна по лесу сорок верст пройдешь? Осень ведь — волков полно. Костей не оставят.

— В воскресенье днем,— говорит,— убегу. Днем-то, поди, не посмеют волки на дорогу выбежать. Ну, и топор на случай возьму.

— В Сысерти-то,— спрашивают,— знаешь кого?

— Баб-то,— отвечает,— мало ли. Через них и узнаю, что надо.

Иные из мужиков сомневаются:

— Что баба знает?

— То,— отвечает,— и знает, что мужику ведомо, а когда и больше.

Поспорили маленько мужики, потом и говорят:

— Верно, птаха Дуняха, тебе сподручнее итти, да только стыд нам одну девку на экое дело послать. Загрызут тебя волки.

Тут парень и подбежал. Узнал, о чем разговор, да и говорит:

— Я с ней пойду.

Дуняха скраснела маленько, а отпираться не стала.

— Вдвоем-то, конечно, веселее, да только как бы тебя в Сысерти не поймали.

— Не поймают,— отвечает.

Вот и ушли Дуняха с тем парнем. Из завода не по дороге, конечно, выбрались, а задворками, потом тоже лесом шли, чтобы их с дороги не видно было. Дошли так спокойно до Косого Броду. Глядят — на мосту трое

стоят. По всему видать — караул. Чусовая еще не замерзла, и вплавь ее где-нибудь повыше либо пониже тоже не возьмешь — холодно. Поглядела из лесочка Дуняха и говорит:

— Нет, видно, мил дружок Матюша, не приводится тебе со мной итти. Зря тут себя загубишь и меня подведешь. Ступай-ко скорее домой, пока тебя начальство не хватилось, а я одна попытаюсь на женскую хитрость пройти.

Матюха, конечно, ее уговаривать стал, а она на своем уперлась. Поспорили да на том и решили. Будет он из лесочка глядеть. Коли не остановят ее на мосту — домой пойдет, а остановят — выбежит, отбивать станет. Подобралась тут Дуняха поближе, спрятала покрепче топор, да и выбежала из лесу. Прямо на мужиков бежит, а сама визжит-кричит:

— Ой, дяденьки, волк! Ой, волк!

Мужики видят — женщина испугалась,— смеются. Один-то ногу еще ей подставил, только, видать, Дуняха в оба глядела, пролетела мимо, а сама все кричит:

— Ой, волк! Ой, волк!

Мужики ей вдогонку:

— За подол схватил! За подол схватил! Беги — не стой!

Поглядел Матюха и говорит:

— Пролетела птаха! Вот девка! Сама не пропадет и дружка не подведет! Дальше-то влеготку пройдет сторонкой. Как бы только не припозднилась, волков не дождалась!

Воротился Матвей домой до обхода. Все у него и обошлось гладко — не заметили. На другой день руднишным рассказал. Тогда и поняли, что тех — первых-то — в Косом Броду захватили.

— Там, поди, сидят запертые да еще в цепях. То приказчик их и не ищет,— знает, видно, где они. Как бы туда же наша птаха не попалась, как обратно пойдет!

Поговорили так, разошлись. А Дуняха что? Спокойно сторонкой по лесу до Сысерти дошла. Раз только и видела на дороге полевских стражников. Домой из Сысерти ехали. Прихоронилась она, а как разминовались, опять вышла. Притомилась, конечно, а на свету еще успела до Сысерти добраться. На дороге тоже стража ока-

залась, да только обойти-то ее тут вовсе просто было. Свернула в лес и вышла на огороды, а там близко колодец оказался. Тут женщины были, Дуняху и незаметно на людях стало. Одна старушка спросила ее:

— Ты чья же, девушка, будешь? Ровно не из нашего конца?

Дуняха и доверилась этой старушке.

— Полевская,— говорит.

Старушка дивится:

— Как ты это прошла? Стража ведь везде наставлена. Мужики не могут к вашим-то попасть. Который уйдет — того и потеряют.

Дуняха ей сказала.

Тогда старушка и говорит:

— Пойдем-ко, девонька, ко мне. Одна живу. Ко мне и с обыском не ходят. А прийдут — так скажешься моей зареченской внучкой. Походит она на тебя. Только ты будто покорпуснее будешь. Зовут-то как?

— Дуняхой,— говорит.

— Вот и ладно. Мою-то тоже Дуней звать.

У этой старушки Дуняха и узнала все. Барин, оказывается, куда-то вовсе далеко убежал, а нарочные от него и к нему каждую неделю ездят.

Всё какие-то наставления барин посылает, и приказчик Ванька Шварев те наставления народу вычитывает. Железный завод вовсе прикрыт, а мужики на Щелкунской дороге канавы глубоченные копают да валы насыпают. Ждут с той стороны прихода. Говорят — башкирцы бунтуются, а на деле вовсе не то. По дальним заводам, по деревням и в казаках народ поднялся, и башкиры с ними же. Заводчиков да бар за горло берут, и главный начальник у народа Омельян Иваныч прозывается. Кто говорит — он царь, кто — из простых людей, только народу от него воля, а заводчикам да барам — смерть! То наш-то хитряга и убежал подальше. Испугался!

Узнала, что в Сысерти тоже обход по домам и работам мужиков проверяет по три раза в день. Только у них еще ровно строже. Чуть кого не случится, сейчас всех семейных в цепи да и в каталажку. Человек прибежит:

— Тут я,— по работе опоздал маленько!

А ему отвечают:

— Вперед не опаздывай! — да и держат семейных-то дня два либо три.

Вовсе замордовали народ, а приказчик хуже цепной собаки.

Все ж таки, как вечерний обход прошел, сбежались к той старушке мужики. Давай Дуняху расспрашивать, что да как у них. Рассказала Дуняха.

— А мы,— говорят,— сколько человек к вашим отправляли — ни один не воротился.

— То же,— отвечает,— и у нас. Кто ушел — того и потеряли! Видно, на Чусовой их всех перехватывают.

Поговорили-поговорили, потом стали о том думать, как Дуняхе в Полевую воротиться. Наверняка ее в Косом Броду поджидают, а как мимо пройдешь?

Один тут и говорит:

— Через Терсутско болото бы да на Гальян. Ладно бы вышло, да мест этих она не знает, а проводить некому...

— Неуж у нас смелых девок не найдется? — говорит тут хозяйка.— Тоже, поди-ко, их не пересчитывают по домам, и на Терсутском за клюквой многие бывали. Проводят! Ты только дальше-то расскажи ей дорогу, чтоб не заблудилась, да и не опоздала. А то волкам на добычу угодит.

Ну, тот и рассказал про дорогу. Сначала, дескать, по Терсутскому болоту, потом по речке Мочаловке на болото Гальян, а оно к самой Чусовой подходит. Место тут узкое. Переберется как-нибудь, а дальше полевские рудники пойдут.

— Если,— говорит,— случится опоздниться, тут опаски меньше. По тем местам от Гальяна до самой Думной горы земляная кошка похаживает. Нашему брату она не вредная, а волки ее побаиваются, если уши покажет. Не шибко к тем местам льнут. Только на это тоже не надейся, побойче беги, чтобы засветло к заводу добраться. Может, про кошку-то — разговор пустой. Кто ее видал?

Нашлись, конечно, смелые девки. Взялись проводить до Мочаловки. Утром еще потемну за завод прокрались мимо охраны.

— Не сожрут нас волки кучей-то. Побоятся, поди. Пораньше домой воротимся, и ей — гостье-то нашей — так лучше будет.

Идет эта девичья команда, разговаривает так-то. Мало погодя и песенки запели. Дорога бывалая, хаживали на Терсутско за клюквой — что им не петь-то?

Дошли до Мочаловки, прощаться с Дуняхой стали. Время еще не позднее, день солнечный выдался. Вовсе ладно. Тот мужик-то говорил, что от Мочаловки через Гальян не больше пятнадцати верст до Полевой. Дойдет засветло, и волков никаких нет. Зря боялись.

Простились. Пошла Дуняха одна. Сразу хуже стало. Места незнакомые, лес страшенный. Хоть не боязливая, а запооглядывалась. Ну, и сбилась маленько.

Пока путалась да направлялась, глядишь — и к потемкам дело подошло. Во всех сторонах заповывали. Много ведь в те годы волков-то по нашим местам было. Теперь вон по осеням под самым заводом воют, а тогда их было — сила! Видит Дуняха — плохо дело. Столько узнала, и даже весточки не донесет! И жизнь свою молодую тоже жалко. Про парня того — про Матвея-то — вспомнила. А волки вовсе близко. Что делать? Бежать — сразу налетят, в клочья разорвут. На сосну залезть — все едино дождутся, пока не свалишься.

По уклону, видит, к Чусовой болото спускаться стало. Так мужик-то объяснял. Вот и думает: «Хоть бы до Чусовой добраться!»

Идет потихоньку, а волки по пятам. Да и много их. Топор, конечно, в руке, да что в нем!

Только вдруг два синеньких огня вспыхнуло. Ни дать ни взять — кошачьи уши. Снизу пошире, кверху на нет сошли. Впереди от Дуняхи шагов, поди, до полсотни.

Дуняха раздумывать не стала, откуда огни,— сразу к ним кинулась. Знала, что волки огня боятся.

Подбежала — точно, два огня горят, а между ними горка маленькая, вроде кошачьей головы. Дуняха тут и остановилась, меж тех огней. Видит — волки поотстали, а огни все больше да больше, и горка будто выше. Дивится Дуняха, как они горят, коли дров никаких не видно. Насмелилась, протянула руку, а жару не чует. Дуняха еще поближе руку подвела. Огонь метнулся в сторону, как кошка ухом тряхнула, и опять ровно горит.

Дуняхе маленько боязно стало, только не на волков же бежать. Стоит меж огнями, а они еще кверху подались. Вовсе большие стали. Подняла Дуняха камешок с земли. Серой он пахнет. Тут она и вспомнила про зем-

лянную кошку, про которую мужик сысертский сказывал. Дуняха и раньше слышала, что по пескам, где медь с золотыми крапинками, живет кошка с огненными ушами. Уши люди много раз видали, а кошку никому не доводилось. Под землей она ходит.

Стоит Дуняха промеж тех кошачьих ушей и думает: как дальше-то? Волки отбежали, да надолго ли? Только отойди от огней — опять набегут. Тут стоять — холодно, до утра не выдюжить.

Только подумала,— огни и пропали. Осталась Дуняха в потемках. Оглянулась — нет ли опять волков? Нет, не видно. Только куда итти в потемках-то! А тут опять впереди огоньки вспыхнули. Дуняха на них и побежала. Бежит-бежит, а догнать не может. Так и добежала до Чусовой-реки, а уши уж на том берегу горят.

Ледок, конечно, тоненький, ненадежный, да разбирать не станешь. Свалила две жердинки легоньких, с ними и стала перебираться. Переползла с грехом пополам, ни разу не провалилась, хоть шибко потрескивало. Жердинки-то ей пособили.

Стоять не стала. Побежала за кошачьими ушами. Пригляделась все ж таки к месту,— узнала. Песошное это. Рудник был. Случалось ей тут на работе бывать. Дорогу одна бы ночью нашла, а все за ушами бежит. Сама думает: «Уж если они меня из такой беды вызволили, так неуж неладно заведут?»

Подумала, а огни и выметнуло. Ярко загорели. Так и переливаются. Будто знак подают: «Так, девушка, так! Хорошо рассудила!»

Вывели кошачьи уши Дуняху на Поваренский рудник, а он у самой Думной горы. Вон в том месте был. Прямо сказать, в заводе.

Время ночное. Пошла Дуняха к своей избушке, с опаской, конечно, пробирается. Чуть где люди,— прихоронится; то за воротный столб притаится, а то и через огород махнет. Подобралась так к избушке и слышит — разговаривают.

Послушала она, поняла,— караулят кого-то. А ее и караулили. Старуху баушку приказчик велел в ее избушке за постоянным караулом держать. «Сюда,— думает,— Дуняха явится, коли ей обратно прокрасться посчастливит». Сам этот караул проверял, чтобы ни днем, ни ночью не отходили.

Дуняха этого не поняла. Только слышит — чужой кто-то у баушки сидит. Побоялась показаться. А сама замерзла, невтерпеж прямо. Вот она и прокралась проулком к тому парню-то Матвею, с которым до Косого Броду шла. Стукнула тихонько в окошко, а сама притаилась. Тот выбежал за ворота.

— Кто?

Ну, она и сказалась. Обрадовался парень.

— Иди,— говорит,— скорее в баню. Топлена она. Там тебя и прихороню, а завтра понадежнее место найдем.

Запер Дуняху в теплой бане, сам побежал надежным людям сказать:

— Воротилась Дуняха, прилетела птаха.

Живо сбежались, расспрашивать стали. Дуняха все им рассказала. В конце и про кошачьи уши помянула:

— Кабы не они, сожрали бы меня волки.

Мужики это мимо пропустили. Притомилась, думают, наша птаха, вот и помстилось ей.

— Давай-ко,— говорят,— поешь да ложись спать! Мы покараулим тебя до утра и то обмозгуем, куда лучше запрятать.

Дуне того и надо. В тепле-то ее разморило, еле сидит.

Поела маленько, да и уснула. Матюха да еще человек пять парней на карауле остались. Только время ночное, тихое, а Дуняха вон какие вести принесла. Парни, видно, и запоговаривали громко. Ну, и другие люди, которые слушать приходили, тоже не утерпели: тому-другому сказать, посоветовать, что делать. Однем словом, беспокойство пошло. Обходчики и заметили. Сразу проверку давай делать. Того нет, другого нет, а у Матвея пятеро чужих оказалось.

— Зачем пришли?

Те отговариваются, конечно, кому что на ум пришло. Не поверили обходчики, обыскивать кинулись. Парням делать нечего — за колья взялись. Обходчики, конечно, оборуженные, только в потемках колом-то способнее. Парни и ухайдакали их. Только на место тех обходчиков другие набежали. Втрое либо вчетверо больше. Парням, значит, поворот вышел. Одного застрелили обходчики, а другие отбиваются все ж таки.

Дуняха давно соскочила. Выбежала из бани, глядит — над Думной горой два страшенных синих огня поднялись, ровно кошка за горой притаилась, уши выставила. Вот-вот на завод кинется. Дуняха и кричит:

— Наши огни-то! Руднишные! На их, ребята, правьтесь!

И сама туда побежала. В заводе сполох поднялся. На колокольне в набат ударили. Народ повыскакивал. Думают — за горой пожар. Побежали туда. Кто поближе подбежит, тот и остановится. Боятся этих огней. Одна Дуняха прямо на них летит. Добежала, остановилась меж огнями и кричит:

— Хватай барских-то! Прошло их время! По другим заводам давно таких-то кончили!

Тут обходчикам и всяким стражникам туго пришлось. Известно, народ грудкой собрался. Стража побежала — кто куда. Только далеко ли от народа уйдешь? Многих похватали, а приказчик угнал-таки по городской дороге. Упустили — оплошка вышла. Кто в цепях сидел, тех высвободили, конечно. Тут и огни погасли.

На другой день весь народ на Думной горе собрался. Дуняха и обсказала, что в Сысерти слышала. Тут иные, из стариков больше, сумлеваться стали:

— Кто его знает, что еще выйдет! Зря ты нас вечор обнадежила.

Другие опять за Дуняху горой:

— Правильная девка! Так и надо! Чего еще ждать-то? Надо самим к людям податься, у коих этот Омельян Иванович объявился.

Которые опять кричат:

— В Косой Брод сбегать надо. Там, поди, наши-то сидят. Забыли их?

Ватажка парней сейчас и побежала. Сбили там стражу, вызволили своих да еще человек пять сысертских. Ну, и народ в Косом Броду весь подняли. Рассказали им, что у людей делается.

Прибежали парни домой, а на Думной горе все еще спорят. Старики без молодых-то вовсе силу забрали, запутали народ. Только и твердят:

— Ладно ли мы вечор наделали, стражников насмерть побили?

Молодые кричат:

— Так им и надо!

Сидельцы тюремные из Косого-то Броду на этой же стороне, конечно. Говорят старикам:

— Коли вы испугались, так тут и оставайтесь, а мы пойдем свою правильную долю добывать.

На этом и разошлись. Старики, на свою беду, остались, да и других под кнут подвели. Вскорости приказчик с солдатами из города пришел, из Сысерти тоже стражи нагнали. Живо зажали народ. Хуже старого приказчик лютовать стал, да скоро осекся. Видно, прослышал что неладное для себя. Стал стариков тех, кои с пути народ сбили, задабривать всяко. Только у тех спины-то не зажили, помнят, что оплошку сделали. Приказчик видит, косо поглядывают,— сбежал ведь! Так его с той поры в наших заводах и не видали. Крепко, видно, запрятался, а может, и попал в руки добрым людям — свернули башку.

А молодые тогда с Думной-то горы в леса ушли. Матвей у них вожаком стал.

И птаха Дуняха с ним улетела.

Про эту пташку удалую много еще сказывали, да я не помню...

Одно в памяти засело — про дуняхину плетку.

Дуняха, сказывают, в наших местах жила и после того, как Омельяна Иваныча бары сбили и казнить увезли. Заводское начальство сильно охотилось поймать Дуняху, да все не выходило это дело. А она нет-нет и объявится в открытую где-нибудь на дороге, либо на руднике каком. И всегда, понимаешь, на соловеньком коньке, а конек такой, что его не догонишь. Налетит этак нежданно-негаданно, отвозит кого ей надо башкирской камчой — и нет ее. Начальство переполошится, опять примутся искать Дуняху, а она, глядишь, в другом месте объявится и там какого-нибудь руднишного начальника плеткой уму-разуму учит, как, значит, с народом обходиться. Иного до того огладит, что долго встать не может.

Камчой с лошади, известно, не то что человека свалить, волка насмерть забить можно, если кто умеет, конечно. Дуняха, видать, понавыкла камчой орудовать, надолго свои памятки оставила. И все, сказывают, по делу. А пуще всего тем рудничным доставалось, кои молоденьких девчонок утесняли. Этих вовсе не щадила.

На рудниках таким, случалось, грозили:

— Гляди, как бы тебя Дуняха камчой не погладила.

Стреляли, конечно, в Дуняху не один раз, да она, видно, на это счастливая уродилась, а в народе еще сказывали, будто перед стрелком кошачьи уши огнями замелькают, и Дуняхи не видно станет.

Сколько в тех словах правды, про то никто не скажет, потому — сам не видал, а стрелку как поверить? Всякому, поди-ко, не мило, коли он пульку в белый свет выпустит. Всегда какую-нибудь отговорку на этот случай придумает. Против, дескать, солнышка пришлось, мошка в глаз попала, потемнение в мозгах случилось, комар в нос забился и в причинную жилку как раз на ту пору уколол. Ну, мало ли как еще говорят. Может, какой стрелок и приплел огненные уши, чтоб свою неустойку прикрыть. Все-таки не столь стыдно. С этих слов, видно, разговор и пошел.

А то, может, и впрямь Дуняха счастливая на пулю была. Тоже ведь недаром старики говорили:

— Смелому случится на горке стоять, пули мимо летят, боязливый в кустах захоронится, а пуля его найдет.

Так и не могло заводское начальство от дуняхиной плетки свою спину наверняка отгородить. Сам барин, сказывают, боялся, как бы Дуняха где его не огрела. Только она тоже не без смекалки орудовала.

Зачем она с одной плеткой кинется, коли при барине завсегда обережных сила, и каждый оборужен.

ПРО ВЕЛИКОГО ПОЛОЗА

Жил в заводе мужик один. Левонтьем его звали. Старательный такой мужичок, безответный. Смолоду его в горе́ держали, на Гумешках то есть. Медь добывал. Так под землей все молодые годы и провел. Как червяк в земле копался. Свету не видел, позеленел весь. Ну, дело известное,—гора. Сырость, потемки, дух тяжелый. Ослаб человек. Приказчик видит — мало от его толку, и удобрился перевести Левонтия на другую работу — на Поскакуху отправил, на казенный прииск золотой. Стал, значит, Левонтий на прииске робить. Только это мало делу помогло. Шибко уж он нездоровый стал. Приказчик поглядел-поглядел, да и говорит:

— Вот что, Левонтий, старательный ты мужик, говорил я о тебе барину, а он и придумал наградить тебя. Пускай,— говорит,— на себя старается. Отпустить его на вольные работы, без оброку.

Это в ту пору так делывали. Изробится человек, никуда его не надо, ну, и отпустят на вольную работу.

Вот и остался Левонтий на вольных работах. Ну, пить-есть надо, да и семья того требует, чтобы где-нибудь кусок добыть. А чем добудешь, коли у тебя ни хозяйства, ничего такого нет. Подумал-подумал, пошел стараться, золото добывать. Привычное дело с землей-то, струмент тоже не ахти какой надо. Расстарался, добыл и говорит ребятишкам:

— Ну, ребятушки, пойдем, видно, со мной золото добывать. Может, на ваше ребячье счастье и расстараемся, проживем без милостины.

А ребятишки у него вовсе еще маленькие были. Чуть побольше десятка годов им.

Вот и пошли наши вольные старатели. Отец еле ноги передвигает, а ребятишки — мал-мала меньше — за ним поспешают.

Тогда, слышь-ко, по Рябиновке верховое золото сильно попадать стало. Вот туда Левонтий заявку сделал. В конторе тогда на этот счет просто было. Только скажи да золото сдавай. Ну, конечно, и мошенство было. Как без этого. Замечали конторски, куда народ бросается, и за сдачей следили. Увидят — ладно пошло, сейчас то место под свою лапу. Сами, говорят, тут добывать будем, а вы ступайте куда в другое место. Заместо разведки старатели-то у них были. Те, конечно, опять свою выгоду соблюдали. Старались золото не оказывать. В контору сдавали только, чтобы сдачу отметить, а сами все больше тайным купцам стуряли. Много их было, этих купцов-то. До того, слышь-ко, исхитрились, что никакая стража их уличить не могла. Так, значит, и катался обман-от шариком. Контора старателей обвести хотела, а те опять ее. Вот какие порядки были. Про золото стороной дознаться только можно было.

Левонтию, однако, не потаили — сказали честь-честью. Видят, какой уж он добытчик. Пускай хоть перед смертью потешится.

Пришел это Левонтий на Рябиновку, облюбовал место и начал работать. Только силы у него мало. Живо намахался, еле жив сидит, отдышаться не может. Ну, а ребятишки, какие они работники? Все ж таки стараются. Поробили так-то с неделю либо больше, видит Левонтий — пустяк дело, на хлеб не сходится. Как быть? А самому все хуже да хуже. Исчах совсем, но неохота по миру итти и на ребятишек сумки надевать. Пошел в субботу сдать в контору золотишко, какое намыл, а ребятам наказал:

— Вы тут побудьте, струмент покараульте, а то таскать-то его взад-вперед ни к чему нам.

Остались, значит, ребята, караульщиками у шалашика. Сбегал один на Чусову-реку. Близко она тут. Порыбачил маленько. Надергал пескозобишков, окунишков, и давай они ушку себе гоношить. Костер запалили, а дело к вечеру. Боязно ребятам стало.

Только видят — идет старик, заводской же. Семенычем его звали, а как по фамилии — не упомню. Старик этот из солдат был. Раньше-то, сказывают, самолучшим кричным мастером значился, да согрубил что-то приказчику, тот его и велел в пожарную отправить — пороть, значит. А этот Семеныч не стал даваться, рожи которым покарябал, как он сильно проворный был. Известно, кричный мастер. Ну, все же таки обломали. Пожарники-то тогда здоровущие подбирались. Выпороли, значит, Семеныча и за буйство в солдаты сдали. Через двадцать пять годов он и пришел в завод-от вовсе стариком, а домашние у него за это время все примерли, избушка заколочена стояла. Хотели уж ее разбирать. Шибко не корыстна была. Тут он и объявился. Подправил свою избушку и живет потихоньку, один-одинешенек. Только стали соседи замечать — неспроста дело. Книжки какие-то у него. И каждый вечер он над ими сидит. Думали,— может, умеет людей лечить. Стали с этим подбегать. Отказал: «Не знаю,— говорит,— этого дела. И какое тут может леченье быть, коли такая ваша работа». Думали,— может, веры какой особой. Тоже не видно. В церкву ходит о пасхе да о рождестве, как обыкновенно мужики, а приверженности не оказывает. И тому опять дивятся — работы нет, а чем-то живет. Огородишко, конечно, у него был. Ружьишко немудрящее имел, рыболовную снасть тоже. Только разве этим проживешь? А деньжонки, промежду прочим, у него были. Бывало, кое-кому и давал. И чудно этак. Иной просит-просит, заклад дает, набавку, какую хошь, обещает, а не даст. К другому сам придет:

— Возьми-ка, Иван или там Михайло, на корову. Ребятишки у тебя маленькие, а подняться, видать, не можешь.— Однем словом, чудной старик. Чертознаем его считали. Это больше за книжки-то.

Вот подошел этот Семеныч, поздоровался. Ребята радехоньки, зовут его к себе:

— Садись, дедушко, похлебай ушки с нами.

Он не посупорствовал, сел. Попробовал ушки и давай нахваливать — до чего-де навариста да скусна. Сам из сумы хлебушка мяконького достал, ломоточками порушал и перед ребятами грудкой положил. Те видят — старику ушка поглянулась, давай уплетать хлебушко-то, а Семеныч одно свое — ушку нахваливает, давно, де-

скать, так-то не едал. Ребята под этот разговор и наелись как следует. Чуть не весь стариков хлеб съели. А тот, знай, похмыкивает:

— Давно так-то не едал.

Ну, наелись ребята, старик и стал их спрашивать про их дела. Ребята обсказали ему все по порядку, как отцу от заводской работы отказали и на волю перевели, как они тут работали. Семеныч только головой покачивает да повздыхивает: охо-хо, да охо-хо. Под конец спросил:

— Сколь намыли?

Ребята говорят:

— Золотник, а может, поболе,— так тятенька сказывал.

Старик встал и говорит:

— Ну, ладно, ребята, надо вам помогчи. Только вы уж помалкивайте. Чтоб ни-ни. Ни одной душе живой, а то...— и Семеныч так на ребят поглядел, что им страшно стало. Ровно вовсе не Семеныч это. Потом опять усмехнулся и говорит:

— Вот что, ребята, вы тут сидите у костерка и меня дожидайтесь, а я схожу — покучусь кому надо. Может, он вам поможет. Только, чур, не бояться, а то все дело пропадет. Помните это хорошенько.

И вот ушел старик в лес, а ребята остались. Друг на друга поглядывают и ничего не говорят. Потом старший насмелился и говорит тихонько:

— Смотри, братко, не забудь, чтобы не бояться,— а у самого губы побелели и зубы чакают. Младший на это отвечает:

— Я, братко, не боюсь,— а сам помучнел весь.

Вот сидят так-то, дожидаются, а ночь уж совсем, и тихо в лесу стало. Слышно, как вода в Рябиновке шумит. Прошло довольно дивно времечка, а никого нет, у ребят испуг и отбежал. Навалили они в костер хвои, еще веселее стало. Вдруг слышат — в лесу разговаривают. Ну, думают, какие-то идут. Откуда в экое время? Опять страшно стало.

И вот подходят к огню двое. Один-то Семеныч, а другой с ним незнакомый какой-то и одет не по-нашенски. Кафтан это на ем, штаны — все желтое, из золотой, слышь-ко, поповской парчи, а поверх кафтана широкий пояс с узорами и кистями, тоже из парчи,

только с зеленью. Шапка желтая, а справа и слева красные зазорины, и сапожки тоже красные. Лицо желтое, в окладистой бороде, а борода вся в тугие кольца завилась. Так и видно, не разогнешь их. Только глаза зеленые и светят, как у кошки. А смотрят по-хорошему, ласково. Мужик такого же росту, как Семеныч, и не толстый, а, видать, грузный. На котором месте стал, под ногами у него земля вдавилась. Ребятам все это занятно, они и бояться забыли, смотрят на того человека, а он и говорит Семенычу шуткой так:

— Это вольны-то старатели? Что найдут, все заберут? Никому не оставят?

Потом прихмурился и говорит Семенычу, как советует с им:

— А не испортим мы с тобой этих ребятишек?

Семеныч стал сказывать, что ребята не балованные, хорошие, а тот опять свое:

— Все люди на одну колодку. Пока в нужде да в бедности, ровно бы и ничего, а как за мое охвостье поймаются, так откуда только на их всякой погани налипнет.

Постоял, помолчал и говорит:

— Ну, ладно, попытаем. Малолетки, может, лучше окажутся. А так ребятки ладненьки, жалко будет, ежели испортим. Меньшенький-то вон тонкогубик. Как бы жадный не оказался. Ты уж понастуй сам, Семеныч. Отец-то у них не жилец. Знаю я его. На ладан дышит, а тоже старается сам кусок заработать. Самостоятельный мужик. А вот дай ему богатство — тоже испортится.

Разговаривает так-то с Семенычем, будто ребят тут и нет. Потом посмотрел на них и говорит:

— Теперь, ребятушки, смотрите хорошенько. Замечайте, куда след пойдет. По этому следу сверху и копайте. Глубоко не лезьте, ни к чему это.

И вот видят ребята — человека того уж нет. Которое место до пояса — все это голова стала, а от пояса шея. Голова точь-в-точь такая, как была, только большая, глаза ровно по гусиному яйцу стали, а шея змеиная. И вот из-под земли стало выкатываться тулово преогромного змея. Голова поднялась выше леса. Потом тулово выгнулось прямо на костер, вытянулось по земле, и поползло это чудо к Рябиновке, а из земли всё

кольца выходят да выходят. Ровно им и конца нет. И то диво, костер-то потух, а на полянке светло стало. Только свет не такой, как от солнышка, а какой-то другой, и холодом потянуло. Дошел змей до Рябиновки и полез в воду, а вода сразу и замерзла по ту и по другую сторону. Змей перешел на другой берег, дотянулся до старой березы, которая тут стояла, и кричит:

— Заметили? Тут вот и копайте! Хватит вам по сиротскому делу. Чур, не жадничайте!

Сказал так-то и ровно растаял. Вода в Рябиновке опять зашумела, и костерок оттаял и загорелся, только трава будто все еще озябла, как иней ее прихватил.

Семеныч и объяснил ребятам:

— Это есть Великий Полоз. Все золото в его власти. Где он пройдет — туда оно и подбежит. А ходить он может и по земле, и под землей, как ему надо, и места может окружить, сколько хочет. Оттого вот и бывает — найдут, например, люди хорошую жилку, и случится у них какой обман, либо драка, а то и смертоубийство, и жилка потеряется. Это, значит, Полоз побывал тут и отвел золото. А то вот еще... Найдут старатели хорошее, россыпное золото, ну, и питаются. А контора вдруг объявит — уходите, мол, за казну это место берем, сами добывать будем. Навезут это машин, народу нагонят, а золота-то и нету. И вглубь бьют и во все стороны лезут — нету, будто вовсе не бывало. Это Полоз окружил все то место да пролежал так-то ночку, золото и стянулось все по его-то кольцу. Попробуй, найди, где он лежал.

Не любит, вишь, он, чтобы около золота обман да мошенство были, а пуще того, чтобы один человек другого утеснял. Ну, а если для себя стараются, тем ничего, поможет еще когда, вот как вам. Только вы смотрите, молчок про эти дела, а то все испортите. И о том старайтесь, чтобы золото не рвать. Не на то он вам его указал, чтобы жадничали. Слышали, что говорил-то? Это не забывайте первым делом. Ну, а теперь спать ступайте, а я посижу тут у костерка.

Ребята послушались, ушли в шалашик, и сразу на их сон навалился. Проснулись поздно. Другие старатели уж давно работают. Посмотрели ребята один на другого и спрашивают:

— Ты, братко, видел вчера что-нибудь?

Другой ему:

— А ты видел?

Договорились все ж таки. Заклялись, забожились, чтобы никому про то дело не сказывать и не жадничать, и стали место выбирать, где дудку бить. Тут у них маленько спор вышел. Старший парнишечко говорит:

— Надо за Рябиновкой у березы начинать. На том самом месте, с коего Полоз последнее слово сказал.

Младший уговаривает:

— Не годится так-то, братко. Тайность живо наружу выскочит, потому — другие старатели сразу набегут полюбопытствовать, какой, дескать, песок пошел за Рябиновкой. Тут все и откроется.

Поспорили так-то, пожалели, что Семеныча нет, посоветовать не с кем, да углядели — как раз по середке вчерашнего огневища воткнут березовый колышек.

«Не иначе, это Семеныч нам знак оставил»,— подумали ребята и стали на том месте копать.

И сразу, слышь-ко, две золотые жужелки залетели, да и песок пошел не такой, как раньше. Совсем хорошо у них дело сперва направилось. Ну, потом свихнулось, конечно. Только это уж другой сказ будет.

ЗМЕИНЫЙ СЛЕД

Те ребята, Левонтьевы-то, коим Полоз богатство показал, стали поправляться житьишком. Даром, что отец вскоре помер, они год от году лучше да лучше живут. Избу себе поставили. Не то, чтобы дом затейливой, а так — избушечка справная. Коровенку купили, лошадь завели, овечек до трех голов в зиму пускать стали. Мать-то нарадоваться не может, что хоть в старости свет увидела.

А все тот старичок — Семеныч-то — настовал. Он тут всему делу голова. Научил ребят, как с золотом обходиться, чтобы и контора не шибко примечала и другие старатели не больно зарились. Хитро ведь с золотишком-то! На все стороны оглядывайся. Свой брат-старатель подглядывает, купец, как коршун, зорит, и конторско начальство в глазу держит. Вот и поворачивайся! Одним-то малолеткам где с таким делом управиться! Семеныч все им и показал. Однем словом, обучил.

Живут ребята. В годы входить стали, а все на старом месте стараются. И другие старатели не уходят. Хоть некорыстно, а намывают, видно... Ну, а у ребят тех и вовсе ладно. Про запас золотишко оставлять стали.

Только заводское начальство углядело — неплохо сироты живут. В праздник какой-то, как мать из печки рыбный пирог доставала, к ним и пых заводской рассылка:

— К приказчику ступайте! Велел немедля.

Пришли, а приказчик на них и накинулся:

— Вы до которой поры шалыганить будете? Гляди-ко — в версту вымахал каждый, а на барина единого

дня не рабатывал! По каким таким правам? Под красну шапку захотели али как?

Ребята объясняют, конечно:

— Тятеньку, дескать, покойного, как он вовсе из сил выбился, сам барин на волю отпустил. Ну мы и думали...

— А вы,— кричит,— не думайте, а кажите актову бумагу, по коей вам воля прописана!

У ребят, конечно, никакой такой бумаги не бывало, они и не знают, что сказать.

Приказчик тогда и объявил:

— По пяти сотен несите — дам бумагу.

Это он, видно, испытывал, не объявят ли ребята деньги! Ну, те укрепились.

— Если,— говорит младший,— все наше хозяйство до ниточки продать, так и то половины не набежит.

— Когда так, выходите с утра на работу. Нарядчик скажет куда. Да, глядите, не опаздывать к разнарядке! В случае — выпорю для первого разу!

Приуныли наши ребятушки. Матери сказали, та и вовсе вой подняла:

— Ой, да что же это, детоньки, подеялось! Да как мы теперь жить станем!

Родня, соседи набежали. Кто советует прошенье барину писать, кто велит в город к горному начальству идти, кто прикидывает, на сколь все хозяйство вытянет, ежели его продать. Кто опять пужает:

— Пока, дескать, то да се, приказчиковы подлокотники живо схватят, выпорют да и в гору. Прикуют там цепями, тогда ищи управу!

Так вот и удумывали всяк по-своему, а того никто не домекнул, что у ребят, может, впятеро есть против приказчикова запросу, только объявить боятся. Про это, слышь-ко, и мать у них не знала. Семеныч, как еще в живых был, часто им твердил:

— Про золото в запасе никому не сказывай, особливо женщине. Мать ли, жена, невеста — все едино помалкивай. Мало ли случай какой. Набежит, примерно, горная стража, обыскивать станут, страстей всяких насулят. Женщина иная и крепкая на слово, а тут забоится, как бы сыну либо мужу худа не вышло, возьмет да и укажет место, а стражникам того и надо. Золото возьмут и человека загубят. И женщина та, глядишь

за свою неустойку головой в воду либо петлю на шею. Бывалое это дело. Остерегайтесь! Как потом в годы войдете да женитесь — не забывайте про это, а матери своей и намеку не давайте. Слабая она у вас на языке-то— похвастать своими детоньками любит.

Ребята это семенычево наставленье крепко помнили и про свой запас никому не сказывали. Подозревали, конечно, другие старатели, что должен быть у ребят запасец, только много ли и в котором месте хранят — не знали.

Посудачили соседи, потужили да с тем и разошлись, что утречком, видно, ребятам на разнарядку выходить.

— Без этого не миновать.

Как не стало чужих, младший брат и говорит:

— Пойдем-ко, братко, на прииск! Простимся хоть...

Старший понимает, к чему разговор.

— И то,— говорит,— пойдем. Не легче ли на ветерке голове станет.

Собрала им мать постряпенек праздничных да огурцов положила. Они, конечно, бутылку взяли и пошли на Рябиновку.

Идут — молчат. Как дорога лесом пошла, старший и говорит:

— Прихоронимся маленько.

За крутым поворотом свернули в сторону да тут у дороги и легли за шиповником. Выпили по стакашку, полежали маленько, слышат идет кто-то. Поглядели, а это Ванька Сочень с ковшом и прочим струментом по дороге шлепает. Будто спозаранку на прииск пошел. Старанье на него накатило, косушку не допил! А этот Сочень у конторских в собачках ходил: где что вынюхать — его подсылали. Давно на заметке был. Не один раз его бивали, а все не попускался своему ремеслу. Самый вредный мужичонко. Хозяйка Медной горы уж сама его потом так наградила, что вскорости он и ноги протянул. Ну, не о том разговор... Прошел этот Сочень, братья перемигнулись. Мало погодя щегарь верхом на лошадке проехал. Еще полежали — сам Пименов на своем Ершике выкатил. Коробчишечко легонький, к дрогам удочки привязаны. На рыбалку, видно, поехал.

Этот Пименов по тому времени в Полевой самый отчаянный был — по тайному золоту. И Ершика у него все знали. Степнячок лошадка. Собой невеличка, а от

любой тройки уйдет. Где только добыл такую! Она, сказывают, двухколодешная была, с двойным дыхом. Хоть пятьдесят верст на мах могла... Догони ее! Самая воровская лошадка. Много про нее рассказывали. Ну, и хозяин тоже намятыш добрый был,— один на один с таким не встречайся. Не то что нынешние наследники, которые вон в том двухэтажном доме живут.

Ребята, как увидели этого рыболова, так и засмеялись. Младший поднялся из-за кустов да и говорит, не громко все ж таки:

— Иван Васильевич, весы-то с тобой?

Купец видит — смеется парень, и тоже шуткой отвечает:

— В эком-то лесу да не найти! Было бы что весить.

Потом придержал Ершика и говорит:

— Коли дело есть, садись — подвезу.

Такая у него, слышь-ко, повадка была — золотишко на лошади принимать. Надеялся на своего Ершика. Чуть что: «Ершик, ударю!» — и только пыль столбом либо брызги во все стороны.

Ребята отвечают: «Нет с собой»,— а сами спрашивают:

— Где тебя, Иван Васильич, искать утром на свету?

— Какое,— спрашивает,— дело — большое али пустяк?

— Будто сам не ведаешь...

— Ведать-то,— отвечает,— ведаю, да не все. Не знаю, то ли оба откупаться собрались, то ли один сперва.

Потом помолчал да и говорит, как упреждает:

— Глядите, ребята,— зо́рят за вами. Сочня-то видели?

— Ну, как же.

— А щегаря?

— Тоже видели.

— Еще, поди, послали кого за вами доглядывать. Может, кто и охотой. Знают, вишь, что вам к утру деньги нужны, вот и караулят. И то поехал вас упредить.

— За то спасибо, а только мы тоже поглядываем.

— Вижу, что понаторели, а все остерегайтесь!

— Боишься, как бы у тебя не ушло!

— Ну, мое-то верное. Другой не купит — побоится.

— А почем?

Пименов прижал, конечно, в цене-то. Ястребок ведь. От живого мяса такого не оторвешь!

— Больше,— говорит,— не дам. Потому дело заметное.

Срядились. Пименов тогда и шепнул:

— На брезгу по Плотинке проезжать буду — подсажу...

Пошевелил вожжами: «Ступай, Ершик, догоняй щегаря!» На прощанье еще спросил:

— На двоих али на одного готовить?

— Сами не знаем — сколь наскребется. Полишку все ж таки бери,— ответил младший.

Отъехал купец.

Братья помолчали маленько, потом младший и говорит:

— Братко, а ведь это Пименов от ума говорил. Неладно нам большие деньги сразу оказать. Худо может выйти. Отберут — и только.

— Тоже и я думаю, да быть-то как?

— Может, так сделаем! Сходим еще к приказчику, покланяемся, не скинет ли маленько. Потом и скажем,— больше четырех сотен не наскрести, коли все хозяйство продать. Одного-то, поди, за четыре сотни выпустит, и люди будут думать, что мы из последнего собрали.

— Так-то ладно бы,— отвечает старший,— да кому в крепости оставаться? Жеребьевкой, видно, придется.

Тут младший и давай лебезить:

— Жеребьевка, дескать, чего бы лучше! Без обиды... Про это что говорить... Только вот у тебя изъян... глаз поврежденный... В случае оплошки, тебя в солдаты не возьмут, а меня чем обракуешь? Чуть что — сдадут. Тогда уж воли не увидишь. А ты бы пострадал маленько, я бы тебя живо выкупил. Году не пройдет — к приказчику пойду. Сколь ни запросит — отдам. В этом не сумлевайся! Неуж у меня совести нет? Вместе, подико, зарабатывали. Разве мне жалко!

Старшего-то у них Пантелеем звали. Он пантюхой и вышел. Простяга парень. Скажи — рубаху сымет, другого выручит. Ну, а изъян, что окривел-то он, вовсе парня к земле прижал. Тихий стал,— ровно все-то его

больше да умнее. Слова при других сказать не умеет. Помалкивает все.

Меньший-то, Костька, вовсе не на эту стать. Даром что в бедности с детства рос, выправился, хоть на выставку. Рослый да ядреный... Одно худо — рыжий, скрасна даже. Позаглаза-то его все так и звали — Костька Рыжий. И хитрый тоже был. У кого с ним дело случалось, говаривали: «У Костьки не всякому слову верь. Иное он и вовсе проглотит». А подсыпаться к кому — первый мастер. Чисто лиса, так и метет, так и метет хвостом...

Пантюху-то Костька и оболтал живехонько. Так все по-костькиному и вышло. Приказчик сотню скинул, и Костька на другой день вольную бумагу получил, а брату будто нисхождение выхлопотал. Ему приказчик на Крылатовский прииск велел отправляться.

— Верно,— говорит,— твой-то брат сказывает. Там тебе знакомее будет. Тоже с песками больше дело. А людей, все едино, что здесь, что там, недохватка. Ладно уж, сделаю тебе нисхождение. Ступай на Крылатовско.

Так Костька и подвел дело. Сам на вольном положении укрепился, а брата на дальний прииск столкал. Избу и хозяйство он, конечно, и не думал продавать. Так только вид делал.

Как Пантелея угнали, Костька тоже стал на Рябиновку сряжаться. Одному-то как? Чужого человека не миновать наймовать, а боится — узнают через него другие, полезут к тому месту. Нашел все ж таки недоумка одного. Мужик большой, а умишко маленький — до десятка счету не знал. Костьке такого и надо.

Стал с этим недоумком стараться, видит — отощал песок. Костька, конечно, заметался повыше, пониже в тот бок, в другой — все одно, нет золота. Так мельтешит чуть-чуть, стараться не стоит. Вот Костька и придумал на другой берег податься — ударить под той березой, где Полоз останавливался. Получше пошло, а все не то, как при Пантелее было. Костька и тому рад, да еще думает — перехитрил я Полоза.

На Костьку глядя, и другие старатели на этом берегу пытать счастья стали. Тоже, видно, поглянулось. Месяца не прошло — полно народу набилось. Пришлые какие-то появились.

В одной артелке увидел Костька девчонку. Тоже рыженькая, собой тончава, а подходященька. С такой по ненастью солнышко светеет. А Костька по женской стороне шибко пакостник был. Чисто приказчик какой, а то и сам барин. Из отецких не одна девка за того Костьку слезами умывалась, а тут что... приисковая девчонка. Костька и разлетелся, только его сразу обожгло.

Девчоночка ровно вовсе молоденькая, справа у ней некорыстна, а подступить непросто. Бойкая! Ты ей слово, она тебе — два, да все на издевку. А руками чтобы — это и думать забудь. Вот Костька и клюнул тут, как язь на колобок.

Жизни не рад стал, сна-спокою решился. Она и давай его водить и давай водить.

Есть ведь из ихней сестры мастерицы. Откуда только научатся? Глядишь — ровно вовсе еще от малолетков недалеко ушла, а все ухватки знает. Костька сам оплести кого хочешь мог, а тут другое запел.

— Замуж,— спрашивает,— пойдешь за меня? Чтоб, значит, не как-нибудь, а честно-благородно, по закону... Из крепости тебя выкуплю.

Она, знай, посмеивается:

— Кабы ты не рыжий был!

Костьке это нож вострый — не глянулось, как его рыжим звали,— а на шутку поворачивает:

— Сама-то какая?

— То,— отвечает,— и боюсь за тебя выходить. Сама рыжая, ты — красный, ребятишки пойдут — вовсе опаленыши будут.

Когда еще примется Пантелея хвалить. Знала как-то его. На Крылатовском будто встретила.

— Ежели бы вот Пантелей присватался, без слова бы пошла. На примете он у меня остался. Любой парень. Хоть один глазок, да хорошо глядит.

Это она нарочно — Костьку поддразнить, а он верит. Зубом скрипит на Пантелея-то, так бы и разорвал его, а она еще спрашивает:

— Ты что же брата не выкупишь? Вместе, поди, наживали, а теперь сам на воле, а его забил в самое худое место.

— Нету,— говорит,— у меня денег для него. Пусть сам зарабатывает!

— Эх ты,— говорит,— шалыган бесстыжий! Меньше тебя, что ли, Пантелей работал? Глаз-то он потерял в забое, поди?

Доведет так-то Костьку до того, что закричит он:

— Убью стерву!

Она хоть бы што.

— Не знаю,— говорит,— как тогда будет, только живая за рыжего не пойду. Рыжий да шатоватый — нет того хуже!

Отшибет так Костьку, а он того больше льнет. Все бы ей отдал, лишь бы рыжим не звала да поласковее поглядела. Ну, подарков она не брала... Даже самой малости. Кольнет еще, ровно иголкой ткнет:

— Ты бы это Пантелею на выкуп поберег.

Костька тогда и придумал на прииске гулянку наладить. Сам смекает:

«Как все-то перепьются, разбирайся тогда, кто что наработал. Заманю ее куда, поглядим, что на другой день запоет...»

Люди, конечно, примечают:

— Что-то наш Рыжий распыхался. Видно, хорошо попадать стало. Надо в его сторону удариться.

Думают так-то, а испировать на даровщинку кто отопрется? Она — эта девчонка — тоже ничего. Плясать против Костьки вышла. На пляску, сказывают, шибко ловкая была. Костьку тут и вовсе за нутро взяло.

Думки своей все ж таки Костька не оставил. Как понапились все, он и ухватил эту девчонку, а она уставилась глазами-то, у Костьки и руки опустились, ноги задрожали, страшно ему чего-то стало. Тогда она и говорит:

— Ты, рыжий-бесстыжий, будешь Пантелея выкупать?

Костьку как обварило этими словами. Разозлился он.

— И не подумаю,— кричит.— Лучше все до копейки пропью!

— Ну,— говорит,— твое дело. Было бы сказано. Пропивать пособим.

И пошла от него плясом. Чисто змея извивается, а глазами уперлась — не смигнет. С той поры и стал Костька такие гулянки чуть не каждую неделю заводить. А оно ведь не шибко доходно — полсотни человек

допьяна поить. Приисковый народ на это жоркий. Пустяком не отойдешь, а то еще насмех поднимут:

— Хлебнул-де из пустой посудины на костькиной гулянке — неделю голова болела. Другой раз позовет, две бутылки с собой возьму. Не легче ли будет?

Костька, значит, и старался, чтоб вино и там протча в достатке было. Деньжонки, какие на руках были, скорехонько умыл, а выработка вовсе пустяк. Опять отощал песок, хоть бросай. Недоумок, с которым работал, и тот говорит:

— Что-то, хозяин, ровно вовсе не блестит на смывке-то.

Ну, а та девчонка, знай, подзуживает:

— Что, Рыжий, приуныл? Каблуки стоптал — на починку не хватает?

Костька давно видит — неладно у него выходит, а совладать с собой не может. «Погоди,— думает,— я тебе покажу, как у меня на починку не хватает».

Золотишка-то у них с Пантелеем порядком было. В земле, известно, хранили. В своем же огороде, во втором слою. Сковырнут лопатки две сверху, а там песок с глиной... Тут и бросали. Ну, место хорошо запримечено было, до вершков все вымерено. В случае, и горной страже прискаться нельзя. Ответ тут бывалый: «Самородное, дескать. Не знали, что эдак близко. Вон какую даль отшагивали, а оно вон где — в огороде!»

Кладовуха эта земляная, что говорить, самая верная, только вот брать-то из нее хлопотно, да и оглядываться приходится. Это у них тоже хорошо подогнано было. Кустики за банешкой посажены были, камни кучкой подобраны. Однем словом, загорожено.

Вот Костька выбрал ночку потемнее и пошел в свою кладовуху. Снял, где надо, верхний слой, нагреб бадью песку и в баню. Там у него вода заготовлена. Закрыл окошко, зажег фонарь, стал смывать, и ничем-ничего — ни единой крупинки. Что, думает, такое? Неуж ошибся? Пошел опять. Все перемерял. Нагреб другую бадью — даже виду не показало. Тут Костька и остерегаться забыл — с фонарем выскочил. Оглядел еще раз с огнем. Все правильно. В самом том месте верхушка снята. Давай еще нагребать. Может, думает, высоко взял. Маленько показалось, только самый пустяк. Костька еще глубже взял — та же штука: чуть блестит. Костька тут

вовсе себя потерял. Давай дудку, как на прииске, бить. Только недолго ему вглубь-то податься пришлось,— камень-сплошняк оказался. Обрадовался Костька, через камень, небось, и Полозу золота не увести. Тут оно где-нибудь, близко. Потом вдруг хватился: «Ведь это Пантюшка украл!»

Только подумал, а девчонка та, приисковая-то, и появилась. Потемки еще, а ее всю до капельки видно. Высоконькая да пряменькая, стоит у самого крайчика и на Костьку глазами уставилась:

— Что, Рыжий, потерял, видно? На брата приходишь? Он и возьмет, а тебе поглядеть осталось.

— Тебя кто звал, стерва пучешарая?

Схватил ту девчонку за ноги да что есть силы и дернул на себя в яму. Девчонка от земли отстала, а все пряменько стоит. Потом еще вытянулась, потончала, медяницей стала, перегнулась Костьке через плечо, да и поползла по спине. Костька испугался, змеиный хвост из рук выпустил. Уперлась змея головой в камень, так искры и посыпались, светло стало, глаза слепит.

Прошла змея через камень, и по всему ее следу золото горит, где каплями, где целыми кусками. Много его. Как увидел Костька, так и брякнулся головой о камень. На другой день мать его в дудке нашла. Лоб ровно и не сильно разбил, а умер отчего-то Костька.

На похороны с Крылатовского Пантелей пришел. Отпустили его. Увидел в огороде дудку, сразу смекнул — с золотом что-то случилось. Беспокойно Пантелею стало. Надеялся, вишь, он через то золото на волю выйти. Хоть слышал про Костьку нехорошо, а все верил — выкупит брат. Пошел поглядеть. Нагнулся над дудкой, а снизу ему ровно посветил кто. Видит — на дне-то как окно круглое из толстого-претолстого стекла, и в этом стекле золотая дорожка вьется. Снизу на Пантелея какая-то девчонка смотрит. Сама рыженька, а глаза чернехоньки, да такие, слышь-ко, что и глядеть в них страшно. Только девчонка та ухмыляется, пальцем в золоту дорожку тычет: «Дескать, вот твое золото, возьми себе. Не бойся!» Ласково вроде говорит, а слов не слышно. Тут и свет потух.

Пантелей испугался сперва: наважденье, думает. Потом насмелился, спустился в яму. Стекла там никакого не оказалось, а белый камень — скварец. На казенном

прииске Пантелею приходилось с камнем-то этим биться. Попривык к нему. Знал, как его берут. Вот и думает:

«Дай-ко попытаю. Может, и всамделе золото тут».

Притащил, что подходящее, и давай камень дробить в том самом месте, где золотую дорожку видел. И верно — в камне золото и не то что искорками, а большими каплями да гнездами сидит. Богатимая жилка оказалась. До вечера-то Пантелей чистым золотом фунтов пять либо шесть набил. Сходил потихоньку к Пименову, а потом и приказчику объявился.

— Так и так, желаю на волю откупиться.

Приказчик отвечает:

— Хорошее дело, только мне теперь недосуг. Приходи утречком. На прохладе об этом поговорим.

Приказчик по косткиному-то житью, понятно, догадался, что деньги у него были немалые. Вот и придумывал, как бы Пантелея покрепче давнуть, чтобы побольше выжать. Только тут, на пантелеево счастье, рассылка из конторы прибежал и сказывает:

— Нарочный приехал. Завтра барин из Сысерти будет. Велел все мостки на Полдневную хорошенько уладить.

Приказчик, видно, испугался, как бы все у него из рук не уплыло, и говорит Пантелею:

— Давай пять сотенных, а по бумаге четыре запишу.

Сорвал-таки сотнягу. Ну, Пантелей рядиться не стал.

«Рви, — думает, — собака, — когда-нибудь подавишься».

Вышел Пантелей на волю. Поковырялся еще сколько-то в ямке на огороде. После и вовсе золотишком заниматься перестал.

«Без него,— думает,— спокойнее проживу».

Так и вышло. Хозяйство себе завел, не сильно большое, а биться можно. Раз только с ним случай вышел. Это еще когда он женился.

Ну, он кривенькой был. Невесту без затей выбрал, смиренную девушку из бедного житья. Свадьбу попросту справили.

На другой день после венца-то молодая поглядела на свое обручальное кольцо и думает:

«Как его носить-то. Вон оно какое толстое да красивое. Дорогое, поди. Еще потеряешь».

Потом и говорит мужу:

— Ты что же, Пантюша, зря тратишься? Сколько кольцо стоит?

Пантелей и отвечает:

— Какая трата, коли обряд того требует. Полтора рубля за колечко платил.

— Ни в жизнь,— говорит жена,— этому не поверю.

Пантелей поглядел и видит — не то ведь кольцо-то. Поглядел на свою руку — и там вовсе другое кольцо, да еще в серединке-то два черных камешка, как глаза горят.

Пантелей, конечно, по этим камешкам сразу припомнил девчонку, которая ему золотую дорожку в камне показала, только жене об этом не сказал.

«Зачем, дескать, ее зря тревожить».

Молодая все-таки не стала то кольцо носить, купила себе простенькое. А мужику куда с кольцом? Только и поносил Пантелей, пока свадебные дни не прошли.

После костькиной смерти на прииске хватились:

— Где у нас плясунья-то?

А ее и нет. Спрашивать один другого стали — откуда хоть она? Кто говорил — с Кунгурки пристала, кто — с Мраморских разрезов пришла. Ну, разное... Известно, приисковый народ, набеглый... Досуг ему разбирать, кто ты да каких родов. Так и бросили об этом разговор.

А золотишко еще долго на Рябиновке держалось.



«ЗМЕИНЫЙ СЛЕД»



«ОГНЕВУШКА-ПОСКАКУШКА»

ЖАБРЕЕВ ХОДОК

В Косом-то Броду, на котором месте школа стоит, пустырь был. Пустополье большенькое, у всех на виду, а не зарились. Нагорье, видишь. Огород тут разводить хлопотно,— поту много, а толку мало. Ну, люди и обегали. Всяк выбирал себе полегче, да посподручнее.

А раньше-то, сказывают, тут жилье было. Так стрень-брень избушечка, на два оконца, передом напрочапилась, ровно собралась вперевертышки под гору скакать. Огородишко тоже, банешка. Однем словом, обзаведенье. Не от силы завидное, а на примете у людей было. По всей округе эту избушку знали.

Жил тут старатель один, Никита Жабрей прозывался. Мужик в годах. Как говорится, детинка с désинкой. Молодым впору такого дедком звать, а еще в полной силе. На работе редкий против него выдюжит. Из себя был старик видный, только такой молчун, будто вовсе говорить не умеет, и характером — не задень. Никого близко к себе не подпускал. Недаром, видно, его Жабреем звали.

Этот Жабрей в одиночку больше старался, места новые искал и, случалось, находил. Придет тогда в деревню и сам скажет.

— Вот, мужики, там-то попадать золотишко стало.

И, верно, стараться можно. Когда и вовсе ладно. Только за Жабреем еще одну тайность знали. Не один раз он при больших деньгах бывал. Никто, понятно, не видал, откуда те деньги Никите приходили, а по народу разговор шел, что он тайным купцам по золотому делу самородки сдавал. И будто все самородки на одну стать: как лапоточки, ростом махонькие, а веские. И то

еще диво — как по ступенькам на прибыль шли: сперва были по фунтику, потом больше да больше, а стать одна — лапоток!

Тайные купцы, да и старатели тоже сильно охотились подглядеть, в каком месте Жабрей такие лапоточки добывает, да толку не выходило. Никита, видишь, знал, что за ним досматривают, и свою сноровку имел. Водит-водит за собой этих доглядчиков, а как темно станет — он в лес. Найди-ко, в какое место за ночь он по лесу уберется.

К жабреевой жене подсыл делали, а тоже зря. Жабреиха, видишь, как раз мужу под стать. Старуха, прямо сказать, колючая, без рукавиц к ней не подходи, и на разговор крутая. Кто без заделья придет, так она дальше порогу и в избу не пустит. Не успеет человек усы расправить да вымолвить:

— Здравствуй, бабушка!

А она его торопит:

— Еще что скажешь? По какому делу пришел?

Тот, понятно, курлыкает:

— Как, мол, живете-можете со старичком-то? Все ли по-хорошему?

— А так,— отвечает,— живем: в люди не ходим, к себе не зовем, а незваного по рылу помелом.

Поговори вот с такой!

Какие бабеночки с заделъем подбегали, будто взаймы перехватить того-другого по хозяйству, с теми поразному обходилась. Иной сразу отрежет:

— Не припасла про тебя, и напредки ко мне не ходи!

Другой без отказу дает, что попросит. Мучки там, маслица, картошки, либо еще чего и про отдачу никогда не спросит, а лишнего слова все равно не скажет. Только гостьюшка пристроится посудачить, Жабреиха таз да вехотку в руки и говорит:

— Беги-ко, Степаня, домой! Ребята ведь у тебя. Дела-то побольше моего. Я вон и то мыть собралась, а ты сидишь, будто от простой поры!

Так и жили Жабрей с Жабреихой от людей на отшибе.

Случалось, конечно, Жабрею и в артелках стараться. Это когда он новое место укажет. С почтеньем его принимали. Работник без укору, не то что за двоих, за

троих ворочает и по золоту знающий — кто такому откажет. Только не подолгу он на людях жил. Чуть что выйдет — сейчас в сторону. На артели, известно, мало ли бывает. Перекоры по работе пойдут, мошенство какое откроется, поучить, может, кого требуется, а Жаб-рею это невперенос. Послушает, как народ загамит, да и выронит свое словечушко:

— Загудело, комарино болото! Слушай, кому охота, а мне не с руки!

Скажет так-то, плюнет, подхватит кайлу да лопатку, ковш да мешок за спину — и пошел. Коли получка есть,— и то не покажется.

Раз так-то ушел — и надолго. В живых его считать перестали, а он и объявился. По самой-то троицкой воде, как все ручейки на полную силу играют, выплыл.

Год тогда, сказывают, худой издался. С золотишком заминка вышла. Ну, старателям и вовсе невесело было. Большой праздник, а им и погулять не на что. Толкуют об этом, жалуются, смекают, к кому бы припаиться на стаканчик, да тут и увидели — по полевской дороге идет Жабрей, и все на нем новешенькое. Примета ясная — при деньгах он, и сейчас на всю деревню гулянка будет.

Так и вышло. Первым делом зашел Никита в кабак, сыпнул на стойку рублей и говорит целовальничихе:

— Цеди, Ульяна, всем допьяна! Пускай ни один комар не гудит, что Никита Жабрей свою долю в кошельке зажал, людям не показал. Гляди — вот она!

А сам сыплет да сыплет рубли.

Народ знал, что Никита начистоту гуляет, до последнего рубля и без покору,— живо со всей деревни сбежались. Иные, конечно, с простоты: почему-де не выпить, коли наливают, а больше того с хитрости: про себя думают, не распояшется ли Жабрей, не проговорится ли о местечке, где золотые лапоточки плетут. Только Жабрей свою мерку знал. Выпьет, сколько ему надо, сыпнет еще на стойку и накажет целовальничихе:

— Гляди, Ульяна, наливай безотказно. Мужикам простого, девкам, бабам — красненького. Кто сколько поднять может. Коли перепьют — доплачу, не допьют — твой барыш. С утра по другому расчету пойдет.

Целовальничиха рада-радехонька, на четыре стороны развертывается: одной рукой наливает, другой — рубли

загребает, Жабрею кланяется: дескать, все сделано будет, а сама мужу шепчет:

— Гони-ко, Иван, на винокурню, вези хоть две бочки, а то не хватит.

Из кабака Жабрей по своему обычаю в лавку, а там его давно ждут. Торгаш тоже дошлый был. Деревнешка хоть маленькая, а на случай старательского фарту всегда в лавке дорогой товар был, из того числа, что деревенскому человеку вовсе ни к чему.

Никита из этого товару обнов наберет своей старухе. Ну, шаль ковровую, как полагается, башмаки с пряжкой, шелку цельный кусок, еще что поглянется. Себе тоже обнов накупит и говорит торгашу:

— Снеси моей старухе. Никита, мол, Евсеич кланялся и велел сказать жив-здоров, скоро домой придет. Пущай капустных пельмешков настряпает да кваску наготовит. Не меньше двух жбанов.

Торгаш убежит, а Никита в лавке сидит, дожидается. Потом спрашивает:

— Ну, что?

— Да ничего,— отвечает,— отдал.

— Что старуха говорит?

— Взяла,— отвечает,— обновы, в угол бросила, а ничего не сказала.

Никита не верит:

— Не может этого быть, чтоб мужнино подаренье без слова приняла.

Торгаш тогда и говорит:

— Три только слова и было.

— Какие,— спрашивает,— слова?

— А как приняла обновы, вздохнула и молвила: «Ох, старый дурак!»

Никита смеется:

— Верно говоришь! Старухин обычай. Все, значит, в добром здоровье. Торопиться некуда. Давай ребят потешим маленько. Тащи решетку!

Торгаш уж знает дело. Притаскивает рудничную решетку и спрашивает:

— Сколько велишь навешать и каких?

— Сыпь на глазок, с верхом! Всякого сорту, только в бумажках, гляди, а голых не надо!

Торгаш, конечно, без мошенства не может. Какие конфетки подешевле, тех сыплет больше, а которые по-

дороже — тех самую малость, а считает наоборот. Ну, Никита к тому не вяжется. Отдает деньги и выходит с решеткой на крылечко, а ребята со всей деревни сбежались. Только у крылечка не стоят, а поблизости игры завели: кто — в бабки, кто — шариком, девчонки — опять в свои игры. Они, видишь, знали жабрееву повадку: коли увидит, что его ждут, назад решетку унесет. Ребята и прихитрятся, будто ничем-ничего не знают, а просто играть сбежались.

Никита видит — не ждут его, и давай горстями во все стороны конфетки швырять. Ребята, конечно, конфетку не часто видали, кинутся подхватывать — свалка тут пойдет. Коли по нечаянности кого сшибут, либо лбами стукнутся — Жабрей ничего,— смешно ему, а коли расстервенятся и до драчишки дело дойдет,— тут зубами скрипнет, бросит решетку и вымолвит:

— От комаров, видно, комарята и родятся!

Потемнеет весь — и домой. Заберется на свою горушку, пристроится на завалинке и заведет голосянку. И тут к нему не подходи: всякого сшибет. Одной старухе свободно.

В деревне по случаю жабреевой гулянки шум да гам, песни поют, пляски заведут, а Жабрей сидит на горушечке да тянет одно:

— Комары вы, комары, комарино царство.

Ночью уж старуха уведет его в избу, а проспится — с утра все по порядку. Сперва в кабак, потом обновы старухе покупать и ребятам конфетки разбрасывать. У старухи, бывало дело, полный угол обнов накопится. Потом, как денег не станет, тому же торгашу за десятую копейку сдавала, за которое плачено полсотни — за то пятерку, за которое десятка сорвана — за то рубль.

Когда у ребят дележка без драки пройдет, в тот день Жабрей до вечера по деревне гуляет. С другими старателями песни поет, пляшет тоже, а домой все-таки один идет, никого ему не надо. Если кто и вовсе подладится к Жабрею, все равно откажет:

— Друг ты мне, а на горушку ко мне не ходи! Не люблю.

Так и шла гулянка, пока все деньги не выйдут. Только на этот раз с первого дня другой поворот вышел.

Вынес Никита решетку с конфетками, стал разбрасывать. А в ребятах случился парнишко один, Дениско Сирота его звали. Годами еще молоденький, а долговязый. Другие парнишки, его-то ровня, дразнили:

— Дениско, переломись-ко, вровень пойдем!

По сиротству этот парнишко давно в песковозах ходил и по росту за большого считался. Ну, все-таки молодой умок — ему любопытно поглядеть на жабрееву гулянку. Дениско и подобрался поближе к лавочному крылечку и тоже будто с ребятами играет. Как все кинулись на подхват конфетки ловить, Дениско стоит и смотрит. Никита увидел, кричит ему:

— Ты, долган, что не ловишь?

И бросает ему целую горсть. Другие ребята налетели, а Дениско отодвинулся маленько, чтоб его с ног не сшибли. Никита тогда и спрашивает:

— У тебя, Дениско, что? Спина болит?

— Нет,— отвечает,— спина не болит, а не к чему мне это. Я, поди-ко, большой.

— А коли большой,— говорит Никита,— ступай в кабак. Выпей за мое здоровье хоть красного!

— Мне,— отвечает,— мамонька перед смертью наказывала: «До полной бороды в рот капли вина не бери, а дальше, как знаешь».

Никита удивился:

— Вон ты какой! На, нето! — и бросает ему сколько-то серебряных рублевиков. Только Дениско их не поднимает да еще говорит:

— Милостинку теперь не собираю. Вырос — свой хлеб ем.

Никита, конечно, разгорячился. Заревел на других ребятишек:

— Отойди в сторонку! Сейчас погляжу, какая у этого гордыбаки сила!

Выхватил из-за пазухи пачку крупных денег и хвать ими перед Дениском. А тот, видно, тоже парнишко с норовом, говорит:

— Сказал — милостинку не собираю, а с собачьего бросу и подавно.

Никита от таких слов себя потерял: стоит — уставился на Дениска. Потом полез рукой за голенище, выволок тряпицу, вывернул самородку,— фунтов, сказы-

вают, на пять,— и хлоп эту самородку под ноги Дениску, а сам кричит:

— Не хвастай через силу! Это ты у меня подымешь!

Ну, Дениско,— то ли он такой упорный пришелся, то ли цены настоящей самородку не понимал,— не поднял. Поглядел только да сказал:

— Такой бы лапоток самому добыть лестно, а чужого мне не надо.

Повернулся и пошел. Никита опамятовался, подбежал, подобрал деньги и самородку и кричит Дениску:

— Тебе хоть что надо?

— Ничего,— отвечает,— не надо. Поглядеть приходил, как ты перед народом удачей хвастаешь.

Никите обидно, что парнишко его укорил, а смолчал. Маленько погодя кричит вдогонку:

— Дениско, воротись-ко!

А ребята подхватили:

— Дениско, переломись-ко! Дениско, переломись-ко!

Дениско ничего, подошел спокойно. Тогда Никита и говорит ему потихоньку, чтоб другие не слышали:

— Ты, парень, прибеги-ко ко мне утречком, как вовсе трезвый буду. Может, я тебе скажу про мурашину тропку, а дальше сам за себя отвечай. Коли пустят тебя каменны губы, так салку нехитро на горячую, либо на мокрую отворотить. Тогда и лапотков добудешь.

— Ладно,— отвечает,— дядя Никита. Спасибо скажу, коли дорогу укажешь.

— Это,— говорит Никита,— не за спасибо, а за то, что жадности в тебе не видно. Давно такого присматриваю.

Поговорили так и разошлись, а больше им свидеться не довелось.

Жабрей после этого случаю сразу к себе на горушку уплелся. Потихоньку шел, вроде крепко задумался и про комаров в этот день голосянку не тянул. Видели люди,— он со старухой на завалинке сидел. Долго сидели, как молодожены какие, и о чем-то судили да дружно так. Деревенские прямо диву дались.

— Глядите-ко, Жабрей с Жабреихой наговориться не могут. Не иначе, перед смертью.

Шутили, конечно, а так оно и вышло. Наутро прибежал Дениско к Жабрею и видит — все двери целехоньки, а в сенках и в избе все в полном разбросе: кое оп-

рокинуто, кое перевернуто, кое в щепы разбито. Посередке избы тяжеленный лом-черемуха, а людей никого нет.

Дениско забеспокоился, побежал в деревню, рассказал, так и так, неладно у Жабреев. Народ, хоть с похмелья, сразу побежал на горушку. Стали разглядывать, как да что. По начальству дали знать. Ну, разобрать толком не могли. Одно видно — воевали тут крепко, впотемках почем зря хлестали и в голбце рылись, а одежду не пошевелили и обновы, как бросила их старуха в угол, тут и лежат. Крови не оказалось, и следов на земле около избы не видно. Место, видишь, плотик да камень, следов оно не держит. И то сказать, вся деревня сбежалась, что и было — все затоптали.

Начальство, понятно, караул к пустому месту поставило и давай народ доспрашивать, кто что сказать мог.

На то выходило, что и деревенских завинить некого: кто в ту ночь вовсе без гач пьяный лежал, кто у других на глазах был. И на то намекали, что хитники из Кунгурки приходили, потому — тамошнего тайного купца подручников в деревне видели. Многие на того купца доказывали, как он не раз людей подговаривал за Никитой подглядывать. Только разве такого завинят, коли все начальство им задарено?! На то повернули, что Дениско Сирота первый тому был подводчик. Ему, дескать, Никита деньги и самородку показывал, и не зря этот парнишко утром тут оказался.

Подлость, конечно, а взяли парнишка в острог, да и мытарили там сколько-то годов. Купца, значит, тем выгородили и будто свое дело сделали — виноватого нашли. Привычно им так-то вертеться было.

В деревне про Дениска скорехонько забыли. Присковый народ, известно, не больно на людей памятлив. Мало ли с кем случается сбегаться. Своих у Дениска не было,— кто о нем печалиться станет. А он сидит в остроге да думает — вот найдут Жабреев, и все по правде откроется.

Ну, все-таки Дениска выпустили. Вовсе большим он в деревню пришел. Первым делом ему охота узнать, что про Никиту с женой слышно и кто в их избушке живет. Спросил, а никто не знает, и на горушке званья от жилья не осталось. Известно, бесхозяйственный дом недолго стоит, живо его разнесут, а тут еще припомнили,

что хитники в голбце чего-то искали. Ну, и давай тоже рыться. Все перерыли, и на месте жабреева обзаведенья стал пустырь с ямами.

Дениску это обидно показалось. Вот, дескать, знающий по золоту человек был. Богатства не нажил, все людям раструсил. Места новые показывал. И старуха худого людям не делала, а только и осталось, что пустопорожнее место с ямами.

Пошел на горушку, сидит там да раздумывает. И то ему на память пришло, что Никита говорил, когда к себе звал.

«Про какую это мурашину тропку он сказывал? И что это за каменны губы?»

Думал-думал, на том решил:

«Мурашиных тропок мало ли. Кто их разберет, которую надо, а каменны губы поискать можно. Не набегу ли ненароком?»

Надумал так, да тут и углядел — у самой мурашиной тропки сидит. Тропка как тропка. Мурашики по ней ползут, только все в одну сторону, а встречных не видно. Дениску это любопытно показалось. «Дай,— думает,— погляжу, в каком месте у них хозяйство». Пошел около этой тропки, а она куда-то вовсе далеко ведет. И то диво — мурашики будто больше стают, и как где место пооткрытее, там видно, что на лапках у них вроде искорок. Что за штука? Взял одного, другого, посмотрел. Нет, ничего не видно. Глаз не берет. Пошел дальше и опять примечает: растут мураши на ходу. Опять возьмет которого в руку и давай разглядывать. Видно стало, что на каждой лапке как капелька маленькая прильнула. Дениску это вовсе удивительно, он и шагает вдоль тропки. Так и вышел на полянку, а там из земли два камня высунулись, ровно ковриги исподками сложены: одна снизу, другая сверху. Ни дать, ни взять — губы.

Мурашиная тропка как раз к этим губам и ведет, а мураши как на полянку выйдут, так на глазах и пухнут. Их боязно и в руку взять: такие они большие стали. А на лапках явственно разглядеть можно, как лапотки надеты. Подойдут к каменным губам — и туда. Ходок, видно, есть.

Денис подошел поближе поглядеть, и каменны губы широко раскрылись, дескать, ам! Денис испугался, по-

нятно, отскочил, а губы не закрываются, будто ждут, и мураши идут своей прямой дорогой прямо в эти губы, ровно ничего не случилось. Денис осмелел маленько, подошел поближе, заглянул, что там, и видит — место туда скатом крутым идет, вроде катушки, только самой вязкой глины. Прямо сказать, плывун, чистая салка. По этому плывуну мураши и то еле пробираются. Нет-нет, и лапотки свои оставляют, только не одинаково. У иных салка сразу их снимет, и дальше тот мураш легонько идет. Другой ниже спускается и прямо на виду в росте прибывает. Вошел, скажем, в каменны губы ростом с большого жука, а шагнул дальше — вырос с ягненка, еще ниже подался — стал с барана, с теленка, с быка. Дальше и вовсе гора-горой ползет, и лапти у него, может, по пуду, а то и больше. Пока лапти в салке не оставит, потихоньку идет, а как снимет все до одного, так и пойдет скользить не хуже плавунца, и в росте больше не прибывает.

Денис понял тогда, из какого места золотые лапотки приходили, только ему невдомек, как Никита этой страсти — больших-то мурашей — не боялся. Подумал так, а мураши и стали один по одному уходить, и новых к каменным губам больше не подходит.

«Вон,— думает,— что! Перемежка, видно, тоже бывает, а вот надолго ли?»

Про лапотки он так понял, что их можно прямо рукой из салки добыть. Дениса и потянуло попытать свою долю,— хоть сверху маленько порыться. Только и то смекает, как по такому крутику без каелки обратно выбраться. Он и стал искать, нет ли поблизости каряжинки, либо жердинки суковатой, да и углядел в кусте бадейку. Небольшая бадейка, а широконькая. Тут дровца наготовлены, около них каелка да две лопатки: одна железная, другая деревянная.

Денис по приискам с малых лет мытарился, понял — к чему это. Забрал лопатки, кайлу, бадейку, дровец тоже охапочку на поясе прихватил, подошел к каменным губам, а они и закрылись. Как два камня один на другом лежат, и никакого ходу тут не бывало.

Запечалился Денис, а что сделаешь? Кайлой такие камни не разворотить. Хотел он обратно в кусты все составить, да губы опять и открылись. Широко так и будто пошевеливаются — ам! ам! Ну, Денис не струсил,

раздумывать не стал — сразу вниз полез. В салке, конечно, лапотков золотых не оказалось, они ниже, в песках загрузли, только добраться до них, кто умеет, недолго. Салку, известно, у нас на горячую железную лопату берут, а того лучше, на мокрую деревянную — так блином и поддевай. Денис живо привесился, очистил место и давай из песка золотые лапотки выковыривать. Много нарыл больших и маленьких. Только глядит — темней да темней стает, губы закрываются. Денис и смекает:

— Видно, я пожадничал, куда мне столько? Возьму две штуки. Одну Никите на помин, другую себе — и хватит.

Надумался так — губы и раскрылись — выходи, дескать.

С каелкой по какому хочешь скату вылезти просто.

Прихватится, подтянется — и дальше. Вылез Денис и всю орудию на старо место поставил. Один лапоток, который поменьше, в сапог запрятал, а другой, точь-в-точь такой, как у Никиты видел, за пазуху сунул и сразу в Кунгурку пошел.

Нашел там тайного купца, про которого разговор был, подкараулил в тихом месте и спрашивает:

— Хочешь к паре купить?

Достал из-за пазухи лапоток, да и показывает из своей руки. Купец, понятно, обрадовался:

— Почем золотник!

Денис и говорит:

— Даром отдам, коли укажешь, куда Никиту со старухой запрятал.

Купца, видно, жадность одолела, не поостерегся и говорит:

— У Мраморского разреза, в старый ширф сбросили.

— Показывай! — говорит Денис.

Пошли. Указал купец:

— Это место!

— Получай тогда! — Денис развернулся и хлоп купца самородкой по лбу.

Самородка-то — она фунтов на пять была. Понимай, что выйдет, коли такой штукой по лбу свистнуть да еще с полной охотой.

Вскорости этого купца нашли, и золотой лапоток рядом положен — дескать, этой печатью приложено.

Потом из-за этой золотой печатки чуть всех судей не засудили. Каждый, видишь, хотел ее себе прикарманить, а другие не давали, жаловались по начальству — такой-то, дескать, вор, грабитель, его по всей строгости судить надо. До той поры это дело тянули, пока до главного судьи не дошли. Да тот, понятно, сразу решил:

— Надо,— говорит,— мне эту печатку домой свозить, кислотой опробовать,— точно ли золотая?

Увез золотой лапоток и сразу его в потайной сундук, а сам взял от старого подсвечника обломок, почистил его маленько, привез обратно и говорит:

— И рядом с золотом эта штука не лежала.

Все, конечно, видят,— на глазах мошенство сделано, да жаловаться на главного судью не посмели. А он радуется, про себя похваляется:

— Ловко я их обставил! Недаром, видно, меня главным судьей поставили.

Приехал домой и первым делом полез в потайной сундучок, а его, видно, проел червячок: ничего нет. Хвать-похвать — найти не может. Был золотой лапоток, а стала сквозная дырка. В горсть ее не возьмешь.

И Дениса тоже, сколько ни искали, найти не могли. Он, видно, в Сибирь либо куда в другое место подался.

О каменных губах маленько разговаривали, в котором то есть месте искать их. На то намекали, что близко Денисовского рудника, только настояще не знаю.

Чего не знаю, того не знаю, выдумывать не согласен. Привычки к этому нет.

ЗОЛОТЫЕ ДАЙКИ

Кто-то сказывал, что дайки — чужестранное слово. Столбик будто по-нашему обозначает. Может, оно так и сходится, только наши березовские старики смехом смеялись, как такое услышали.

— Какое же,— говорят,— чужестранное, коли чисто по-нашему говорится и у здешних раньше в словинку входило. Вроде заклятья его берегли. Не всякому из своих сказывали. Как дойдет до настоящей породы, так кто-нибудь в этом сведущий и бормочет ту словинку. Пустяк, конечно. Пустословье одно, вроде ребячьей приговорки, да к тому речь, что дайка тут родилась, в нашем заводе, и не след ее чужим людям отдавать. Себе пригодится. Может, в ней, в этой самой дайке, вся маята первых золотых добытчиков завязана. Поворошить такое — старикам услада, молодым — наученье. Пусть не думают, что деды-прадеды золотые пенки снимали. Тоже, небось, и рук не жалели и часов не считали, а сколько муки приняли, то по нынешнему времени и не поймешь сразу. Известно, в чем понавыкнешь, то всегда легко да просто кажется, а ведь сперва не так было. На деле с нашим березовским золотом вовсе мудрено вышло. Как нарочно придумано, чтоб до концов не добраться.

Ведь с чего началось? Искал Ерофей Марков дурмашки да строганцы и нашел в той яме золотые комышки. Вроде и просто, а как подумаешь,— большая это редкость, чтоб в здешнем жильном золоте отдельно комышек найти. Золото у нас, поди-ка, полосовое, полосами в земле лежит и крепко в тех полосах заковано. Посвободнее маленько только в жилках, кои те по-

лосы пересекают. Наши старики, как потом научились эти поперечные жилки выковыривать, приметку оставили:

«В которой жилке турмалин блестит либо зеленая глинка роговицей отливает, там золота не жди. А вот когда серой припахивает либо игольчатник-руда пойдет, айконитом-то которую зовут, там, может статься, комышек готовенького золота и найдешь».

Вот на такую-то редкость Ерофей и наскочил, да еще в ту пору, когда по всей нашей земле золота добывать не умели. И немцы, которых в городе за сведущих кормили, тоже в этом деле кукарекать не навыкли. Видимость только делали, будто что разумеют.

Ну, вот... Нашел Ерофей Марков золота, принес по начальству, честно указал место, а стали искать — даже званья не оказалось. Как быть? Пришлось нашему первому золотодобытчику голову на плахе держать да под палачевским топором клясться-божиться:

— Места не утаил, а куда подевалось золото, того не ведаю.

А ему обещают:

— Как в срок не укажешь место, голову отрубим.

При таком-то положении недолго умом повихнуться. Неведомо кого просить-молить станешь, а то и грозиться примешься. Это уж кому что подойдет.

Не один Ерофей из-за золота сна-покоя лишился. У других, кто про находку узнал, тоже руки зачесались: мне бы! Разговоры всякие про золото пошли. Которое, может, и от тогдашних шарташских стариков в те разговоры налипло.

Ерофей-то из Шарташа происходил. Коренной тамошний житель. А в Шарташе в ту пору самое что ни есть кержацкое гнездо было свито. Когда еще нашего города и в помине не было, туда, на глухое место у озера, и набежало скитников-начетчиков с разных концов. Иные, сказывают, с Выгорецких каких-то пустынь, другие — с Керженца-реки. Этих, видно, больше, потому шарташских и прозвали кержаками. Скитов, мужских и женских, порядком тут поставлено было. И все эти скитники-начетчики большую силу в народе имели.

Конечно, и скитники не одним дыхом да молитвой живут, тоже хлебушко едят и от медку не отказываются. Вот они и давали народу ослабу.

Вы, дескать, в миру живете, вы и трудитесь, как всякому полагается, а мы молиться станем. Чем лучше нас кормить будете, тем молитва доходчивей.

Только и про то скитники наказывали, чтоб с бритоусами да табашниками народ не якшался:

— Они вас живо под печать антихристову подведут. Не смигнешь — припечатают!

Ясное дело, боялись, как бы народ не перестал их слушаться. Вот страху и нагоняли. А народ, хоть в потемках ходил, разумом не обижен: скитников-начетчиков слушал, а про себя то соображал, что ему лучше. Как стали в здешних местах город строить, шарташские и запохаживали поглядеть, что за люди появились и какую думку имеют. Скитники забеспокоились, зашипели: «Кто с городскими свяжется, тому царства божьего не видать».

Только ведь не зря говорится: «Который огонь не видишь, о том не думаешь, а к ближнему костерку всякого тянет». А тут, считай, вовсе большой по тому времени костер развели, когда наш-то город ставили. Ну как — реку перехватить, крепость поставить, завод на всякое железное дело, чтоб якоря ковать, ядра лить, посуду делать. Каменное дело тут же. Шарташским и было около чего походить, чему подивиться. Скитники вовсе всполошились, проклятием грозить стали. Иные, понятно, испугались, а которые крепко залюбопытствовали, тех не проняло. В числе этаких-то и оказался Ерофей Марков. Его, надо думать, каменная сила захватила. Она, известно, кого краешком зацепит, того не выпустит. Нашел один камешок, стал другой искать, а там третий где-то близко. Его найти непременно надо. Так и пошло. Скитникам это не любо, а проклинать все ж таки боятся: если этого не проймешь, с другими сладу не будет. Ерофей это по-своему понял: притерпелись старики. После этого он и сторожиться не стал, а они за ним неотступно доглядывали. Как нашел Ерофей золото, скитники живо это пронюхали и шум подняли.

— Гляди-ка, что Ерофейко наделал! Золотого змея из земли выпустил! Погибель скитам нашим! Погибель! Набегут бритоусы и всю нашу пустыню порушат. Убить Ерофейку мало, а место зарыть, чтоб золотой змей силу не взял!

Ну, нашлись такие, кто этих скитников послушался. Ночью к яме вывезли возов десяток чего попало и завалили место. Скитники одно приговаривают:

— Вали больше, чтоб золотому змею ходу не было!

Немцам, коим доверили оглядеть ерофееву яму, эта скитническая дурость к руке пришлась. Немцы, может, и догадались о подсыпке, да им-то что! Поковырялись для видимости, нашли вовсе другое, чему тут не место, да и потянули Ерофея к ответу, как за обман. А скитники шарташские радуются: отвели беду, сохранили пустыню.

Только и в Шарташе не все так думали. Нашлись такие, что по-другому поняли и начали перешептываться:

— Ерофей-то, верно, золото нашел. Порыться бы кругом того места. Может, и нам покажется. С золотом и пустыню можно по боку. Пусть, кому надо, за нее держится, а нам и без нее не тоскливо.

Скитники-начетчики прослышали, грозятся:

— Проклянем, кто посмеет ерофейкин погибельный путь торить!

Только когда это бывало, чтоб молодые во всем стариков слушали. Недаром слово молвлено: старому с молодым и во сне не по пути — разное грезится. Сколько старики ни угрожали, у молодых ерофеева находка из ума не выходит. Которые посмелее, те стали около ерофеевой ямы всякие дела себе выискивать. Кто, скажем, корягу для кормовой колоды на том самом месте нашел. Кто опять виловище выбирает, а оно у той же ямы выросло. Скитники видят,— не пособиться им без самой большой острастки, собрали всех шарташских поголовно и давай дудеть:

— Кто станет около ерофейкиной ямы топтаться, того из Шарташа выгоним и семью не пощадим!

— Про то скитники, видно, забыли, что пугать все ж таки с опаской надо. Кто испугается, а кто и нет. Бывает и так, что от лишней угрозы люди такое делают, о чем раньше и не думали.

В Шарташе в ту пору жила одна семья — семь братьев. Стариков в той семье не осталось, но братья дружно держались, одной семьей жили, а все женатые. Посчитай, сколь народу! Братья это понимали и крепко не любили, чтоб им кто грозил. Насчет ерофеевой ямы у них до того и в помыслах не было, а как стали

скитники грозиться, их ровно муха укусила. Стали поговаривать, что, дескать, такое, почему старики не в свое дело лезут, какое у них на то право. Скитники узнали, понесли на братьев: они в вере не тверды. Так, сказывают, и было. Братья без своих стариков жили, досматривать за чином-обрядом некому было, они и обходились с божественным простенько: досуг — помолятся, недосуг — и без того обойдется. У стариков-начетчиков эти семеро братьев давно на примете значились, да подступить к ним боялись, а тут сгоряча и налетели. Братья, конечно, в обиде, в открытую заговорили:

— Не мешало бы разведать, нет ли у стариков корысти в ерофеевой яме, и про то узнать надо, почему у мужика незадача вышла. Не пьяный, поди, был, место хорошо заметил, а стали копать — ничего не оказалось. Не подстроил ли кто в этом деле штуку какую?

Сами, понятно, знали, кто и сколько возов вывез, чтоб следок к золоту запорошить. Скитники-начетчики чуют, к чему клонится, вой подняли:

— Веру потоптали! Городским табашникам продались! Выгнать всех из Шарташа! Чтоб и духу не осталось!

Братья на дыбы:

— Попробуй! Скиты разнесем!

За скитников, понятно, заступились, и за братьев тоже. Шарташ и закачался,— на две стороны пошел. В задор люди вошли. Всяк свое доказать хочет. От скитников больше всех старался Михей Кончина. Мужик справный, а на разговор скупой. Слово-то у него по праздникам услышишь, а тут горячится, кричит, кулаками грозит. И в семьях свара пошла. У одного из семерых братьев жена в скиты сбежала: испугалась стариковских слов.

С этой свары и стали по-настоящему золото искать. Перфил, у которого жена-то от греха в скиты ударилась, так и объявил:

— Жив не буду, а золото найду! Тут оно где-нибудь!

За этим Перфилом другие потянулись, принялись землю ворошить. Все-таки от той ямы, кою Ерофей раскопал, далеко не уходили. Разговоров про золото еще больше стало. Всяк по-своему судит, как его искать, да

от какой причины оно в земле заводится. По темноте плетут несусветное, и от скитников-начетчиков нитка тянется про скованного в земле золотого змея. Однем словом, неразбериха. До того в этих разговорах запутались, что иные от поиску отставать стали. Другие, наоборот, еще усерднее за рытье принялись. Глядишь, то один, то другой и наскочит на породу с золотой искрой. Блестит въяве, а не возьмешь. Начальство около этих новых ям толчею на речке поставило. Стали ту породу пестами долбить, потом через огонь из нее золото добывать. Толку немного получалось, только всем видно стало,— есть в той породе золото и добыть его можно.

Народу все-таки охота добраться до тех золотых комышков, какие Ерофей нашел. Ну, никак не выходило. Потом уж это открылось через одну женщину да вовсе зряшного мужичонку, коего жена заставила в новом месте яму рыть.

Так вышло. У Михея Кончины в семье была его сестра. Глафирой звали. Девушка, сказывают, пригожая и работящая. Женихов у нее хоть отбавляй. Только Михей с этим не торопился: выбирал, видно. Сама Глафира тоже никого не приглядела. Тут вот и подвернулся Вавило Звонец. Мужичонко, прямо сказать, незавидный. Из таких, кои больше всего любят по завалинкам посидеть да побалакать. Руки-то ему только на то и надобны, чтоб языку пособить: где развести, где помахать, где пальцами прищелкнуть. Зато языком Вавило, как говорится, города брал. Кого хочешь заставит уши развесить.

Этот Вавило Звонец и подсыпался к михеевой сестре На ту пору у него беда приключилась: жена умерла. Ребят хоть не осталось, а все-таки вдовцу несладко жить. Вавило, значит, и стал напевать про свою участь горькую. Разжалобил девушку до того, что она самоходом за него замуж выскочила. Скитники-начетчики побаивались, конечно, Михея, только и Звонец им не чужой. Подумали-подумали, окрутили. Михей в обиде на скитников, а сестре заказал передать:

— Больше ко мне на глаза не кажись!

У Глафиры со Звонцом доли не вышло. Известно, сколь жена не колотись, а если у мужа один язык в работе, так в квашне не густо. Глафира у брата в до-

статке жила, впроголодь-то ей живо наскучило. Она и говорит мужу:

— Ну, Вавило, живи, как тебе мило, а я тебе больше не жена. Потому — не работник ты, а вроде худого ботала.

Вавило давай улещать ее, только она не поддается.

— Слыхала,— говорит,— сладких слов от тебя немало, да дела не видела.

— Вот погоди,— отвечает,— дай только журавлей дождаться, увидишь, какой я человек.

— На что,— спрашивает,— тебе журавли сдались? На хвостах, что ли, богатство принесут?

Смеется, видишь, а сама залюбопытствовала маленько. Звонцу того и надо. Который человек залюбопытствовал, того непременно оболтает, потому из таких был,— сам себе верил. Звонец и принялся расписывать.

— Многие,— говорит,— золото ищут, а ни у кого настоящего понятия нет. В старых списках про это по всей тонкости показано. Владеет золотом престрашный змей, а зовут его Дайко. Кто у этого Дайка золотую шапку с головы собьет, тот и будет золоту хозяин.

Глафира сперва не верит, посмеивается:

— Журавли-то тут с которого боку пришлись?

— Журавель,—отвечает,— в том деле большую силу имеет. В ту самую ночь, как журавли прилетят, змей Дайко ослабу в своей силе дает. Тогда и глуши его тайным словом!

Глафира и давай спрашивать, что за тайное слово, коим можно змея глушить, и как до того змея добраться. У Звонца, конечно, на все ответ готов.

— Надо,— отвечает,— в потаенном месте яму вырыть поглубже да в ней и дожидаться, когда журавли закурлыкают. Змей Дайко, как услышит журавлей, поползет из земли их послушать. Весна, видишь, он и разнежится. Приоденется для такого случаю. На голове большущий комок золота вроде шапки али, скажем, венца, а по тулову опояски золотые, с каменьями. Под землей Дайко ходит, как рыба в воде, только через яму ему все-таки ближе. Он тут и высунет голову. Человек, который в яме сидит, должен сказать самым тихим голосом:

— Подай-ко, Дайко, свой золотой венец да опояски!

От того тихого голоса Дайко очумеет, голову маленько сбочит, будто слушает, да разобрать не может. Тут и хватай у него с головы золотой комок. Коли успеешь, ничего тебе змей не сделает. С шапкой-то он силу свою потеряет и станет камень камнем, хоть кайлой долби. А коли оплошаешь, да поглядит на тебя змей Дайко,— сам камнем станешь.

Глафира смеется:

— Такое дело и удалому по грудки, а тебе выше головы!

Звонец все-таки недаром так назывался. Оболтал-таки жену, поверила, а про себя думает: «Заставлю испытать на деле». Вот и начала донимать Вавилу, чтоб поскорее яму в потаенном месте готовил. Тот отговорки всякие придумывать стал: время не подошло, земля не оттаяла. Только Глафира не отступает, за ворот взяла:

— Пойдем выбирать место.

Вавило еще отговорку придумал: днем нельзя,— скитники увидят, а ночами какая работа в эту пору, когда волков сила.

Глафира свое твердит:

— Огонь на что? Разведешь — не подступят к тебе волки.

Добилась-таки своего. Пришлось Звонцу собираться. Кайлы, конечно, у него не было заведено, так он топортупицу взял. Ну, ломок да лопатку тоже. Собирается так, а про себя думает: «Отсижусь у соседей либо у скитников, утречком пораньше домой прибегу».

А жена свое в голове переводит: «Что-то мой муженек волков боится, а об огне у него и думы нет. Сфальшивить, видно, хочет».

Подумала так и говорит:

— Сама с тобой пойду.

Звонец давай отговаривать:

— Не пригоже такое женскому полу. Небывалое дело.

Глафира уперлась:

— Мало что не бывало, а теперь стало.

Так и не мог Звонец отбиться, пошла с ним Глафира.

Полный горшок углей из загнетки нагребла. Звонец злится да хитрости придумывает:

— Когда на то пошло, заведу ее подальше. Ноги по снегу-то наломает, другой раз не пойдет.

И скитников тоже побаивается: как бы они не узнали, что золото искать выдумал. Вот, значит, идут да идут, помалкивают оба. Глафира женщина в силе — что ей? Звонец притомился,— язык высунул. Подбодрило, как волков услышал. Ноги сами наутек пошли, да Глафира остановила:

— Что ты, дурак такой, а еще мужиком считаешься! Неуж не слыхал: коли кругом волки завыли, одно спасенье — разводи огонь!

Так и сделали. Остановились на полянке и скоренько развели костер. У Звонца зуб на зуб не попадает, а Глафира распоряжается:

— Выбирай место!

— Это,— отвечает,— самое подходящее.

— Коли так, начинай бить яму!

Звонцу что делать? Принялся, а земля мерзлая, и руки непривычные. Видит Глафира: толку не выходит, занялась сама. Сразу смекнула, как костром работе помогать. Пошло дело. Глафира работает, а Звонец на волков озирается. К утру волчишки затихли, поразбежались, и Звонец с Глафирой домой пошли.

С неделю ли больше Глафира так своего мужа в лес таскала. Натерпелся он страху. Ну, все-таки ямку вырыли. Мало-мальскую, конечно. На том самом месте она пришлась, где теперь старый березовский рудник показывают.

Как весна подходить стала, Глафира опять мужика в лес потянула: не пропустить бы прилет журавлей. Только Звонец на этот раз отбился. Насказал, что по всем книгам женщине не указано при таком случае быть: змей ее сразу учует. Выгородил, чтоб одному идти, а у самого одно на уме: «Ни за что на такую страсть не пойду». Глафира, конечно, подозревала, каждый вечер провожала мужа из дому, да по потемкам он увернется и куда-нибудь к своим приятелям утянется. А как журавли прилетели, объявил жене:

— Не показался мне змей Дайко. Учуял, видно, что женщина в этой яме была.

Глафира тут не вытерпела. Плюнула Звонцу в бороденку и говорит:

— Эх ты, сокол ясный! Нашел отговорку — подолом прикрыться! Дура была, что такого слушала! Других журавлей поджидать не стану. Живи, как знаешь, а я ухожу!

Звонец опять языком заработал, только Глафира и слушать не стала,— пошла. А куда ей? К брату и думать нечего, потому — Кончина: сказал слово — не отступится от него. Да Глафира и сама той же породы: оплошку сделала — плакаться не станет. Скитницы, на ее житье глядючи, давно ее в скиты сманивали, потому — работница без укору. Да, видишь, дело молодое, грехов не накоплено, каяться не тянет. Глафира и придумала в город податься.

В городе в ту пору большая нехватка женщин была. Увидели такую молодую да пригожую, со всех сторон набежали. Одни болезнуют, как ты такая молодая в таком месте жить будешь, другие это же говорят, и всяк к себе тянет. Глафира — женщина строгая, объявила:

— Не пойду без закону!

За этим тоже дело не стало. Хоть рядами женихов составляй. Глафира и выбрала, какой ей показался поспокойнее, да и обвенчалась с ним по-церковному. Кержацкое-то замужество тогда в счет не брали.

Когда до Шарташа слухи дошли, скитники-начетчики на две недели вой подняли. Нарочно в город своих людей послали передать Глафире:

— Проклята ты в житье и потомстве твоем до седьмого колена. Не будет тебе части в небесной радости и счастья на земле.

Однем словом, не поскупились. Случай небывалый, чтоб кержачка из Шарташа по-церковному обвенчалась. Старики и нагоняли страху, чтоб другим неповадно было.

Не знаю, испугалась ли Глафира небесной грозы, а земная доля у нее опять не задалась. Шарташские, видишь, в ту пору на бродяжьем положении значились и ни за барином, ни за казной не числились. Глафира и была в ничьих, а как вышла замуж, так и попала в крепостные. Как говорится, выбралась из глухого рему в болотное окошко!

Муж Глафире неплохой будто попался. Из маленьких начальников, вроде нарядчика по работам. Ну, из боязливых. Больше всего за то беспокоился, как бы ба-

рина чем не прогневить. С год ли два все-таки ладно жили. Об одном Глафира скучала: ребят не было. И к счастью оказалось. Барин, видишь, приметил пригожую молодицу и велел наряжать ее по вечерам в барский дом полы помыть да постель сготовить. Глафира слыхала об этой барской повадке, сказала мужу, а тот глаза в пол, да и говорит:

— Что же такого! Мы люди подневольные.

Глафира остолбенела от такого слова. Ну, смолчала, а про себя подумала: «Ни за что не пойду». Раз не пошла, другой — не пошла, в третий — барские слуги за ней пришли. Мужа, конечно, в ту пору дома не оказалось. Глафира видит,— прямо не выйдет, на кривой объезжать надо. Прикинулась веселой, будто обрадовалась.

— Давно,— говорит,— завидки берут на тех девок да молодок, коих в барский дом наряжают. Работа легонькая, а за большой урок им засчитывают. Сколько раз собиралась, да муж не пускал, а еще на меня же сваливает. Хорошо, что сами пришли. Рада-радехонька хоть одним глазком поглядеть, как барин поживает, на какой постелюшке спит-почивает.

Обошла этак посланцев словами, да и говорит:

— Приодеться дозвольте. Негоже в барский дом растрепой показываться.

Посланцы видят,— не супротивничает баба, доверились ей. Глафира выбрала из сундука сарафан понаряднее, буски да еще что, прихватила ширинку тоже и вывернулась в сенцы, будто умыться да переодеться. Сама первым делом приперла дверь чем пришлось, ухватила из угла лопатку и шмыгнула огородами.

Время летнее. К вечеру клонилось, а еще долго светло будет. Глафира и думает: как быть? Посланцы бариновы не больно долго задержатся, из окошка вылезут и поиск учинят. Надо хоть до лесу добежать, а там не поймают. Вот и поторапливается, а дорогу только в одну сторону знает — к Шарташу.

Город в те годы не больно велик был. Избушка поза крепости стояла. Глафира без хлопот и выбралась. Отдышалась, потише по лесу пошла, а сама все думает: «Куда?» В таких мыслях добралась до Шарташа-озера. По вечернему времени вода тихая да ласковая. Рыба в озере, видать, сытехонька: не мечется за мошкой, а

только плавится, хребтовое перо кажет. Круги по воде от этого идут, а плеску не слышно.

Отошла Глафира от тропочки, села на береговом камне, а в голове одно: сколько ни прикидывай, а нету ходу, как в воду. Женщина молодая, в полной силе, пути не исхожены, смерть не манит, а что сделаешь? Хлеба с собой ни крошки, в одной руке лопата, в другой — узелок с праздничным нарядом. Вспомнила про узелок, поглядеть захотелось. Известно, женщина... В последний, может, разочек. Развернула. Полюбовалась там разными проймами-прошвами да позументом, буски на себя нацепила, погляделась в воду и говорит шуткой:

— Нарядиться вот, да и пойти в Вавилову яму. Не возьмет ли меня змей Дайко себе в жены? Иначе дороги нет. От церковников убежала, от своих проклята, а раков озерных кормить неохота.

Потом по-другому подумала:

«Может, этот праздничный наряд для дела пригодится. В ношеном-то меня многие видели. Вот и оставлю его на тропе, а сама в праздничном уйду. Найдут, скажут — утопилась, и делу конец».

Подумала так и давай переодеваться. Не утерпела, погляделась в воду и говорит:

— Не может того быть, чтоб ни одного дитенка не выкормить. Не в одном городе да Шарташе люди живут. Подальше уйду, а свою долю найду!

Сказала так и ровно переменилась. Скоренько оделась в праздничный наряд, буски на себя пристроила и пошла дальше невеста невестой. Про горькую долю думать забыла, сторожиться стала. По счастью, ни одного встречного, ни попутчика не оказалось. Прошла мимо Шарташа. Дорога тут густым лесом, а уж к потемкам близко. Волков по летнему времени не опасайся, а все-таки в потемках идти несподручно. Глафира тогда и придумала:

— А что если мне в той ямке, какую с Вавилом рыли, переждать до свету.

Забавно показалось, как про это вспомнила. Ну, и пошла. Место она хорошо знала. Пришла еще на свету. Видит: перемена большая вышла. Яма много обширнее стала, и все сделано по-хозяйски. Подивилась: неуж Вавило такое может? Валок с бадьей пристроен, а вместо суковатой жердины для спуска лесенка хорошая устрое-

на. Глафира раздумывать долго не стала, спустилась в яму. Ступенек десятка полтора оказалось. Темненько там, а разобрать можно, что все по-хорошему ведется, и сухо в той ямке. Глафира затуманилась, позавидовала:

— Бывают же мужики!

Неохота ей после того стало из ямы выходить. Нашарила рукой выступ, да и села тут. Припомнилось ей, как Звонец про золотого змея Дайка рассказывал. Думала-думала об этом и задремала. Только это ей, как явь, показалось.

Сидит будто она на дне большого-пребольшого озера. Во все стороны этакое серое сголуба, на воду походит, и дно, как в озере, где помельче, где поглубже. На дне трава да коренья разные. Одни кверху, вроде деревьев тянутся, другие понизу стелются, вроде скажем, конотопа, только много больше. Меж теми, что с деревьями вровень, какие-то веревки понавешены. Толстенные и скрасна показывают. В промежутках везде змеи. Одни ближе к земле, другие поглубже, и рост у них разный. Сходство меж ними в том, что на каждом змее как обручи набиты и блестят те обручи золотыми искрами и каменьями переливаются. Глядит Глафира и думает:

«Вот оно что! Не один Дайко-то, а много их!»

С этим проснулась да опять заснула и точь-в-точь тот же сон видит. Один змей совсем близко. Руку протяни — обруч достать можно. Глафира сперва испугалась, думала, живой змей-то. Змей пошевеливается, как вот намокшее в воде бревно, а жизни не оказывает. И большой. Где у него голова, где хвост, не разглядишь, только золотой шапки не видно. Пригляделась этак-то Глафира и бояться перестала. Обруч, который поближе, разглядывает, а это вовсе и не обруч, а вроде сквозной рассечки. Камешки тут беленькие и цветные тоже, золотых капелек много, и комышки золота видно. И до того все явственно, что Глафира как проснулась, приметку острым камешком поставила, в котором месте обруч ближе приходится.

Видит, вовсе светло. Собралась из ямы подыматься, а какой-то мужик по лесенке спускается. Глафира, чтоб врасплох не потревожить человека, говорит:

— Погоди, дяденька, дай сперва мне выбраться!

Мужик вскинулся, а не испугался, вроде даже обрадовался:

— Пришла-таки? Ну-ко, кажись, кажись! Какая в мою долю ввязалась?

Глафира удивилась, что он такое говорит. Выбралась поскорей из ямы, глядит, а это Перфил. Из семерых-то братьев, жена у которого в скиты ушла.

Перфил тоже Глафиру признал. Он годов на десяток постарше был, с малых лет ее видел. Приметная ему чем-то еще в девчонках была. И потом, когда полной невестой стала, Перфил на нее поглядывал, а случалось, и вздыхал:

— Даст же бог кому-то экое счастье! Не то, что моя Минодора. Только и знает, что поклоны по лестовке считать да перед божницей на коленках ползать.

Судьбу Глафиры Перфил хорошо знал и дивился, сколь она нескладно повернулась. Когда скитники-начетчики принялись голосить насчет проклятия Глафире, Перфил дал такого тумака Звонцу, что тот, почитай, месяц отлеживался и вовсе без пути языком болтал. Кто ни подойдет, одно слышит:

— Дайко-змей, золотая шапка, дай мне за кисточку от твоего пояска подержаться!

Потом, как отлежался, со свидетелями к Перфилу пришел доспрашиваться: за что? Перфил на это и говорит:

— Считай, как тебе любо, да вперед мне под руку не подвертывайся. Рука у меня, видишь, тяжелая, может сразу покойником сделать. Тогда, вовсе не догадаешься,— за что?

Из-за этого случаю у Перфила с братьями рассорка вышла. Они, конечно, против скитников зуб имели и Звонца крепко недолюбливали, а все-таки укорили брата:

— Нельзя этак-то смертным боем хлестать ни за что, ни про что. Тоже поди, живое дыхание, хоть и Звонец!

Перфил на это свое говорит:

— То и горе, что с дыханием посчитался, ослабу руке дал. Кончить бы надо!

Братья, понятно, заспорили, Перфил тоже, так и рассорились. С тех пор Перфил на отшибе от своих стал. А того никому не сказал, что за Глафиру этак

употчевал Звонца. Теперь видит: эта самая Глафира, живая, молодая, по-праздничному одетая, выходит из его ямы. У Перфила руки врозь пошли. Спрашивает:

— Как ты из города ушла?

Глафира без утайки все ему рассказала, что с ней в городе случилось. Перфил слушает да зубами скрипит, потом опять спрашивает:

— Как ты в мою яму попала?

Она и это рассказала. Тогда Перфил расстегнул ворот рубахи и показывает перстень:

— Не твой ли на гайтане ношу?

— Мой,— отвечает.

— То-то он мне по душе пришелся. Нашел эту ямку. Вижу,— кто-то начал да бросил. Полюбопытствовал, нет ли чего? Тоже бросить хотел, да вот перстень этот мне и попался. Перстенек, гляжу, немудренький, а чем-то он меня обрадовал и вроде обнадежил. С той поры и ношу на гайтане с крестом и все поджидаю, не покажется ли хозяйка перстенька. Вот ты и пришла. Теперь осталось какого-нибудь толку от ямы добиться.

— Не беспокойся,— говорит,— толк будет!

И рассказала по порядку, что ночью в яме видела.

— Про золотого змея Дайка,— отвечает,— много в Шарташе разговору было. Звонец вон, как его кто-то стукнул, чуть не месяц про этого Дайка бормотал. Все просил за кисточку какую-то подержаться, да не допросился, видно. Может, и твое видение — обман, а все-таки попытать надо. Только просить-молить не стану, не Звонец, поди-ка, я. Лучше тому Дайку погрожу,— не испугается ли?

Спустились оба в яму. Показала Глафира свою приметку. Ударил Перфил против этого места, а сам приговаривает:

— Подай-ка, Дайко, свой пояс! Не отдашь добром, тебя разобьем, под пестами столчем, а свое добудем!

Маленько поколотился, дошел до поперечной жилки, а там хрустали да золотая руда, самая богатая. Сколько-то и комышков золотых попалось. Радуются, конечно, оба, потом Глафира и говорит:

— Надо мне, Перфил, дальше идти. Тут не укроешься, найдут. Скажи хоть, до какого места мне теперь добираться. Да не найдется ли кусочка на дорогу?

Перфила даже оторопь взяла:

— Как ты, Гланюшка, могла такое молвить? Куда ты от меня пойдешь, коли мы с тобой кольцом через землю обручены? Да я тебя, может, с тех годов ждал, как ты еще девчонкой-несмысленышем бегала.

Тут обхватил ее в полную руку и говорит решительно:

— Никуда ты не пойдешь! Избушка у меня по нагорью поставлена. Хозяйкой будешь. Никто тебя не найдет. А кто сунется,— не обрадуется. Не обрадуется! В случае тогда оба в Сибирь подадимся. Ладно?

Глафира из-под руки не вырывается. На улыбе стоит, как вешний цветок под солнышком, и говорит тихонько:

— Так, видно... Коли старым не укоришь да проклятья не побоишься, так я тебе... через землю венчанная... до гробовой доски.

На том и сладились. Перфил, конечно, в полное плечо Глафире пришелся. Мужик усердный да работящий, заботливый да смекалистый. И за себя постоять мог, а за жену особливо. Сперва-то поговаривали, она, дескать, проклятая, такую держать нельзя. Другие опять городских опасались: потянут за укрывательство беглой. Перфил со всеми такими столь твердо поговорил, что потом его-то избушку стороной обходили.

— Свяжись,— говорят,— с этим чертушком,— до поры в могилу загонит. Ничего не щадит, кто про его Глафиру нескладно скажет.

Прожили свой век по-хорошему. Не всегда, конечно, досыта хлебали, да остуды меж собой не знали, а это в семейном деле дороже всего. Ребят Глафира навела целую рощу! Парней хоть всех в Преображенский полк записывай. И девки не отстали. Рослые да здоровые, а красотой в мать. На что Михей Кончина старого слова человек, и тот по ребятам сестру признал. Седой уж в ту пору был, а смирился. Зашел как-то в избу и говорит:

— Ладные у тебя, сестра, ребята. Вовсе ладные. Не тем, видно, богам скитники кадили, когда тебя проклинали. Оно и к лучшему. Худой травы и без того много. Ее вымаливать не к чему.

Как до бабкиных годов Глафира достукалась, так внучатам и счет потеряла. Это перфилово да глафирино поколенье не один дом тут поставило. Заявку, можно

сказать, нашему заводу сделало. Конечно, и других много было. Ну, эти — коренники. От них, может, и словинка про Дайка пошла.

Теперь это вроде забавы. Известно, при солнышке идешь, ногой зацепить не за что, а по той же дороге в потемках пойти — всё пороги да ямины. Тоже и с золотом. Нынешние вон дивятся, почему старики только поперечные жилки выбирали, а остальное в отвалы сбрасывали. А по делу надо тому дивиться, как старики до этого дошли, когда никто ничего по золотому делу не знал, а в письменности была одна посказулька про страшного золотого змея.

Этого вот забывать не след. Что нынешнему человеку просто кажется, то старикам большим потом да мукой досталось.

Хоть бы брусницынское золото взять. Не слыхали про такое? Ну, ладно, в другой раз расскажу.

ОГНЕВУШКА-ПОСКАКУШКА

Сидели раз старатели круг огонька в лесу. Четверо больших, а пятый парнишечко. Лет так восьми. Не больше. Федюнькой его звали.

Давно всем спать пора, да разговор занятный пришелся. В артелке, видишь, один старик был. Дедко Ефим. С молодых годов он из земли золотую крупку выбирал. Мало ли каких случаев у него бывало. Он и рассказывал, а старатели слушали.

Отец уж сколько раз говорил Федюньке:

— Ложился бы ты, Тюньша, спать!

Парнишечку охота послушать.

— Погоди, тятенька! Я маленечко еще посижу.

Ну, вот... Кончил дедко Ефим рассказ. На месте костерка одни угольки остались, а старатели все сидят да на эти угольки глядят.

Вдруг из самой серединки вынырнула девчоночка махонькая. Вроде кукленки, а живая. Волосенки рыженькие, сарафанчик голубенький и в руке платочек, тоже сголуба.

Поглядела девчонка веселыми глазками, блеснула зубенками, подбоченилась, платочком махнула и пошла плясать. И так у ней легко да ловко выходит, что и сказать нельзя. У старателей дух захватило. Глядят — не наглядятся, а сами молчат, будто задумались.

Девчонка сперва по уголькам круги давала, потом,— видно, ей тесно стало,— пошире пошла. Старатели отодвигаются, дорогу дают, а девчонка как круг пройдет, так и подрастет маленько. Старатели дальше отодвинутся. Она еще круг даст и опять подрастет. Когда вовсе далеко отодвинулись, девчонка по промежуткам

в охват людей пошла,— с петлями у ней круги стали. Потом и вовсе за людей вышла и опять ровненько закружилась, а сама уже ростом с Федюньку. У большой сосны остановилась, топнула ножкой, зубенками блеснула, платочком махнула, как свистнула:

— Фи-ть-ть! й-ю-ю-у...

Тут филин заухал, захохотал, и никакой девчонки не стало.

Кабы одни большие сидели, так, может, ничего бы дальше и не случилось. Каждый, видишь, подумал:

«Вон до чего на огонь загляделся! В глазах зарябило... Неведомо что померещится с устатку-то!»

Один Федюнька этого не подумал и спрашивает у отца:

— Тятя, это кто?

Отец отвечает:

— Филин. Кому больше-то? Неуж не слыхал, как он ухает?

— Да не про филина я! Его-то, поди-ка, знаю и ни капельки не боюсь. Ты мне про девчонку скажи.

— Про какую девчонку?

— А вот которая на углях плясала. Еще ты да и все отодвигались, как она широким кругом пошла.

Тут отец и другие старатели давай доспрашивать Федюньку, что он видел. Парнишечко рассказал. Один старатель еще спросил:

— Ну-ко, скажи, какого она росту была?

— Сперва-то не больше моей ладошки, а под конец чуть не с меня ростом стала.

Старатель тогда и говорит:

— А ведь я, Тюньша, точь-в-точь такое же диво видел.

Федюнькин отец и еще один старатель это же сказали. Один дедко Ефим трубочку сосет и помалкивает. Старатели приступать к нему стали.

— Ты, дедко Ефим, что скажешь?

— А то и скажу, что это же видел, да думал — померещилось мне, а выходит — и впрямь Огневушка-Поскакушка приходила.

— Какая Поскакушка?

Дедко Ефим тогда и объяснил:

— Слыхал, дескать, от стариков, что есть такой знак на золото — вроде маленькой девчонки, которая

пляшет. Где такая Поскакушка покажется, там и золото. Не сильное золото, зато грудное, и не пластом лежит, а вроде редьки посажено. Сверху, значит, пошире круг, а дальше все меньше да меньше и на-нет сойдет. Выроешь эту редьку золотого песку — и больше на том месте делать нечего. Только вот забыл, в котором месте ту редьку искать: то ли где Поскакушка вынырнет, то ли где она в землю уйдет.

Старатели и говорят:

— Это дело в наших руках. Завтра пробьем дудку сперва на месте костерка, а потом под сосной испробуем. Тогда и увидим, пустяшный твой разговор или всамделе что на пользу есть.

С этим и спать легли. Федюнька тоже калачиком свернулся, а сам думает:

«Над чем это филин хохотал?»

Хотел у дедка Ефима спросить, да он уже похрапывать принялся.

Проснулся Федюнька на другой день поздненько и видит — на вчерашнем огневище большая дудка вырыта, а старатели стоят у четырех больших сосен и все говорят одно:

— На этом самом месте в землю ушла.

Федюнька закричал:

— Что вы! Что вы, дяденьки! Забыли, видно! Вовсе Поскакушка под этой вот сосной остановилась... Тут и ножкой притопнула.

На старателей тут сомненье пришло.

— Пятый пробудился — пятое место говорит. Был бы десятый — десятое бы указал. Пустое, видать, дело. Бросить надо.

Все ж таки на всех местах испытали, а удачи не вышло. Дедко Ефим и говорит Федюньке:

— Обманное, видно, твое счастье.

Федюньке это нелюбо показалось. Он и говорит:

— Это, дедо, филин помешал. Он наше счастье обухал да обхохотал.

Дед Ефим свое говорит:

— Филин тут — не причина.

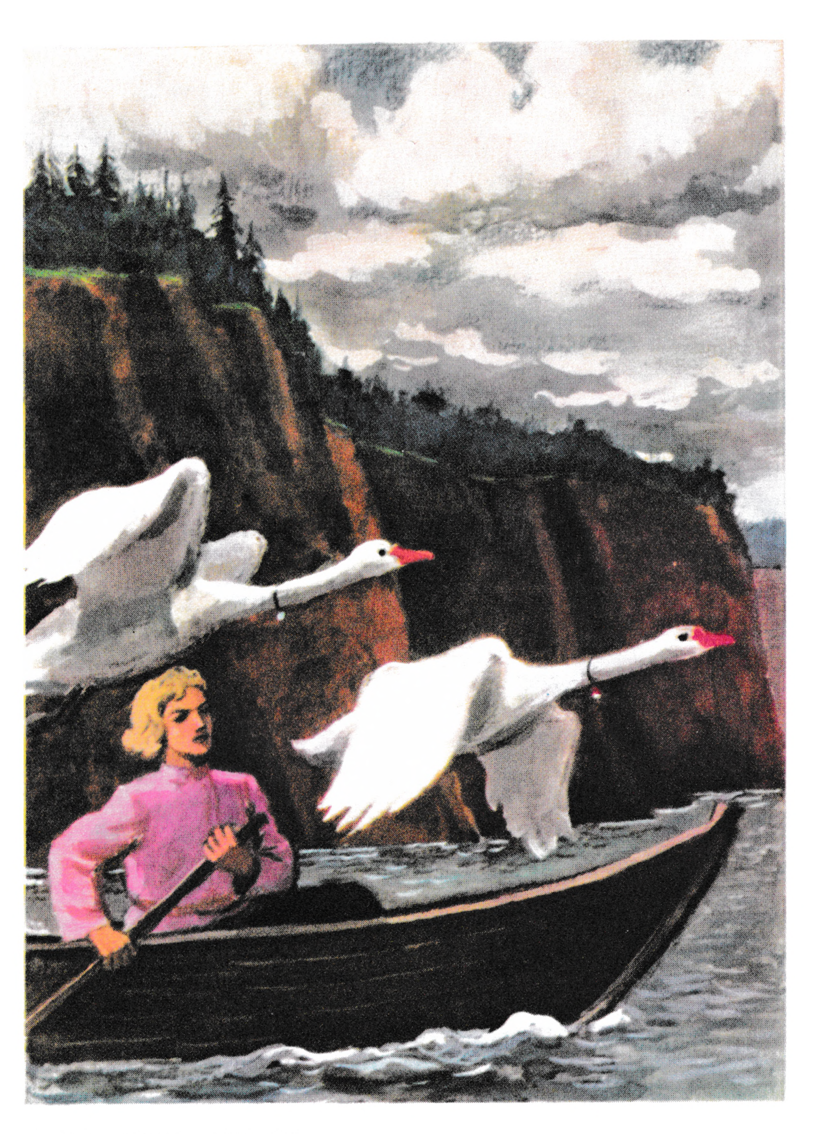
— А вот и причина!

— Нет, не причина!

— А вот и причина!



«Синюшкин колодец»



«ЕРМАКОВЫ ЛЕБЕДИ»

Спорят так-то вовсе без толку, а другие старатели над ними да и над собой смеются:

— Старый да малый, оба не знают, а мы, дураки, их слушаем да дни теряем.

С той вот поры старика и прозвали Ефим Золотая редька, а Федюньку — Тюнькой Поскакушкой.

Ребятишки заводские узнали, проходу не дают. Как увидят на улице, так и заведут:

— Тюнька Поскакушка! Тюнька Поскакушка! Про девчонку скажи! Скажи про девчонку!

Старику от прозвища какая беда? Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Ну, а Федюньке по малолетству обидно показалось. Он и дрался, и ругался, и ревел не раз, а ребятишки пуще того дразнят. Хоть домой с прииска не ходи. Тут еще перемена жизни у Федюньки вышла. Отец-то у него на второй женился. Мачеха попалась, прямо сказать, медведица. Федюньку и вовсе от дома отшибло.

Дедко Ефим тоже не часто домой с прииска бегал. Намается за неделю, ему и неохота идти, старые ноги колотить. Да и не к кому было. Один жил.

Вот у них и повелось. Как суббота, старатели домой, а дедко Ефим с Федюнькой на прииске останутся.

Что делать-то? Разговаривают о том, о другом. Дедко Ефим рассказывал побывальщины разные, учил Федюньку, по каким логам золото искать и протча тако. Случалось, и про Поскакушку вспомнят. И все у них гладко да дружно. В одном сговориться не могут. Федюнька говорит, что филин всей неудаче причина, а дедко Ефим говорит — вовсе не причина.

Раз так-то заспорили. Дело еще на свету было, при солнышке. У балагана все-таки огонек был — от комаров курево. Огонь чуть видно, а дыму много. Глядят — в дыму-то появилась махонькая девчонка. Точь-в-точь такая же, как тот раз, только сарафанчик потемнее и платок тоже. Поглядела веселыми глазками, зубенками блеснула, платочком махнула, ножкой притопнула и давай плясать.

Сперва круги маленькие давала, потом больше да больше, и сама подрастать стала. Балаган на пути пришелся, только это ей не помеха. Идет, будто балагана и нет. Кружилась-кружилась, а как ростом с Федюньку

стала, так и остановилась у большой сосны. Усмехнулась, ножкой притопнула, платочком махнула, как свистнула:

— Фи-т-ть! й-ю-ю-у...

И сейчас же филин заухал, захохотал. Дедко Ефим подивился:

— Откуда филину быть, коли солнышко еще не закатилось?

— Видишь вот! Опять филин наше счастье спугнул. Поскакушка-то, может, от этого филина и убежала.

— А ты разве видел Поскакушку?

— А ты разве не видел?

Начали они тут друг дружку расспрашивать, кто что видел. Все сошлось, только место, где девчонка в землю ушла, у разных сосен указывают.

Как до этого договорились, так дедко Ефим и вздохнул:

— О-хо-хо! Видно, нет ничего. Одна эта наша думка.

Только сказал, а из-под дерна по балагану дым повалил. Кинулись, а там жердник под дерном затлел. По счастью, вода близко была. Живо залили. Все в сохранности осталось. Одне дедовы рукавицы обгорели. Схватил Федюнька рукавицы и видит — дырки на них, как следочки от маленьких ног. Показал это чудо дедке Ефиму и спрашивает:

— Это, по-твоему, тоже думка?

Ну, Ефиму податься некуда, сознался:

— Правда твоя, Тюньша. Знак верный — Поскакушка была. Придется, видно, завтра опять ямы бить — счастье пытать.

В воскресенье и занялись этим с утра. Три ямы вырыли — ничего не нашли. Дедко Ефим жаловаться стал:

— Наше-то счастье — людям смех.

Федюнька опять вину на филина кладет:

— Это он, пучеглазик, наше счастье обухал да обхохотал! Вот бы его палкой!

В понедельник старатели прибежали из заводу. Видят — свежие ямы у самого балагана. Сразу догадались, в чем дело. Смеются над стариком-то:

— Редька редьку искал...

Потом увидели, что в балагане пожар начинался, давай их ругать обоих. Федюнькин отец зверем на

парнишку накинулся, чуть не поколотил, да дедко Ефим застоял:

— Постыдился бы мальчонку строжить! Без того он у тебя боится домой ходить. Задразнили да загрызли парнишка. Да и какая его вина? Я, поди-ко, оставался,— с меня и спрашивай, коли у тебя урон какой случился. Золу, видно, из трубки высыпал с огоньком — вот и загорелось. Моя оплошка — мой и ответ.

Отчитал так-то федюнькиного отца, потом и говорит парнишку, как никого из больших близко не было:

— Эх, Тюньша, Тюньша! Смеется над нами Поскакушка. Другой раз случится увидеть, так ей в глаза надо плюнуть. Пускай людей с пути не сбивает да насмех не ставит.

Федюнька свое заладил:

— Дедо, она не со зла. Филин ей вредит.

— Твое дело,— говорит Ефим,— а только я больше ямы бить не стану. Побаловался — и хватит. Немолодые мои годы — за Поскакушкой скакать.

Ну, разворчался старик, а Федюньке все Поскакушки жаль.

— Ты, дедо, не сердись на нее! Вон она какая веселая да хорошая. Счастье бы нам открыла, кабы не филин.

Про филина дедко Ефим промолчал, а на Поскакушку все ворчит:

— То-то она счастье тебе открыла! Хоть домой не ходи!

Сколько ни ворчит дедко Ефим, а Федюнька свое:

— А как она, дедо, ловко пляшет!

— Пляшет-то ловко, да нам от этого не жарко — не холодно, и глядеть неохота.

— А я бы хоть сейчас поглядел! — вздохнул Федюнька. Потом и спрашивает: — А ты, дедо, отворотишься? И поглядеть тебе не любо?

— Как не любо?— проговорился дедко, да спохватился и давай опять строжить Федюньку: — Ох, и упорный ты парнишко! Ох, и упорный! Что в головенку попало, то и засело! Будешь вот, что мое же дело,— всю жизнь мыкаться, за счастьем гоняться, а его, может, вовсе и нету.

— Как нету: коли я своими глазами видел.

— Ну, как знаешь, а я тебе не попутчик. Набегался. Ноги заболели.

Поспорили, а дружбу вести не перестали. Дедко Ефим по работе сноровлял Федюньке, показывал, а в свободный час о всяких случаях рассказывал. Учил, значит, как жить-то надо. И самые веселые у них те дни были, как они вдвоем на прииске оставались.

Зима загнала старателей по домам. Рассовал их приказчик до весны по работам, куда пришлось, а Федюнька по малолетству дома остался. Только ему дома-то несладко. Тут еще новая беда пришла: отца на заводе покалечило. В больничную казарму его унесли. Ни жив ни мертв лежит. Мачеха и вовсе медведицей стала,— загрызла Федюньку. Терпел он, терпел, да и говорит:

— Пойду, нето, я к дедку Ефиму жить.

А мачехе что?

— Провались ты,— кричит,— хоть к Поскакушке своей.

Надел тут Федюня пимишки, шубейку-ветродуйку покромкой покрепче затянул. Хотел отцовскую шапку надеть, да мачеха не дала. Натянул тогда свою, из которой давно вырос, и пошел.

На улице первым делом парнишки налетели, дразниться стали:

— Тюнька Поскакушка! Тюнька Поскакушка! Скажи про девчонку!

Федюня, знай, идет своей дорогой. Только и сказал:

— Эх вы! Несмышленыши!

Ребятам что-то стыдно стало. Они уж вовсе по-доброму спрашивают:

— Ты куда это?

— К дедку Ефиму.

— К Золотой редьке?

— Кому Редька — мне дедко.

— Далеко ведь! Еще заблудишься.

— Знаю, поди-ко, дорогу.

— Ну, замерзнешь. Вишь, стужа какая, а у тебя и рукавиц нет.

— Рукавиц нет, да руки есть, и рукава не отпали. Засуну руки в рукава — только и дела. Не догадались!

Ребятам занятно показалось, как Федюнька разговаривает, они и стали спрашивать по-хорошему:

— Тюньша! Ты, правда, Поскакушку в огне видел?

— И в огне видел, и в дыму видел. Может, еще где увижу, да рассказывать недосуг,— сказал Федюнька, да и зашагал дальше.

Дедко Ефим то ли в Косом Броду, то ли в Северной жил. На самом выезде, сказывают, избушка стояла. Еще перед окошком сосна бортевая росла. Далеконько все ж таки, а время холодное — самая середина зимы. Подзамерз наш Федюнюшка. Ну, дошагал все ж таки. Только ему за дверную скобку взяться, вдруг слышит:

— Фи-т-ть! й-ю-ю-у...

Оглянулся— на дороге снежок крутится, а в нем чуть метлесит клубочек, и похож тот клубочек на Поскакушку. Побежал Федюня поближе разглядеть, а клубочек уж далеко. Федюня за ним, он того дальше. Бежал-бежал за клубочком, да и забрался в незнакомое место. Глядит — пустоплесье какое-то, а кругом лес густой. Посредине пустоплесья береза старая, будто и вовсе неживая. Снегу около нее намело гора-горой. Клубочек подкатился к этой березе да вокруг нее и кружится.

Федюнька в азарте-то не поглядел, что тут и тропочки нет, полез по цельному снегу.

«Столько,— думает,— бежал, неуж спятиться!»

Добрался-таки до березы, а клубочек и рассыпался. Снеговой пылью Федюньке в глаза брызнул.

Чуть не заревел от обиды Федюнька. Вдруг у самой его ноги снег воронкой до земли протаял. Видит Федюнька,— на дне-то воронки Поскакушка. Веселенько поглядела, усмехнулась ласково, платочком махнула и пошла плясать, а снег-то от нее бегом побежал. Где ей ножку поставить, там трава зеленая да цветы лесные.

Обошла круг — тепло Федюньке стало, а Поскакушка шире да шире круг берет, сама подрастает, и полянка в снегу все больше да больше. На березе уж листочки зашумели. Поскакушка того больше старается, припевать стала:

У меня тепло!
У меня светло!
Красно летичко!

А сама волчком да волчком — сарафанчик пузырем.

Когда ростом с Федюнькой выровнялась, полянка в снегу вовсе большая стала, а на березе птички запели. Жарынь, как в самый горячий день летом. У Федюньки с носу пот каплет. Шапчонку свою Федюнька давно снял, хотел и шубенку сбросить. Поскакушка и говорит:

— Ты, парень, побереги тепло-то! Лучше о том подумай, как назад выберешься!

Федюнька на это отвечает:

— Сама завела — сама выведешь!

Девчонка смеется:

— Ловкий какой! А если мне недосуг?

— Найдешь время! Я подожду!

Девчонка тогда и говорит:

— Возьми-ко лучше лопатку. Она тебя в снегу согреет и домой выведет.

Поглядел Федюнька — у березы лопатка старая валяется. Изоржавела вся, и черенок расколотый.

Взял Федюнька лопатку, а Поскакушка наказывает:

— Гляди, из рук не выпусти! Крепче держи! Да дорогу-то примечай! Назад тебя лопата не поведет. А ведь придешь весной-то?

— А как же? Непременно прибежим с дедком Ефимом. Как весна — так мы и тут. Ты тоже приходи поплясать.

— Не время мне. Сам уж пляши, а дедко Ефим пусть притопывает!

— Какая у тебя работа?

— Не видишь? Зимой лето делаю да таких, как ты, работничков забавляю. Думаешь — легко?

Сама засмеялась, вертнулась волчком и платочком махнула, как свистнула:

— Фи-т-ть! й-ю-ю-у...

И девчонки нет, и полянки нет, и береза стоит голым-голешенька, как неживая. На вершине филин сидит.

Кричать — не кричит, а башкой ворочает. Вокруг березы снегу намело гора-горой. В снегу чуть ли не по горло провалился Федюнька и лопаткой на филина машет. От поскакушкина лета только и осталось, что черенок у Федюньки в руках вовсе теплый, даже горячий. А рукам тепло— и всему телу весело.

Потянула тут лопата Федюньку и сразу из снега выволокла. Сперва Федюнька чуть не выпустил лопату из рук, потом наловчился, и дело гладко пошло. Где пешком за лопатой идет, где волоком тащится. Забавно это Федюньке, а приметки ставить не забывает. Это ему тоже легонько далось. Чуть подумает засечку сделать, лопатка сейчас тюк-тюк,— и две ровнешеньких зарубочки готовы.

Привела лопатка Федюню к деду Ефиму затемно. Старик уже на печь залез. Обрадовался, конечно, стал спрашивать, как да что. Рассказал Федюнька про случай, а старик не верит. Тогда Федюнька и говорит:

— Посмотри вон лопатку-то! В сенках она поставлена.

Принес дедко Ефим лопатку, да и углядел — по ржавчине-то золотые таракашки посажены. Целых шесть штук.

Тут дедко поверил маленько и спрашивает:

— А место найдешь?

— Как,— отвечает,— не найти, коли дорога замечена.

На другой день дедко Ефим раздобыл лыжи у знакомого охотника.

Сходили честь-честью. По зарубкам-то ловко до места добрались. Вовсе повеселел дедко Ефим. Сдал он золотых таракашков тайному купцу и прожил ту зиму безбедно.

Как весна пришла, побежали к старой березе. Ну, и что? С первой лопатки такой песок пошел, что хоть не промывай, а прямо руками золотины выбирай. Дедко Ефим даже поплясал на радостях.

Прихранить богатство не сумели, конечно. Федюнька — малолеток, а Ефим хоть старик, а тоже простота.

Народ со всех сторон кинулся. Потом, понятно, всех согнали начисто, и барин за себя это место перевел. Недаром, видно, филин башкой-то ворочал.

Все-таки дедко Ефим с Федюнькой хлебнули маленько из первого ковшичка. Годов с пяток в достатке пожили. Вспоминали Поскакушку.

— Еще бы показалась разок!

Ну, не случилось больше. А прииск тот и посейчас зовется Поскакушинский.

ГОЛУБАЯ ЗМЕЙКА

Росли в нашем заводе два парнишечка, по близкому соседству: Ланко Пужанко да Лейко Шапочка.

Кто и за что им такие прозвания придумал, это сказать не умею. Меж собой эти ребята дружно жили. Под стать подобрались. Умишком вровень, силенкой вровень, ростом и годами тоже. И в житье большой различки не было. У Ланка отец рудобоем был, у Лейка на золотых песках горевал, а матери, известно, по хозяйству мытарились. Ребятам и нечем было друг перед дружкой погордиться.

Одно у них не сходилось. Ланко свое прозвище за обиду считал, а Лейку лестно казалось, что его этак ласково зовут — Шапочка. Не раз у матери припрашивал.

— Ты бы, мамонька, сшила мне новую шапку! Слышишь,— люди меня Шапочкой зовут, а у меня тятин малахай, да и тот старый.

Дружбе ребячьей это не мешало. Лейко первый в драку лез, коли кто обзовет Ланка Пужанком.

— Какой он тебе Пужанко? Кого испугался?

Так вот и росли парнишечки рядком да ладком. Рассорки, понятно, случались, да не надолго. Промигаться не успеют, опять вместе.

И то у ребят вровень пришлось, что оба последними в семьях росли. Повольготнее таким-то. С малыми не водиться. От снегу до снегу домой только поесть да поспать прибегут. Мало ли в ту пору у ребят всякого дела: в бабки поиграть, в городки, шариком, порыбачить тоже, покупаться, за ягодами, за грибами сбегать, все горочки облазить, пенечки на одной ноге обскакать. Утянутся из дома с утра — ищи их! Только этих ребят

не больно искали. Как вечером прибегут домой, так на них поварчивали:

— Пришел, наше шатало! Корми-ко его!

Зимой по-другому приходилось. Зима, известно, всякому зверю хвост подожмет и людей не обойдет. Ланка с Лейком зима по избам загоняла. Одежонка, видишь, слабая, обувка жиденькая,— недалеко в них ускочишь. Только и хватало тепла из избы в избу перебежать.

Чтоб большим под руку не подвертываться, забьются оба на полати да там и посиживают. Двоим-то всетаки веселее. Когда и поиграют, когда про лето вспоминают, когда просто слушают, о чем большие говорят.

Вот раз сидят этак-то, а к лейковой сестре Марьюшке подружки набежали. Время к новому году подвигалось, а по девичьему обряду в ту пору про женихов ворожат. Девчонки и затеяли такую ворожбу. Ребятам любопытно поглядеть, да разве подступишься. Близко не пускают, а Марьюшка по-свойски еще подзатыльников надавала.

— Уходи на свое место!

Она, видишь, эта Марьюшка из сердитеньких была. Который год в невестах, а женихов не было. Девушка будто и вовсе хорошая, да маленько косоротенька. Изъян вроде и невелик, а парни все же браковали ее из-за этого. Ну, она и сердилась.

Забились ребята на полати, пыхтят да помалкивают, а девчонкам весело. Золу сеют, муку по столешнице раскатывают, угли перекидывают, в воде брызгаются. Перемазались все, с визгом хохочут одна над другой, только Марьюшке не весело. Она, видно, изверилась во всякой ворожбе, говорит:

— Пу́стяк это. Одна забава.

Одна подружка на это и скажи:

— По-доброму-то ворожить боязно.

— А как? — спрашивает Марьюшка.

Подружка и рассказала:

— От бабушки слыхала,— самое правильное гадание будет такое. Надо вечером, как все уснут, свой гребешок на ниточке повесить на поветях, а на другой день, когда еще никто не пробудился, снять этот гребешок,— тут все и увидишь.

Все любопытствуют — как? А девчонка объясняет:

— Коли в гребешке волос окажется — в тот год замуж выйдешь. Не окажется волоса — нет твоей судьбы. И про то догадаться можно, какой волосом муж будет.

Ланко с Лейком приметили этот разговор и то смекнули, что Марьюшка непременно так ворожить станет. А оба в обиде на нее за подзатыльники-то. Ребята и сговорились:

— Подожди! Мы тебе припомним!

Ланко в тот вечер домой ночевать не пошел, у Лейка на полатях остался. Лежат, будто похрапывают, а сами друг дружку кулачонками в бока подтыкают: гляди не усни!

Как большие все уснули, ребята слышат,— Марьюшка в сенки вышла. Ребята за ней и углядели, как она на повети залезала и в котором месте там возилась. Углядели и поскорее в избу. За ними следом Марьюшка прибежала. Дрожит, зубами чакает. То ли ей холодно, то ли боязно. Потом легла, поежилась маленько и, слышно стало,— уснула. Ребятам того и надо. Слезли с полатей, оделись, как пришлось, и тихонько вышли из избы. Что делать, об этом они уж сговорились.

У Лейка, видишь, мерин был, не то чалый, не то бурый, звали его Голубко. Ребята и придумали этого мерина марьюшкиным гребешком вычесать. На поветях-то ночью боязно, только ребята один перед другим храбрятся. Нашли на поветях гребешок, начесали с Голубка шерсти и гребешок на место повесили. После этого в избу пробрались и крепко-накрепко заснули. Пробудились позднехонько. Из больших в избе одна лейкова мать была,— у печки топталась.

Пока ребята спали, тут вот что случилось. Марьюшка утром поднялась раньше всех и достала свой гребешок. Видит — волосу много. Обрадовалась — жених кудрявый будет. Побежала к подружкам похвастаться. Те глядят — что-то не вовсе ладно. Дивятся, какой волос чудной. Ни у одного знакомого парня такого не видывали. Потом одна разглядела в гребешке силышко от конского хвоста. Подружки и давай хохотать над Марьюшкой.

— У тебя,— говорят,— женихом-то Голубко оказался.

Марьюшке это за большую обиду, она разругалась с подружками, а те, знай, хохочут. Кличку ей объявили: Голубкова невеста.

Прибежала Марьюшка домой, жалуется матери — вот какое горе приключилось, а ребята помнят вчерашние подзатыльники и с полатей поддразнивают:

— Голубкова невеста, Голубкова невеста!

Марьюшка тут вовсе разревелась, а мать смекнула, чьих это рук дело, закричала на ребят:

— Что вы, бесстыдники, наделали! Без того у нас девку женихи обходят, а вы ее насмех поставили.

Ребята поняли — вовсе неладно вышло, давай перекоряться:

— Это ты придумал!

— Нет, ты!

Марьюшка из этих перекоров тоже поняла, что ребята ей такую штуку подстроили, кричит им:

— Чтоб вам самим голубая змейка привиделась!

Тут опять на Марьюшку мать напустилась:

— Замолчи, дура! Разве можно такое говорить? На весь дом беду накличешь!

Марьюшка в ответ на это свое говорит:

— Мне что до этого! Не глядела бы на белый свет!

Хлопнула дверью, выбежала в ограду и давай там снеговой лопатой Голубка гонять, будто он в чем провинился. Мать вышла, сперва пристрожила девку, потом в избу увела, уговаривать стала. Ребята видят,— не до них тут, утянулись к Ланку. Забились там на полати и посиживают смирнехонько. Жалко им Марьюшку, а чем теперь поможешь. И голубая змейка в головенках застряла. Шепотом спрашивают один у другого:

— Лейко, ты не слыхал про голубую змейку?

— Нет, а ты?

— Тоже не слыхивал.

Шептали, шептали, решили у больших спросить, когда дело маленько призамнется. Так и сделали. Как марьюшкина обида позабылась, ребята и давай разузнавать про голубую змейку. Кого ни спросят, те отмахиваются: — не знаю, да еще грозятся:

— Возьму вот прут да отвожу обоих! Забудете о таком спрашивать!

Ребятам от этого еще любопытнее стало: что за змейка такая, про которую и спрашивать нельзя?

Нашли-таки случай. По праздничному делу у Ланка отец пришел домой порядком выпивши и сел у избушки на завалинке. А ребята знали, что он в такое время поговорить больно охоч. Ланко и подкатился.

— Тятя, ты видал голубую змейку?

Отец, хотя сильно выпивши был, даже отшатнулся, потрезвел и заклятье сделал.

— Чур, чур, чур! Не слушай, наша избушка-хороминка! Не тут слово сказано!

Пристрожил ребят, чтоб напредки такого не говорили, а сам все-таки выпивши, поговорить-то ему охота. Посидел так, помолчал, потом и говорит:

— Пойдемте на бережок. Там свободнее про всякое сказывать.

Пришли на бережок, закурил ланков отец трубку, оглянулся на все стороны и говорит:

— Так и быть, скажу вам, а то еще беды наделаете своими разговорами. Вот слушайте!

Есть в наших краях маленькая, голубенькая змейка. Ростом не больше четверти и до того легонькая, будто в ней вовсе никакого весу нет. По траве идет, так ни одна былинка не погнется. Змейка эта не ползает, как другие, а свернется колечком, головенку выставит, а хвостиком упирается и подскакивает, да так бойко, что не догонишь ее. Когда она этак-то бежит, вправо от нее золотая струя сыплется, а влево черная-пречерная.

Одному увидеть голубую змейку прямое счастье: наверняка верховое золото окажется, где золотая струя прошла. И много его. Поверху большими кусками лежит. Только оно тоже с подводом. Если лишку захватишь, да хоть капельку сбросишь, все в простой камень повернется. Второй раз тоже не придешь, потому место сразу забудешь.

Ну, а когда змейка двоим-троим, либо целой артели покажется, тогда вовсе черная беда. Все перессорятся и такими ненавистниками друг дружке станут, что до смертоубийства дело дойдет. У меня отец на каторгу ушел из-за этой голубой змейки. Сидели как-то артелью и разговаривали, а она и покажись. Тут у них и пошла неразбериха. Двоих насмерть в драке убили, остальных пятерых на каторгу угнали. И золота никакого не оказалось. Потому вот про голубую змейку и не говорят: боятся, как бы она не показалась при двоих, либо тро-

их. А показаться она везде может: в лесу и в поле, в избе и на улице. Да еще сказывают, будто голубая змейка иной раз человеком прикидывается, только узнать ее все-таки можно. Как идет, так даже на самом мелком песке следов не оставляет. Трава, и та под ней не гнется. Это первая примета, а вторая такая: из правого рукава золотая струя бежит, из левого — черная пыль сыплется.

Наговорил этак-то ланков отец и наказывает ребятам:

— Смотрите, никому об этом не говорите и вдвоем про голубую змейку вовсе даже не поминайте. Когда одиночку случится быть и кругом людей не видно, тогда хоть криком кричи.

— А как ее звать? — спрашивают ребята.

— Этого,— отвечает,— не знаю. А если бы знал, тоже бы не сказал, потому опасное это дело.

На том разговор и кончился. Ланков отец еще раз настрого наказал ребятам помалкивать и вдвоем про голубую змейку даже не поминать.

Ребята сперва сторожились, один другому напоминал:

— Ты гляди, про эту штуку не говори и не думай, как со мной вместе. В одиночку надо.

Только как быть, когда Лейко с Ланком всегда вместе и голубая змейка ни у того, ни у другого с ума не идет? Время к теплу подвинулось. Ручейки побежали. Первая весенняя забава около живой воды повозиться: лодочки пускать, запруды строить, меленки водой крутить. Улица, по которой ребята жили, крутиком к пруду спускалась. Весенние ручейки тут скоро сбежали. ребята в эту игру не наигрались. Что делать? Они взяли по лопатке, да и побежали на завод. Там, дескать, из лесу еще долго ручейки бежать будут, на любом поиграть можно. Так оно и было. Выбрали ребята подходящее место и давай запруду делать, да поспорили, кто лучше умеет. Решили на деле проверить: каждому в одиночку плотинку сделать. Вот и разошлись по ручью-то. Лейко пониже. Ланко повыше шагов, поди, на полсотни. Сперва перекликались.

— У меня, смотри-ко!

— А у меня! Хоть завод строй!

Ну, все-таки работа. Оба крепко занялись, помалки-

вают, стараются, как лучше сделать. У Лейка привычка была что-нибудь припевать за работой. Он и подбирает разные слова, чтобы вскдад вышло:

Эй-ка, эй-ка,
Голубая змейка!
Объявись, покажись!
Колеском покрутись!

Только пропел, видит — на него с горки голубенькое колеско катится. До того легонькое, что сухие былинки, и те под ним не сгибаются. Как ближе подкатилось, Лейко разглядел: это змейка колечком свернулась, головенку вперед уставила, да на хвостике и подскакивает. От змейки в одну сторону золотые искры летят, в другую черные струйки брызжут. Глядит на это Лейко, а Ланко ему кричит:

— Лейко, гляди-ко, вон она — голубая змейка!

Оказалось, что Ланко это же самое видел, только змейка к нему из-под горки поднималась. Как Ланко закричал, так голубая змейка и потерялась куда-то. Сбежались ребята, рассказывают друг другу, хвалятся:

— Я и глазки разглядел!

— А я хвостик видел. Она им упрется и подскочит.

— Думаешь, я не видел? Из колечка-то чуть высунулся.

Лейко, как он все-таки поживее был, побежал к своему прудику за лопаткой.

— Сейчас,— кричит,— золота добудем!

Прибежал с лопаткой и только хотел ковырнуть землю с той стороны, где золотая струя прошла, Ланко на него налетел.

— Что ты делаешь? Загубишь себя! Тут, поди-ко, черная беда рассыпана!

Подбежал к Лейку и давай его отталкивать. Тот свое кричит, упирается. Ну, и разодрались ребята. Ланку с горки сподручнее, он и оттолкал Лейка подальше, а сам кричит:

— Не допущу в том месте рыться. Себя загубишь. Надо с другой стороны.

Тут опять Лейко набросился.

— Никогда этого не будет! Загинешь там. Сам видел, как в ту сторону черная пыль сыпалась.

Так вот и дрались. Один другого остерегает, а сами тумаки дают. До реву дрались. Потом разбираться ста-

ли, да и поняли, в чем штука: видели змейку с разных сторон, потому правая с левой и не сходятся. Подивились ребята.

— Как она нам головы закружила! Обоим навстречу показалась. Насмеялась над нами, до драки довела, а к месту и не подступишься. В другой раз, не прогневайся, не позовем. Умеем, а не позовем!

Решили так, а сами только о том и думают, чтобы еще раз поглядеть на голубую змейку. У каждого на уме и то было: не попытать ли в одиночку. Ну, боязно, да и перед дружком как-то нескладно. Недели две, а то и больше все-таки о голубой змейке не разговаривали. Лейко начал:

— А что если нам еще раз голубую змейку позвать? Только чтоб с одной стороны глядеть.

Ланко добавил:

— И чтоб не драться, а сперва разобрать, нет ли тут обмана какого!

Сговорились так, захватили из дома по кусочку хлеба да по лопатке и пошли на старое место. Весна в том году дружная стояла. Прошлогоднюю ветошь всю зеленой травой закрыло. Весенние ручейки давно пересохли. Цветов много появилось. Пришли ребята к старым своим запрудам, остановились у лейкиной и начали припевать:

Эй-ка, эй-ка,
Голубая змейка!
Объявись, покажись!
Колеском покрутись!

Стоят, конечно, плечо в плечо, как уговорились. Оба босиком по теплому времени. Не успели кончить припевку, от ланковой запруды показалась голубая змейка. По молодой-то траве скоренько поскакивает. Направо от нее густое облачко золотой искры, налево — такое же густое — черной пыли. Катит змейка прямо на ребят. Они уже разбегаться хотели, да Лейко смекнул, ухватил Ланка за пояс, поставил перед собой и шепчет:

— Не гоже на черной стороне оставаться!

Змейка все же их перехитрила,— меж ног у ребят прокатила. У каждого одна штанина золоченой оказалась, другая как дегтем вымазана. Ребята этого не заметили, смотрят, что дальше будет. Голубая змейка докатила до большого пня и тут куда-то подевалась. Подбе-

жали, видят: пень с одной стороны золотой стал, а с другой черным-чернехонек и тоже твердый, как камень. Около пня дорожка из камней, направо желтые, налево черные.

Ребята, конечно, не знали вескости золотых камней. Ланко сгоряча ухватил один и чует — ой, тяжело, не донести такой, а бросить боится. Помнит, что отец говорил: сбросишь хоть капельку, все в простой камень перекинется. Он и кричит Лейку:

— Поменьше выбирай, поменьше! Этот тяжелый!

Лейко послушался, взял поменьше, а он тоже тяжелым показался. Тут он понял, что у Ланка камень вовсе не под силу, и говорит:

— Брось, а то надорвешься!

Ланко отвечает:

— Если брошу, все в простой камень обернется.

— Брось, говорю! — кричит Лейко, а Ланко упирается: нельзя. Ну, опять дракой кончилось. Подрались, наревелись, подошли еще раз посмотреть на пенек да на каменную дорожку, а ничего не оказалось. Пень как пень, а никаких камней, ни золотых, ни простых, вовсе нет. Ребята и судят:

— Обман один эта змейка. Никогда больше думать о ней не будем.

Пришли домой, там им за штаны попало. Матери отмутузили того и другого, а сами дивятся.

— Как-то им пособит и вымазаться на один лад! Одна штанина в глине, другая — в дегтю! Ухитриться тоже надо!

Ребята после этого вовсе на голубую змейку сердились.

— Не будем о ней говорить!

И слово свое твердо держали. Ни разу с той поры у них разговору о голубой змейке не было. Даже в то место, где ее видели, ходить перестали.

Раз ребята ходили за ягодами. Набрали по полной корзиночке, вышли на покосное место и сели тут отдохнуть. Сидят в густой траве, разговаривают, у кого больше набрано да у кого ягода крупнее. Ни тот, ни другой о голубой змейке и не подумал. Только видят — прямо к ним через покосную лужайку идет женщина. Ребята сперва этого в примету не взяли. Мало ли женщин в лесу в эту пору: кто за ягодами, кто по покосным де-

лам. Одно показалось им непривычным: идет, как плывет, совсем легко. Поближе подходить стала, ребята разглядели — ни один цветок, ни одна травинка под ней не согнутся. И то углядели, что с правой стороны от нее золотое облачко колышется, а с левой — черное. Ребята и уговорились:

— Отвернемся. Не будем смотреть! А то опять до драки доведет.

Так и сделали. Повернулись спинами к женщине, сидят и глаза зажмурили. Вдруг их подняло. Открыли глаза, видят — сидят на том же месте, только примятая трава поднялась, а кругом два широких обруча, один золотой, другой чернокаменный. Видно, женщина обошла их кругом да из рукавов и насыпала. Ребята кинулись бежать, да золотой обруч не пускает: как перешагивать — он поднимется, и поднырнуть тоже не дает. Женщина смеется:

— Из моих кругов никто не выйдет, если сама не уберу.

Тут Лейко с Ланком взмолились:

— Тетенька, мы тебя не звали.

— А я,— отвечает,— сама пришла поглядеть на охотников добыть золото без работы.

Ребята просят:

— Отпусти, тетенька, мы больше не будем. И без того два раза подрались из-за тебя!

— Не всякая,— говорит,— драка человеку в покор, за иную и наградить можно. Вы по-хорошему дрались. Не из-за корысти либо жадности, а друг дружку охраняли. Недаром золотым обручем от черной беды вас отгородила. Хочу еще испытать.

Насыпала из правого рукава золотого песку, из левого черной пыли, смешала на ладони, и стала у нее плитка черно-золотого камня. Женщина эту плитку прочертила ногтем, и она распалась на две ровнешенькие половинки. Женщина подала половинки ребятам и говорит:

— Коли который хорошее другому задумает, у того плиточка золотой станет, коли — пустяк, выйдет бросовый камешок.

У ребят давно на совести лежало, что они Марьюшку сильно обидели. Она хоть с той поры ничего им не говаривала, а ребята видели: стала она вовсе невесе-

лая. Теперь ребята про это и вспомнили, и каждый пожелал:

— Хоть бы поскорее прозвище Голубкова невеста забылось и вышла бы Марьюшка замуж!

Пожелали так, и плиточки у обоих стали золотые. Женщина улыбнулась.

— Хорошо подумали. Вот вам за это награда.

И подает им по маленькому кожаному кошельку с ременной завязкой.

— Тут,— говорит,— золотой песок. Если большие станут спрашивать, где взяли, скажите прямо: «голубая змейка дала, да больше ходить за этим не велела». Не посмеют дальше разузнавать.

Поставила женщина обручи на ребро, облокотилась на золотой правой рукой, на черный — левой и покатила по покосной лужайке. Ребята глядят — не женщина это, а голубая змейка, и обручи в пыль перешли. Правый — в золотую, левый в черную.

Постояли ребята, запрятали свои золотые плиточки да кошелечки по карманам и пошли домой. Только Ланко промолвил:

— Не жирно все-таки отвалила нам золотого песку.

Лейко на это и говорит:

— Столько, видно, заслужили.

Дорогой Лейко чует — сильно потяжелело у него в кармане. Еле вытащил свой кошелек,— до того он вырос. Спрашивает у Ланка:

— У тебя тоже кошелек вырос?

— Нет,— отвечает,— такой же, как был.

Лейку неловко показалось перед дружком, что песку у них не поровну, он и говорит:

— Давай отсыплю тебе.

— Ну что ж,— отвечает,— отсыпь, если не жалко.

Сели ребята близ дороги, развязали свои кошельки, хотели выровнять, да не вышло. Возьмет Лейко из своего кошелька горсточку золотого песку, а он в черную пыль перекинется. Ланко тогда и говорит:

— Может, все-то опять обман.

Взял щепотку из своего кошелечка. Песок как песок, настоящий золотой. Высыпал щепотку Лейку в кошелек — перемены не вышло. Тогда Ланко и понял: обделила его голубая змейка за то, что пожадничал на даровщину. Сказал об этом Лейку, и кошелек на глазах

стал прибывать. Домой пришли оба с полнехонькими кошельками, отдали свой песок и золотые плиточки семейным и рассказали, как голубая змейка велела.

Все, понятно, радуются, а у Лейка в доме еще новость: к Марьюшке приехали сваты из другого села. Марьюшка веселехонька бегает, и рот у нее в полной исправе. От радости, что ли? Жених, верно, какой-то чубарый волосом, а парень веселый, к ребятам ласковый. Скоренько с ним сдружились.

Голубую змейку с той поры ребята никогда не вызывали. Поняли, что она сама наградой прикатит, если заслужишь, и оба удачливы в своих делах были. Видно, помнила их змейка и черный свой обруч от них золотым отделяла.

КЛЮЧ ЗЕМЛИ

К этому ремеслу — камешки-то искать — приверженности не было. Случалось, конечно, нахаживал, да только так... без понятия. Углядишь на смывке галечку с огоньком, ну и приберешь, а потом у верного человека спрашиваешь — похранить иль выбросить?

С золотом-то куда проще. Понятно, и у золота сорт есть, да не на ту стать, как у камешков. По росту да по весу их вовсе не разберешь. Иной, глядишь, бо́льшенький, другой много меньше, оба ровно по-хорошему блестят, а на поверку выходит разница. Большой-то за пятак не берут, а к маленькому тянутся: он, дескать, небывалой воды, тут игра будет.

Когда и того смешнее. Купят у тебя камешок и при тебе же половину отшибут и в сор бросят. Это,— говорят,— только делу помеха: куст темнит. Из остатка еще половину сточат, да и хвалятся: теперь в самый раз вода обозначилась и при огне тухнуть не станет. И верно, камешок вышел махонький, а вовсе живенький, ровно смеется. Ну, и цена у него тоже переливается: услышишь — ахнешь. Вот и пойми в этом деле!

А разговоры эти, какой камень здоровье хранит, какой сон оберегает, либо там тоску отводит и протча, это все, по моим мыслям, от безделья рукоделье, при пустой беседе язык почесать, и больше ничего. Только один сказ о камешках от своих стариков перенял. Этот, видать, орешек с добрым ядрышком. Кому по зубам — тот и раскусит.

Есть, сказывают, в земле камень-одинец: другого такого нет. Не то что по нашим землям, и у других народов никто того камня не нахаживал, а слух про него

везде идет. Ну, все-таки этот камешок в нашей земле. Это уж старики дознались. Неизвестно только, в котором месте, да это по делу и ни к чему, потому — этот камешок сам в руки придет кому надо. В том и особинка. Через девчонку одну про это узнали. Так, сказывают, дело-то было.

То ли под Мурзинкой, то ли в другом месте был большой рудник. Золото и дорогие каменья тут выбирали. При казенном еще положении работы вели. Начальство в чинах да ясных пуговках, палачи при полной форме, по барабану народ на работу гоняли, под барабан скрозь строй водили, прутьями захлестывали. Одним словом, мука-мученская.

И вот промеж этой муки моталась девчушка Васенка. Она на том руднике и родилась, тут и росла, и зимы зимовала. Мать-то у ней вроде стряпухи при щегарской казарме была приставлена, а про отца Васенка вовсе не знала.

Таким ребятам, известно, какое житье. Кому бы и вовсе помолчать надо, и тот от маяты-то своей, глядишь, кольнет, а то и колотушку даст: было бы на ком злость сорвать. Прямо сказать, самой горькой жизни девчонка. Хуже сироты круглой. И от работы ущитить ее некому. Ребенок еще, вожжи держать не под силу, а ее уж к таратайке нарядили: «Чем под ногами вертеться, вози-ко песок!»

Как подрастать стала,— пехло в руки да с другими девками-бабами на разборку песков выгонять стали. И вот, понимаешь, открылся у этой Васенки большой талан на камни. Чаще всех выхватывала, и камешок самый ловкий, вовсе дорогой.

Девчонка без сноровки: найдет и сразу начальству отдает. Те, понятно, рады стараться: который камешок в банку, который себе в карман, а то и за щеку. Недаром говорится: что́ большой начальник в кармане унесет, то маленькому подальше прятать надо. А Васенку все похваливают, как сговорились. Прозвище ей придумали — Счастливый Глазок. Какой начальник подойдет, тот первым делом и спрашивает:

— Ну, как, Счастливый Глазок? Обыскала что?

Подаст Васенка находку, а начальник и затакает, как гусь на отлете:

— Так-так, так-так. Старайся, девушка, старайся!

Васенка, значит, и старается, да ей это и самой любопытно.

Раз обыскала камешок в палец ростом, так все начальство сбежалось. Украсть даже никому нельзя стало, поневоле в казенный банк запечатали. Потом уж, сказывают, из царской казны этот камешок в котору-то заграницу ушел. Ну, не о том разговор...

От Васенкиной удачи другим девкам-бабам не сладко. От начальства прижимка.

— Почему у ней много, а у вас один пустяк да и того мало? Видно, глядите плохо.

Бабешки, чем бы добром подучить Васенку, давай ее клевать. Вовсе житья девчонке не стало. Тут еще пес выискался — главный щегарь. Польстился, видно, на Васенкино счастье, да и объявил:

— Женюсь на этой девчонке.

Даром что сам давно зубы съел, и ближе пяти шагов к нему не подходи: пропастиной разит,— из нутра протух, а тоже гнусит:

— Я те, девонька, благородьем сделаю. Понимай это и все камешки мне одному сдавай! Другим не показывай вовсе.

Васенка хоть высоконькая на ногах была, а еще далеко до невест не дотянула. Подлеток еще, годов может тринадцати, много четырнадцати. Да разве на это поглядят, коли начальство велит. Сколь хочешь годов попы по книгам накинут. Ну, Васенка, значит, и испужалась. Руки-ноги задрожат, как увидит этого протухлого жениха. Поскорее подает ему, какие камешки нашла, а он бормочет:

— Старайся, Васена, старайся! Зимой-то на мягкой перине спать будешь.

Как отойдет, бабенки и давай Васенку шпынять, насмех поднимут, а она и без того на части бы разорвалась, кабы можно было. После барабана к матери в казарму забежит — того хуже. Мать-то, конечно, жалела девчушку, всяко ее выгораживала, да велика ли сила у казарменной стряпухи, коли щегарь ей начальник и всякий день может бабу под прутья поставить.

До зимы все-таки Васенка провертелась, а дальше невмоготу стало. Каждый день этот щегарь на мать наступать стал:

— Отдавай дочь добром, а то худо будет!

Про малолетство ему и не поминай — бумажку от попов в нос тычет:

— Еще что сплетешь? По книгам-то, небось, шестнадцать лет обозначено. Самые законные годы. Коли упрямство свое не бросишь, пороть тебя завтра велю.

Тут мать-то и подалась:

— Не уйдешь, видно, доченька, от своей доли!

А доченька что? Руки-ноги отнялись, слова сказать не может. К ночи все-таки отошла и с рудника побежала. Вовсе и не сторожится, прямо по дороге зашагала, а куда — о том и не подумала. Лишь бы от рудника подальше.

Погода-то тихая да теплая издалась, и с вечера снег пошел. Ласковый такой снежок, ровно мелкие перышки просыпались. Дорога лесом пошла. Там, конечно, волки и другой зверь. Только Васенка никого не боится. На то решилась:

— Пускай лучше волки загрызут, лишь бы не за протухлого замуж.

Вот она, значит, и шлепает да шлепает. Сперва-то вовсе ходко шла. Верст, поди, пятнадцать, а то и все двадцать отхватила. Одежонка у ней не больно справная, а итти не холодно, жарко даже: снегу-то насыпало, почитай, на две четверти, еле ноги вытаскивает,— вот и согрелась. А снег-то все идет да идет. Еще ровно дружнее стал. Богатство прямо. Васенка и притомилась, из сил выбилась, да на дороге и села.

«Дай,— думает,— отдохну маленько»,— а того понятия нет, что в такую погоду садиться на открытом месте хуже всего.

Сидит это, на снежок любуется, а он к ней липнет да липнет. Посидела, а подняться и не может. Только не испугалась, про себя подумала:

«Еще, видно, посидеть надо. Отдохнуть как следует».

Ну, и отдохнула. Снегом-то ее совсем завалило. Как копешка среди дороги оказалась. И вовсе от деревни близко.

По счастью, наутро какому-то деревенскому,— он тоже летами маленько камешками да золотом занимался,— случилось в ту сторону на лошади дорогу торить. Лошадь и насторожилась, зафыркала, не подходит к копешке-то. Старатель и разглядел, что человека засыпало. Подошел поближе, видит — ровно еще не вовсе

охолодал, руки гнутся. Подхватил Васенку да в сани, прикрыл своим верхним тулупом и домой. Там с женой занялись отхаживать Васенку. И ведь отутовела. Глаза открыла и пальцы на руках разжала. Глядит, а у ней в руке-то камешок большой блестит, чистой голубой воды. Старатель даже испугался,— еще в острог за такой посадят,— и спрашивает:

— Где взяла?

Васенка и отвечает:

— Сам в руку залетел.

— Как так?

Тогда Васенка и рассказала, как дело было.

Когда ее уж вовсе стало засыпать снегом, вдруг открылся перед ней ходок в землю. Неширокий ходок, и темненько тут, а итти можно: ступеньки видать и тепло. Васенка и обрадовалась.

«Вот где,— думает,— никому из руднишных меня не найти»,— и стала спускаться по ступенькам. Долго спускалась и вышла на большое-большое поле. Конца-краю ему не видно. Трава на этом поле кустиками и деревья реденько,— все пожелтело, как осенью. Поперек поля река. Черным-чернехонька, и не пошевельнется, как окаменела. За рекой, прямо перед Васенкой, горочка небольшая, а на верхушке камни-голыши: посредине — как стол, а кругом — как табуреточки. Не по человечьему росту, а много больше. Холодно тут и чего-то боязно.

Хотела уж Васенка обратно податься, только вдруг за горкой искры посыпались. Глядят,— на каменном-то столе ворох дорогих камней оказался. Разными огоньками горят, и река от них повеселее стала. Глядеть любо. Тут кто-то и спрашивает:

— Это на кого?

Снизу ему кричат:

— На простоту.

И сейчас же камешки искорками во все стороны разлетелись. Потом за горкой опять огнем полыхнуло и на каменный стол камни выбросило. Много их. Не меньше, поди, сенного воза. И камешки покрупнее. Кто-то опять спрашивает:

— Это на кого?

Снизу кричат:

— На терпеливого.

И, как тот раз, камешки полетели во все стороны. Ровно облако жучков поднялось. Та только различка, что блестят по-другому. Одни красным отливают, другие зелеными огоньками посверкивают, голубенькие тоже, желтенькие... всякие. И тоже на лету жужжат. Загляделась Васенка на тех жучков, а за горкой опять огнем полыхнуло, и на каменном столе новый ворошок камней. На этот раз вовсе маленький, зато камни все крупные и красоты редкой. Снизу кричат:

— Это на удалого да на счастливый глаз.

И сейчас же камешки, как мелкие пташечки, зanырялиполетели во все стороны. Над полем ровно фонарики запокачивались. Эти тихонько летят, не торопятся. Один камешок к Васенке подлетел да, как котенок, головенкой в руку и ткнулся — тут, дескать, я, возьми!

Разлетелись каменные птички, тихо да темно стало. Ждет Васенка, что дальше будет, и видит — появился на каменном столе один камешок. Ровно вовсе простенький, на пять граней: три продольных да две поперечных. И тут сразу тепло да светло стало, трава и деревья зазеленели, птички запели, и река заблестела, засверкала, запоплескивала. Где голый песок был, там хлеба густые да рослые. И людей появилось многое множество. Да все веселые. Кто будто и с работы идет, а тоже песню поет.

Васенушка тут сама закричала:

— Это кому, дяденьки?

Снизу ей и ответили:

— Тому, кто верной дорогой народ поведет. Этим ключом-камнем тот человек землю отворит и тогда будет, как сейчас видела.

Тут свет потух, и ничего не стало.

Старатель с женой сперва посомневались, потом думают,— откуда у девчонки в руке камешок оказался. Стали спрашивать, чья она да откуда. Васенка и это без утайки рассказала, а сама просит:

— Тетенька, дяденька, не сказывайте про меня рудничным!

Муж с женой подумали-подумали, да и говорят:

— Ладно, живи у нас... Ухраним как-нибудь, только звать станем Феней. На это имя ты и откликайся.

У них, видишь, своя девчонка недавно умерла: Феней звали. Как раз в тех же годах. И на то надеялись,

что деревня не на казенных, а на демидовских землях пришлась.

Так оно и вышло. Барский староста, понятно, сразу прибылую заметил, да ему что? Не от него, поди-ко, сбежала. Лишний работник не убыток. Стал ее на работу наряжать.

Конечно, и в демидовской деревне сладкого было мало, а все не на ту стать, как на казенном руднике. Ну, и камешок, который в руке Васенки оказался, помог. Старатель сбыл-таки потихоньку этот камешок. Понятно, не за настоящую цену, а все-таки хорошие деньги взял. Маленько и вздохнули.

Как в полный возраст Васенка пришла, так в этой же деревне и замуж за хорошего парня вышла. С ним и до старости прожила, детей и внуков вырастила.

Старое свое имя да прозвище Счастливый Глазок бабка Федосья, может, и сама забыла, про рудник никогда не вспоминала. Только вот когда о счастливых находках заговорят, всегда ввяжется.

— Это,— говорит,— хитрости мало — хорошие камешки обыскать, да немного они нашему брату счастья дают. Лучше о том надо заботиться, как ключ земли поскорее вызволить.

И тут расскажет:

— Есть, дескать, камень — ключ земли. До времени его никому не добыть: ни простому, ни терпеливому, ни удалому, ни счастливому. А вот когда народ по правильному пути за своей долей пойдет, тогда тому, который передом идет и народу путь кажет, этот ключ земли сам в руки дастся.

Тогда все богатства земли откроются и полная перемена жизни будет. На то надейтесь!

СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ

Жил в нашем заводе парень Илья. Вовсе бобылем остался — всю родню схоронил. И от всех ему наследство досталось.

От отца — руки да плечи, от матери — зубы да речи, от деда Игната — кайла да лопата, от бабки Лукерьи — особый поминок. Об этом и разговор сперва.

Она, видишь, эта бабка, хитрая была — по улицам перья собирала, подушку внучку готовила, да не успела. Как пришло время умирать, позвала бабка Лукерья внука и говорит:

— Гляди-ка, друг Илюшенька, сколь твоя бабка пера накопила! Чуть не полное решето! Да и перышки какие! Одно к одному — мелконькие да пестренькие, глядеть любо! Прими в поминок — пригодится!

Как женишься да принесет жена подушку, тебе и не зазорно будет: не в диковинку-де мне — свои перышки есть, еще от бабки остались.

Только ты за этим не гонись, за подушкой-то! Принесет — ладно, не принесет — не тужи. Ходи веселенько, работай крутенько, и на соломке не худо поспишь, сладкий сон увидишь. Как худых думок в голове держать не станешь, так и все у тебя ладно пойдет, гладко покатится. И белый день взвеселит, и темна ноченька приголубит, и красное солнышко обрадует. Ну, а худые думки заведешь, тут хоть в пень головой — все немило станет.

— Про какие, — спрашивает Илья, — ты, бабушка, худые думки сказываешь?

— А это, — отвечает, — про деньги да про богатство. Хуже их нету. Человеку от таких думок одно расстрой-

ство да маята напрасная. Чисто да по совести и пера на подушку не наскрести, не то что богатство получить.

— Как же тогда,— спрашивает Илья,— про земельное богатство понимать? Неуж ни за что считаешь? Бывает ведь...

— Бывать-то бывает, только ненадежно дело: комочками приходит, пылью уходит, на человека тоску наводит. Про это и не думай, себя не беспокой! Из земельного богатства, сказывают, одно чисто да крепко. Это когда бабка Синюшка красной девкой обернется да сама своими рученьками человеку подаст. А дает Синюшка богатство гораздому да удалому, да простой душе. Больше никому. Вот ты и попомни, друг Илюшенька, тот мой последний наказ.

Поклонился тут Илья бабке.

— Спасибо тебе, бабка Лукерья, за перья, а пуще того за наставленье. Век его не забуду.

Вскорости умерла бабка... Остался Илюха один-одинешенек, сам большой, сам маленький. Тут, конечно, похоронные старушонки набежали покойницу обмыть, обрядить, на погост проводить. Они — эти старушонки — тоже не от сладкого житья по покойникам бегают. Одно выпрашивают, другое выглядывают. Живо все бабкино обзаведенье по рукам расхватали. Воротился Илья с могильника, а в избе у него голым-голехонько. Только то и есть, что сам сейчас на спицу повесил: зипун да шапка. Кто-то и бабкиным пером покорыстовался: начисто выгреб из решета. Только три перышка в решетке зацепились. Одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое.

Пожалел Илья, что не уберег бабкин поминок.

«Надо,— думает,— хоть эти перышки к месту прибрать, а то нехорошо как-то. Бабка от всей души старалась, а мне будто и дела нет».

Подобрал с полу каку-то синюю ниточку, перевязал эти перышки натуго, да и пристроил себе на шапку.

«Тут,— думает,— самое им место. Как надевать либо снимать шапку, так и вспомнишь бабкин наказ. А он, видать, для жизни полезный. Всегда его в памяти держать надо».

Надел потом шапку да зипун и пошел на прииск. Избушку свою и запирать не стал, потому в ней —

ничем-ничего. Одно пустое решето, да и то с дороги никто не подберет.

Илья возрастной парень был, давно в женихах считался. На прииске-то он годов шесть либо семь робил. Тогда ведь, при крепости-то, с малолетства людей на работу загоняли. До женитьбы иной, глядишь, больше десятка годов уж на барина отхлещет. И этот Илья, прямо сказать, вырос на прииске.

Места тут он знал вдоль и поперек. Дорога на прииск не близкая. На Гримихе, сказывают, тогда добывали чуть не у Белого камня. Вот Илюха и придумал:

«Пойду-ко я через Зюзельско болотце. Вишь, жарынь какая стоит. Подсохло, поди, оно,— пустит перебраться. Глядишь, и выгадаю версты три, а то и все четыре...»

Сказано — сделано. Пошел Илья лесом напрямую, как по осеням с прииска и на прииск бегали. Сперва ходко шел, потом намаялся и с пути сбился. По кочкам-то ведь не по прямой дороге. Тебе надо туда, а кочки ведут вовсе не в ту сторону. Скакал-скакал, до поту наскакался. Ну, выбрался в какой-то ложок. Посредине место пониже. Тут трава растет — горчик да метлика. А с боков взгорочки, а на них сосна жаровая. Вовсе, значит, сухое место пошло. Одно плохо — не знает Илья, куда дальше итти. Сколько раз по этим местам бывал, а такого ложочка не видывал.

Вот Илья и пошел серединой, меж взгорочков-то. Шел-шел, видит — на полянке окошко круглое, а в нем вода, как в ключе, только дна не видно. Вода будто чистая, только сверху синенькой тенеткой подернулась, и посредине паучок сидит, тоже синий.

Илюха обрадовался воде, отпахнул рукой тенетку и хотел напиться. Тут у него голову и обнесло,— чуть в воду не сунулся и сразу спать захотел.

«Вишь,— думает,— как притомило меня болото. Отдохнуть, видно, надо часок».

Хотел на ноги подняться, а не может. Отполз все ж таки сажени две ко взгорочку, шапку под голову, да и растянулся. Глядит,— а из того водяного окошка старушонка вышла. Ростом не больше трех четвертей. Платьишко на ней синее, платок на голове синий и сама вся синехонька, да такая тощая, что вот подует ветерок — и

разнесет старушонку. Однако глаза у ней молодые, синие да такие большие, будто им тут вовсе и не место.

Уставилась старушонка на парня и руки к нему протянула, а руки все растут да растут. Того и гляди, до головы парню дотянутся. Руки ровно жиденькие, как туман синий, силы в них не видно, и когтей нет, а страшно. Хотел Илья подальше отползти, да силы вовсе не стало.

«Дай,— думает,— отвернусь,—все не так страшно».

Отвернулся да носом-то как раз в перышки и ткнулся. Тут на Илью почихота нашла. Чихал-чихал, кровь носом пошла, а все конца краю нет. Только чует — голове-то много легче стало. Подхватил тут Илья шапку и на ноги поднялся. Видит — стоит старушонка на том же месте, от злости трясется. Руки у нее до ног Илье дотянулись, а выше-то от земли поднять их не может. Смекнул Илья, что у старухи оплошка вышла — сила не берет, прочихался, высморкался, да и говорит с усмешкой:

— Что, взяла, старая? Не по тебе, видно, кусок!

Плюнул ей на руки-то да и пошел дальше. Старушонка тут и заговорила, да звонко так, вовсе по-молодому:

— Погоди, не радуйся! Другой раз придешь — головы не унесешь!

— А я и не приду,— отвечает Илья.

— Ага! Испугался, испугался! — зарадовалась старушонка.

Илюхе это за обиду показалось. Остановился он, да и говорит:

— Коли на то пошло, так нарочно приду — воды из твоего колодца вычерпнуть.

Старушонка засмеялась и давай подзадоривать парня.

— Хвастун ты, хвастун! Говорил бы спасибо своей бабке Лукерье, что ноги унес, а он еще похваляется! Да не родился еще такой человек, чтоб из здешнего колодца воду добыть.

— А вот поглядим, родился ли, не родился,— отвечает Илья.

Старушонка знай свое твердит:

— Пустомеля ты, пустомеля! Тебе ли воду добыть, коли подойти боишься. Пустые твои слова! Разве других людей приведешь. Посмелее себя!

— Этого,— кричит Илья,— от меня не дождешься, чтоб я стал других людей тебе подводить! Слыхал, поди-ка, какая ты вредная и чем людей обманываешь.

Старушонка одно заладила:

— Не придешь, не придешь! Где тебе! Такому-то!

Тогда Илья и говорит:

— Ладно, нето. Как в воскресный день ветер хороший случится, так и жди в гости.

— Ветер тебе на что? — спрашивает старушонка.

— Там видно будет,— отвечает Илья.— Ты только плевок-то с руки смой. Не забудь, смотри!

— Тебе,— кричит старушонка,— не все равно, какой рукой тебя на дно потяну? Хоть ты, вижу, и гораздый, а, все едино, мой будешь. На ветер да бабкины перья не надейся! Не помогут!

Ну, поругались так-то. Пошел Илья дальше, сам дорогу примечает и про себя думает:

«Вот она какая бабка Синюшка. Ровно еле живая, а глаза девичьи, погибельные, и голос, как у молоденькой,— так и звенит. Поглядел бы, как она красной девкой оборачивается».

Про Синюшку Илья много слыхал. На прииске не раз об этом говаривали. Вот, дескать, по глухим болотным местам, а то и по старым шахтам набегали люди на Синюшку. Где она сидит, тут и богатство положено. Сживи Синюшку с места,— и откроется полный колодец золота да дорогих каменьев. Тогда и греби сколь рука взяла. Многие будто ходили искать, да либо ни с чем воротились, либо с концом загинули.

К вечеру выбрался Илюха на прииск. Смотритель приисковский напустился, конечно, на Илюху:

— Что долго?

Илья объяснил — так и так, бабку Лукерью хоронил. Смотрителю маленько стыдно стало, а все нашел придирку:

— Что это у тебя за перья на шапке? С какой радости нацепил?

— Это,— отвечает Илья,— бабкино наследство. Для памяти его тут пристроил.

Смотритель да и другие, кто близко случился, давай смеяться над таким наследством, а Илья и говорит:

— Да, может, я эти перья на весь господский прииск не променяю. Потому — не простые они, а наговоренные.

Белое вот — на веселый день, черное — на спокойную ночь, а рыженькое — на красное солнышко.

Шутит, конечно. Только тут парень был — Кузька Двоерылко. Он Илюхе-то ровесником приходился, в одном месяце именинниками были, а по всем статьям на Илюху не походил. Он, этот Двоерылко, вовсе со справного двора. По-доброму такому парню и мимо прииска ходить не надо — полегче бы работа дома нашлась. Ну, Кузька давно около золота околачивался, свое смышлял,— не попадет ли штучка хорошая, а унести ее сумею. И верно, насчет того, чтобы чужое в свой карман прибрать, Двоерылко мастак был. Чуть кто не доглядел,— Двоерылко уже унес, и найти не могут. Однем словом, ворина. По этому ремеслу у него и заметка была. Его, вишь, один старатель лопаткой черканул. Скользом пришлось, а все же зарубка на память осталась — нос до губы пополам развалило. По этой метке Кузьку и величали Двоерылком.

Этот Кузька крепко завидовал Илюхе. Тот, видишь, парень ядреный да могутный, крутой да веселый,— работа у него и шла податно. Кончил работу — поел да песню запел, а то и в пляс пошел. На артелке ведь и это бывает. Против такого парня где же равняться Двоерылому, коли у него ни силы, ни охоты, да и на уме вовсе другое. Только Кузька по-своему об этом понимал.

«Не иначе, знает Илюшка какую-то словинку,— то он и удачливый, и по работе ему устатка нет».

Как про перышки-то Илья сказал, Кузька и смекнул про себя: «Вот она — илюшкина словинка».

Ну, известно, в ту же ночь и украл эти перышки.

На другой день хватился Илья — где перышки? Думает, обронил. Давай искать по прииску-то. Над Ильей подсмеиваться стали:

— Ты в уме ли, парень! Столько ног тут топчется, а ты какие-то махонькие перышки ищешь! В пыль, поди, их стоптали. Да и на что они тебе?

— Как,— отвечает,— на что, коли это бабкина памятка?

— Памятку,— говорят,— надо в крепком месте, либо в голове держать, а не на шапке таскать.

Илья и думает — правду говорят,— и перестал те перышки искать. Того ему и на мысли не пало, что они худыми руками взяты.

У Кузьки своя забота — за Илюхой доглядывать, как у него теперь дело пойдет, без бабкиных перышек. Вот и узрил, что Илья ковш старательский взял да к лесу пошел. Двоерылко за Ильей,— думает, не смывку ли где наладил. Ну, никакой смывки не оказалось, а стал Илья тот ковш на жердинку насаживать. Сажени четыре жердинка. Вовсе для смывки несподручно. К чему бы это? Еще пуще Кузька насторожился.

Дело-то к осени пошло, крепко подувать стало. В субботу, как рабочих с прииска домой отпускали, Илья тоже домой запросился. Смотритель сперва покочевряжился,— ты, дескать, недавно ходил, да и незачем тебе — семейства нет, а хозяйство свое — перышки-то — на прииске потерял. Ну, отпустил. А Кузька разве такой случай пропустит? Он спозаранку к тому месту пробрался, где ковш на жердинке припрятан был. Долго Кузьке ждать-то пришлось, да ведь воровская сноровка известна. Не нами сказано — вор собаку переждет, не то что хозяина. На утре подошел Илья, достал ковш, да и говорит:

— Эх, перышек-то нету! А ветер добрый. С утра так свистит,— к полдню вовсе разгуляется.

Впрямь, ветер такой, что в лесу стон стоит. Пошел Илья по своим приметкам, а Двоерылко за ним крадется да радуется:

«Вот они, перышки-то! К богатству, знать-то, дорожку кажут!»

Долгонько пришлось Илье по приметам-то пробираться, а ветер все тише да тише. Как на ложок выйти, так и вовсе тихо стало,— ни одна веточка не пошевельнется. Глядит Илья,— старушонка у колодца стоит, дожидается и звонко так кричит:

— Вояка пришел! Бабкины перья потерял и на ветре прогадал. Что теперь делать-то станешь! Беги-ко домой да ветра жди! Может, и дождешься!

Сама в сторонке стоит, к Илье рук не тянет, а над колодцем туман, как шапка синяя, густым-густехонько. Илья разбежался да со взгорочка ковшом-то на жердине прямо в ту синюю шапку и сунул да еще кричит:

— Ну-ко, ты, убогая, поберегись! Не зашибить бы ненароком.

Зачерпнул из колодца и чует — тяжело. Еле выволок. Старушонка смеется, молодые зубы кажет.

— Погляжу я, погляжу, как ты ковш до себя дотянешь. Много ли моей водицы испить доведется!

Задорит, значит, парня. Илья видит — верно, тяжело,— вовсе озлился.

— Пей,— кричит,— сама!

Усилился, поднял маленько ковшик да и норовит опрокинуть на старушонку. Та отодвинулась. Илья за ней. Она дальше. Тут жердинка и переломилась, и вода разлилась. Старушонка опять смеется:

— Ты бы ковшик-то на бревно насадил... Надежнее бы!

Илья в ответ грозится:

— Погоди, убогая! Искупаю еще!

Тут старушонка и говорит:

— Ну, ладно. Побаловали — и хватит. Вижу, что ты парень гораздый да удалый. Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь. Всяких богатств тебе покажу. Бери, сколько унесешь. Если меня сверху не случится, скажись: «Без ковша пришел»,— и все тебе будет.

— Мне,— отвечает Илья,— и на то охота поглядеть, как ты красной девкой оборачиваешься.

— По делу видно будет,— усмехнулась старушонка, опять молодые зубы показала.

Двоерылко все это до капельки видел и до слова слышал.

«Надо,— думает,— поскорее на прииск бежать да кошели наготовлять. Как бы только Илюшка меня не опередил!»

Убежал Двоерылко. А Илья взгорочком к дому пошел. Перебрался по кочкам через болотце, домой пришел, а там одна новость — бабкиного решета не стало.

Подивился Илья — кому такое понадобилось? Сходил к своим заводским дружкам, поговорил с тем, с другим и обратно на прииск пошел, только не через болото, а дорогой, как все ходили.

Прошло так дней пяток, а случай тот у Илюхи из головы не выходит — на работе помнится и сну мешать стал. Нет-нет и увидит он те синие глаза, а то и голос звонкий услышит:

«Приходи в месячную ночь, когда вздумаешь».

Вот Илюха и порешил:

«Схожу. Погляжу хоть, какое богатство бывает. Может, и сама она мне красной девкой покажется».

В ту пору как раз молодой месяц народился, ночи посветлее стали. Вдруг на прииске разговор — Двоерылко потерялся. Сбегали на завод — нету. Смотритель велел по лесу искать — тоже не оказалось. И то сказать, искали — не надсажались. Всяк про себя думал: «От того убытку нет, коли вор потерялся». На том и кончилось.

Как месяц на полный кружок обозначился, Илюха и пошел. Добрался до места. Глядит — никого нет. Илья все же со взгорочка не спустился и тихонько молвил:

— Без ковша пришел.

Только сказал, сейчас старушонка объявилась и ласково говорит:

— Милости просим, гостенек дорогой! Давно поджидаю. Подходи да бери, сколько унесешь.

Сама руками-то как крышку над колодцем подняла, а там и открылось богатства всякого. Доверху набито. Илье любопытно на такое богатство поглядеть, а со взгорочка не спускается. Старушонка поторапливать стала.

— Ну, чего стоишь? Бери,— говорю,— сколько в кошель уйдет.

— Кошеля-то,— отвечает,— у меня нету, да и от бабки Лукерьи я другое слыхал. Будто только то богатство чисто да крепко, какое ты сама человеку подашь.

— Вишь ты, привередник какой! Ему еще подноси! Ну, будь по-твоему!

Как сказала это старушонка, так из колодца синий столб выметнуло. И выходит из этого столба девица-красавица, как царица снаряжена, а ростом до половины доброй сосны. В руках у этой девицы золотой поднос, а на нем груда всякого богатства. Песок золотой, каменья дорогие, самородки чуть не по ковриге. Подходит эта девица к Илюхе и с поклоном подает ему поднос.

— Прими-ко, молодец!

Илья на прииске вырос, в золотовеске тоже бывал, знал, как его — золото-то — весят. Посмотрел на поднос и говорит старушонке:

— Для смеху это придумано. Ни одному человеку не в силу столько поднять.

— Не возьмешь? — спрашивает старушонка.

— И не подумаю,— отвечает Илья.

— Ну, будь по-твоему! Другой подарок дам,— говорит старушонка.

И сейчас же той девицы — с золотым-то подносом — не стало. Из колодца опять синий столб выметнуло. Вышла другая девица. Ростом поменьше. Тоже красавица и наряжена по-купецки. В руках у этой девицы серебряный поднос, на нем груда богатства. Илья и от этого подноса отказался, говорит старушонке:

— Не в силу человеку столько поднять, да и не своими руками ты подаешь.

Тут старушонка вовсе по-девичьи рассмеялась.

— Ладно, будь по-твоему! Тебя и себя потешу. Потом, чур, не жалеть. Ну, жди.

Сказала, и сразу не стало ни той девицы с серебряным подносом, ни самой старушонки. Стоял-стоял Илюха — никого нет. Надоело уж ему ждать-то, тут сбоку и зашуршала трава. Поворотился Илюха в ту сторону. Видит — девчонка подходит. Простая девчонка, в обыкновенный человечий рост. Годов так восемнадцати. Платьишко на ней синее, платок на голове синий, и на ногах бареточки синие. А пригожая эта девчонка — и сказать нельзя. Глаза звездой, брови дугой, губы — малина, и руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в косе лента синяя.

Подошла девчонка к Илюхе и говорит:

— Прими-ка, мил друг Илюшенька, подарочек от чистого сердца.

И подает ему своими белыми рученьками старое бабки Лукерьи решето с ягодами. Тут тебе и земляника, тут тебе и княженика, и желтая морошка, и черная смородина с голубикой. Ну, всяких сортов ягода. Полнехонько решето. А сверху три перышка. Одно беленькое, одно черненькое, одно рыженькое, натуго синей ниточкой перевязаны.

Принял Илюха решето, а сам как дурак стоит, никак домекнуть не может, откуда эта девчонка появилась, где она осенью всяких ягод набрала. Вот и спрашивает:

— Ты чья, красна девица? Скажись, как тебя звать-величать?

Девчонка усмехнулась и говорит:

— Бабкой Синюшкой люди зовут, а гораздому да удалому, да простой душе и такой кажусь, какой видишь. Редко только так-то бывает.

Тогда уж Илюха понял, с кем разговор, и спрашивает:

— Перышки-то у тебя откуда?

— Да вот,— отвечает,— Двоерылко за богатством приходил. Сам в колодец угодил и кошели свои утопил, а твои-то перышки выплыли. Простой, видно, ты души парень.

Дальше Илья и не знает о чем говорить. И она стоит, молчит, ленту в косе перебирает. Потом промолвила:

— Так-то, мил друг Илюшенька! Синюшка я. Всегда старая, всегда молодая. К здешним богатствам навеки приставлена.

Тут помолчала маленько да спрашивает:

— Ну, нагляделся? Хватит, поди, а то как бы во сне не привиделась.

И сама вздохнула, как ножом по сердцу парня полыснула. Все бы отдал, лишь бы она настоящая живая девчонка стала, а ее и вовсе нет.

Долго еще стоял Илья. Синий туман из колодца по всему ложочку пополз, тогда только стал к дому пробираться. На свету уж пришел. Только заходит в избу, а решето с ягодами и потяжелело, дно оборвалось, и на пол самородки да дорогие каменья посыпались.

С таким-то богатством Илья сразу от барина откупился, на волю вышел, дом себе хороший справил, лошадь завел, а вот жениться никак не может. Все та девчонка из памяти не выходит. Сна-покою решился. И бабки Лукерьи перышки не помогают. Не один раз говаривал:

— Эх, бабка Лукерья, бабка Лукерья! Научила ты, как Синюшкино богатство добыть, а как тоску избыть — не сказала. Видно, сама не знала.

Маялся-маялся так-то и надумал:

«Лучше в тот колодец нырнуть, чем такую муку переносить».

Пошел к Зюзельскому болотцу, а бабкины перышки все же с собой захватил. Тогда ягодная пора пришлась. Землянику таскать стали.

Только подошел Илья к лесу, навстречу ему девичья артелка. Человек с десяток, с полными корзинками. Одна девчонка на отшибе идет, годов так восемнадцати. Платьишко на ней синее, платок на голове синий. И пригожая — сказать нельзя. Брови — дугой, глаза — звездой, губы — малина, руса коса трубчатая через плечо перекинута, а в ней лента синяя. Ну, вылитая та. Одна приметочка разнится: на той баретки синие были, а эта вовсе босиком.

Остолбенел Илья. Глядит на девчонку, и она синими-то глазами зырк да зырк и усмехается — зубы кажет. Прочухался маленько Илюха и говорит:

— Как это я тебя никогда не видал?

— Вот,— отвечает,— и погляди, коли охота. На это я проста — копейки не возьму.

— Где,— спрашивает,— ты живешь?

— Ступай,— говорит,— прямо, повороти направо. Тут будет пень большой. Ты разбегись да треснись башкой. Как искры из глаз посыплются — тут меня и увидишь...

Ну, зубоскальничает, конечно, как по девичьему обряду ведется. Потом сказалась — чья такая, по которой улице живет и как зовут.

Все честь-честью. А сама глазами так и тянет, так и тянет.

С этой девчонкой Илюха и свою долю нашел. Только не надолго. Она, вишь, из мраморских была. То ее Илюха и не видал раньше-то. Ну, а про мраморских дело известное. Краше тамошних девок по нашему краю нет, а женись на такой — овдовеешь. С малых лет около камню бьются — чахотка у них.

Илюха и сам долго не зажился. Наглотался, может, от этой, да и от той нездоровья-то. А по Зюзельке вскорости большой прииск открыли.

Илюха, видишь, не потаил, где богатство взял. Ну, рыться по тем местам стали, да и натакались по Зюзельке на богатимое золото.

На моих еще памятях тут хорошо добывали. А колодца того так и не нашли. Туман синий,— тот и посейчас на тех местах держится, богатство кажет.

Мы ведь что! Сверху поковыряли маленько, копнико поглубже... Глубокий, сказывают, тот синюшкин колодец. Страсть глубокий. Еще добытчиков ждет.

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

Жил в нашем заводе старик один, по прозвищу Кокованя. Семьи у Коковани не осталось, он и придумал взять в дети сиротку. Спросил у соседей,— не знают ли кого, а соседи и говорят:

— Недавно на Глинке осиротела семья Григория Потопаева. Старших-то девчонок приказчик велел в барскую рукодельню взять, а одну девчоночку по шестому году никому не надо. Вот ты и возьми ее.

— Несподручно мне с девчонкой-то. Парнишечко бы лучше. Обучил бы его своему делу, пособника бы ростить стал. А с девчонкой как? Чему я ее учить-то стану?

Потом подумал-подумал и говорит:

— Знавал я Григорья да и жену его тоже. Оба веселые да ловкие были. Если девчоночка по родителям пойдет, не тоскливо с ней в избе будет. Возьму ее. Только пойдет ли?

Соседи объясняют:

— Плохое житье у нее. Приказчик избу григорьеву отдал какому-то горюну и велел за это сиротку кормить, пока не подрастет. А у того своя семья больше десятка. Сами не досыта едят. Вот хозяйка и взъедается на сиротку, попрекает ее куском-то. Та хоть маленькая, а понимает. Обидно ей. Как не пойдет от такого житья! Да и уговоришь, поди-ка.

— И то правда,— отвечает Кокованя,— уговорю как-нибудь.

В праздничный день и пришел он к тем людям, у кого сиротка жила. Видит, полна изба народу, больших и маленьких. На голбчике, у печки, девчоночка сидит, а

рядом с ней кошка бурая. Девчоночка маленькая, и кошка маленькая и до того худая да ободранная, что редко кто такую в избу пустит. Девчоночка эту кошку гладит, а она до того звонко мурлычет, что по всей избе слышно.

Поглядел Кокованя на девчоночку и спрашивает:

— Это у вас григорьева-то подаренка?

Хозяйка отвечает:

— Она самая. Мало одной-то, так еще кошку драную где-то подобрала. Отогнать не можем. Всех моих ребят перецарапала, да еще корми ее!

Кокованя и говорит:

— Неласковые, видно, твои ребята. У ней вон мурлычет.

Потом и спрашивает у сиротки:

— Ну, как, подаренушка, пойдешь ко мне жить?

Девчоночка удивилась:

— Ты, дедо, как узнал, что меня Даренкой зовут?

— Да так,— отвечает,— само вышло. Не думал, не гадал, нечаянно попал.

— Ты хоть кто? — спрашивает девчоночка.

— Я,— говорит,— вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю да все увидеть не могу.

— Застрелишь его?

— Нет,— отвечает Кокованя.— Простых козлов стреляю, а этого не стану. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней ножкой топнет.

— Тебе на что это?

— А вот пойдешь ко мне жить, так все и расскажу,— ответил Кокованя.

Девчоночке любопытно стало про козла-то узнать. И то видит — старик веселый да ласковый. Она и говорит:

— Пойду. Только ты эту кошку Муренку тоже возьми. Гляди, какая хорошая.

— Про это,— отвечает Кокованя,— что и говорить. Такую звонкую кошку не взять — дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет.

Хозяйка слышит их разговор. Рада-радехонька, что Кокованя сиротку к себе зовет. Стала скорей Дареньkины пожитки собирать. Боится, как бы старик не передумал.

Кошка будто тоже понимает весь разговор. Трется у ног-то да мурлычет:

— Пр-равильно придумал. Пр-равильно.

Вот и повел Кокованя сиротку к себе жить.

Сам большой да бородатый, а она махонькая и носишко пуговкой. Идут по улице, и кошчонка ободранная за ними попрыгивает.

Так и стали жить вместе дед Кокованя, сиротка Даренка да кошка Муренка. Жили-поживали, добра много не наживали, а на житье не плакались, и у всякого дело было.

Кокованя с утра на работу уходил. Даренка в избе прибирала, похлебку да кашу варила, а кошка Муренка на охоту ходила — мышей ловила. К вечеру соберутся, и весело им.

Старик был мастер сказки сказывать, Даренка любила те сказки слушать, а кошка Муренка лежит да мурлычет:

— Пр-равильно говорит. Пр-равильно.

Только после всякой сказки Даренка напомнит:

— Дедо, про козла-то скажи. Какой он?

Кокованя отговаривался сперва, потом и рассказал:

— Тот козел особенный. У него на правой передней ноге серебряное копытце. В каком месте топнет этим копытцем — там и появится дорогой камень. Раз топнет — один камень, два топнет — два камня, а где ножкой бить станет — там груда дорогих камней.

Сказал это, да и не рад стал. С той поры у Даренки только и разговору, что об этом козле.

— Дедо, а он большой?

Рассказал ей Кокованя, что ростом козел не выше стола, ножки тоненькие, головка легонькая.

А Даренка опять спрашивает:

— Дедо, а рожки у него есть?

— Рожки-то,— отвечает,— у него отменные. У простых козлов на две веточки, а у него на пять веток.

— Дедо, а он кого ест?

— Никого,— отвечает,— не ест. Травой да листом кормится. Ну, сено тоже зимой в стожках подъедает.

— Дедо, а шерстка у него какая?

— Летом,— отвечает,— буренькая, как вот у Муренки нашей, а зимой серенькая.

— Дедо, а он душно́й?

Кокованя даже рассердился:

— Какой же душной! Это домашние козлы такие бывают, а лесной козел, он лесом и пахнет.

Стал осенью Кокованя в лес собираться. Надо было ему поглядеть, в которой стороне козлов больше пасется. Даренка и давай проситься:

— Возьми меня, дедо, с собой. Может, я хоть сдалека того козлика увижу.

Кокованя и объясняет ей:

— Сдалека-то его не разглядишь. У всех козлов осенью рожки есть. Не разберешь, сколько на них веток. Зимой вот — дело другое. Простые козлы безрогие ходят, а этот, Серебряное копытце, всегда с рожками, хоть летом, хоть зимой. Тогда его сдалека признать можно.

Этим и отговорился. Осталась Даренка дома, а Кокованя в лес ушел.

Дней через пять воротился Кокованя домой, рассказывает Даренке:

— Ныне в Полдневской стороне много козлов пасется. Туда и пойду зимой.

— А как же,— спрашивает Даренка,— зимой-то в лесу ночевать станешь?

— Там,— отвечает,— у меня зимний балаган у покосных ложков поставлен. Хороший балаган, с очагом, с окошечком. Хорошо там.

Даренка опять спрашивает:

— Серебряное копытце в той же стороне пасется?

— Кто его знает. Может, и он там.

Даренка тут и давай проситься:

— Возьми меня, дедо, с собой. Я в балагане сидеть буду. Может, Серебряное копытце близко подойдет,— я и погляжу.

Старик сперва руками замахал:

— Что ты! Что ты! Статочное ли дело зимой по лесу маленькой девчонке ходить! На лыжах ведь надо, а ты не умеешь. Угрузнешь в снегу-то. Как я с тобой буду? Замерзнешь еще!

Только Даренка никак не отстает:

— Возьми, дедо! На лыжах-то я маленько умею.

Кокованя отговаривал-отговаривал, потом и подумал про себя:

«Сводить разве? Раз побывает, в другой не запросится».

Вот он и говорит:

— Ладно, возьму. Только, чур, в лесу не реветь и домой до времени не проситься.

Как зима в полную силу вошла, стали они в лес собираться. Уложил Кокованя на ручные санки сухарей два мешка, припас охотничий и другое, что ему надо. Даренка тоже узелок себе навязала. Лоскуточков взяла кукле платье шить, ниток клубок, иголку да еще веревку.

«Нельзя ли,— думает,— этой веревкой Серебряное копытце поймать?»

Жаль Даренке кошку свою оставлять, да что поделаешь. Гладит кошку-то на прощанье, разговаривает с ней:

— Мы, Муренка, с дедом в лес пойдем, а ты дома сиди, мышей лови. Как увидим Серебряное копытце, так и воротимся. Я тебе тогда все расскажу.

Кошка лукаво посматривает, а сама мурлычет:

— Пр-равильно придумала. Пр-равильно.

Пошли Кокованя с Даренкой. Все соседи дивуются:

— Из ума выжился старик! Такую маленькую девчонку в лес зимой повел!

Как стали Кокованя с Даренкой из заводу выходить, слышат — собачонки что-то сильно забеспокоились. Такой лай да визг подняли, будто зверя на улицах увидали. Оглянулись,— а это Муренка серединой улицы бежит, от собак отбивается. Муренка к той поре поправилась. Большая да здоровая стала. Собачонки к ней подступиться не смеют.

Хотела Даренка кошку поймать да домой унести, только где тебе! Добежала Муренка до лесу, да и на сосну. Пойди поймай!

Покричала Даренка, не могла кошку приманить. Что делать? Пошли дальше. Глядят,— Муренка стороной бежит. Так и до балагана добралась.

Вот и стало их в балагане трое. Даренка хвалится:

— Веселее так-то.

Кокованя поддакивает:

— Известно, веселее.

А кошка Муренка свернулась клубочком у печки и звонко мурлычет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Козлов в ту зиму много было. Это простых-то. Кокованя каждый день то одного, то двух к балагану притаскивал. Шкурок у них накопилось, козлиного мяса насо-

лили — на ручных санках не увезти. Надо бы в завод за лошадью сходить, да как Даренку с кошкой в лесу оставить! А Даренка попривыкла в лесу-то. Сама говорит старику:

— Дедо, сходил бы ты в завод за лошадью. Надо ведь солонину домой перевезти.

Кокованя даже удивился:

— Какая ты у меня разумница, Дарья Григорьевна. Как большая рассудила. Только забоишься, поди, одна-то.

— Чего,— отвечает,— бояться. Балаган у нас крепкий, волкам не добиться. И Муренка со мной. Не забоюсь. А ты поскорее ворочайся все-таки!

Ушел Кокованя. Осталась Даренка с Муренкой. Днем-то привычно было без Коковани сидеть, пока он козлов выслеживал... Как темнеть стало, запобаивалась. Только глядит,— Муренка лежит спокойнехонько. Даренка и повеселела. Села к окошечку, смотрит в сторону покосных ложков и видит — по лесу какой-то комочек катится. Как ближе подкатился, разглядела,— это козел бежит. Ножки тоненькие, головка легонькая, а на рожках по пяти веточек.

Выбежала Даренка поглядеть, а никого нет. Воротилась, да и говорит:

— Видно, задремала я. Мне и показалось.

Муренка мурлычет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Легла Даренка рядом с кошкой, да и уснула до утра.

Другой день прошел. Не воротился Кокованя. Скучненько стало Даренке, а не плачет. Гладит Муренку да приговаривает:

— Не скучай, Муренушка! Завтра дедо непременно придет.

Муренка свою песенку поет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Посидела опять Даренушка у окошка, полюбовалась на звезды. Хотела спать ложиться, вдруг по стенке топоток прошел. Испугалась Даренка, а топоток по другой стене, потом по той, где окошечко, потом где дверка, а там и сверху запостукивало. Не громко, будто кто легонький да быстрый ходит. Даренка и думает:

«Не козел ли тот вчерашний прибежал?»

И до того ей захотелось поглядеть, что и страх не

держит. Отворила дверку, глядит, а козел — тут, вовсе близко. Правую переднюю ножку поднял — вот топнет, а на ней серебряное копытце блестит, и рожки у козла о пяти ветках. Даренка не знает, что ей делать, да и манит его как домашнего:

— Ме-ка! Ме-ка!

Козел на это как рассмеялся. Повернулся и побежал.

Пришла Даренушка в балаган, рассказывает Муренке:

— Поглядела я на Серебряное копытце. И рожки видела, и копытце видела. Не видела только, как тот козлик ножкой дорогие камни выбивает. Другой раз, видно, покажет.

Муренка, знай, свою песенку поет:

— Пр-равильно говоришь. Пр-равильно.

Третий день прошел, а все Коковани нет. Вовсе затуманилась Даренка. Слезки запокапывали. Хотела с Муренкой поговорить, а ее нету. Тут вовсе испугалась Даренушка, из балагана выбежала кошку искать.

Ночь месячная, светлая, далеко видно. Глядит Даренка — кошка близко на покосном ложке сидит, а перед ней козел. Стоит, ножку поднял, а на ней серебряное копытце блестит.

Муренка головой покачивает, и козел тоже. Будто разговаривают. Потом стали по покосным ложкам бегать. Бежит-бежит козел, остановится и давай копытцем бить. Муренка подбежит, козел дальше отскочит и опять копытцем бьет. Долго они так-то по покосным ложкам бегали. Не видно их стало. Потом опять к самому балагану воротились.

Тут вспрыгнул козел на крышу и давай по ней серебряным копытцем бить. Как искры, из-под ножки-то камешки посыпались. Красные, голубые, зеленые, бирюзовые — всякие.

К этой поре как раз Кокованя и вернулся. Узнать своего балагана не может. Весь он как ворох дорогих камней стал. Так и горит-переливается разными огнями. Наверху козел стоит — и все бьет да бьет серебряным копытцем, а камни сыплются да сыплются. Вдруг Муренка скок туда же. Встала рядом с козлом, громко мяукнула, и ни Муренки, ни Серебряного копытца не стало.

Кокованя сразу полшапки камней нагреб, да Даренка запросила:

— Не тронь, дедо! Завтра днем еще на это поглядим.

Кокованя и послушался. Только к утру-то снег большой выпал. Все камни и засыпало. Перегребали потом снег-то, да ничего не нашли. Ну, им и того хватило, сколько Кокованя в шапку нагреб.

Все бы хорошо, да Муренки жалко. Больше ее так и не видали, да и Серебряное копытце тоже не показался. Потешил раз,— и будет.

А по тем покосным ложкам, где козел скакал, люди камешки находить стали. Зелененькие больше. Хризолитами называются. Видали?

ЕРМАКОВЫ ЛЕБЕДИ

Так, говоришь, из донских казаков Ермак был? Приплыл в наши края и сразу в сибирскую сторону дорогу нашел? Куда никто из наших не бывал, туда он со всем войском по рекам проплыл?

Ловко бы так-то! Сел на Каме, попотел на веслах, да и выбрался на Туру, а там гуляй по сибирским рекам, куда тебе любо. По Иртышу-то вон, сказывают, до самого Китаю плыви — не тряхнет!

На словах-то вовсе легко, а попробуй на деле — не то запоешь! До первого разводья доплыл, тут тебе и спотычка. Столбов не поставлено и на воде не написано: то ли тут протока, то ли старица подошла, то ли другая река выпала. Вот и гадай,— направо плыть али налево правиться? У куличков береговых, небось, не спросишь и по солнышку не смекнешь, потому — у всякой реки свои петли да загибы и никак их не угадаешь.

Нет, друг, не думай, что по воде дорожка гладкая. На деле по незнакомой реке плыть похитрее будет, чем по самому дикому лесу пробираться. Главная причина — приметок нет, да и не сам идешь, а река тебя ведет. Коли ты вперед ее пути не узнал, так только себя и других намаешь, а можешь и вовсе с головами загубить.

Это по нынешним временам так-то, а в ермакову пору и того мудренее было. Тогда, поди-ко, не то что в Сибири, а и по нашим местам ни единого русского человека не жило. Из здешних рек одну Каму знали да Чусовую маленько, а про Туру да Иртыш слыхом не слыхали. Вот и рассуди, как при таком положении заезжий человек пути-дороги по рекам разберет. Листов-то, на коих всяка речка-горочка обозначены, тогда и в помине

не было, и вожака не найдешь, потому — никто из наших в той стороне не бывал.

Нет, брат, зряшный твой разговор выходит! Чусовские старики об этом складнее сказывают.

Так будто дело-то было.

Когда еще по нашим местам ни одного города, ни одного завода либо села русского не было, у Строгановых на Чусовой реке сельцо было поставлено. Сельцо малое, а городом называлось, потому — крепко было огорожено. Канавы кругом, вал земляной, а по валу тын из высоких бревен-стояков. С двух сторон ворота надежные поставлены, да еще башни срублены. На случай, чтоб оттуда стрелять либо камнями бросать, а то и кипятком поливать, коли кто непрошеный ломиться станет. И ратные люди в этом Чусовском городке жили. Ну, и крестьяне тоже.

В том числе был Тимофей Аленин. По доброй воле он туда пришел али ссылкой попал — это сказать не умею, только жил семейно. И было у него, ровно в сказке, три сына, только дурака ни одного. Все ребята ладные да разумные, а младший Васютка из всех на отличку. И лицом пригож, и речами боек, и силенкой не по годам вышел.

Хоть говорится, что атаманами люди не родятся, а все-таки смолоду угадать можно, кому потом кашу варить, кому передом ходить.

Своей-то ровней этот Васютка с малых лет верховодил, а любимая забава у него была в развед ходить.

У ворот-то, дескать, стоять — не много увидишь, вот он и сбил из своих ровесников ватажку копейщиков, с саженными, значит, палками. Караульным при воротах, конечно, сказано было, чтобы одних мальцов без большого за городской тын не выпускать, только этот Васютка нашел дорогу. Он что придумал? Подойдет к тыну с веревкой, прислонит свою палку-копье к стене, захлестнет верхушку столба петлей, взлепится по узлам веревки на тын, перекинет первым делом свое копье на другую сторону, спустится туда же сам и палкой петлю снимет, да и покрикивает:

— Ну, кто так же?

Кому из ребят это сделать не под силу, того сейчас же из игры долой.

— Нам таких копейщиков со слабиной не надо!

За такую игру Васютке да и другим ребятам не раз доставалось от больших, да только ребятам все неймется. Нет-нет — и утянутся за городской тын.

Вот раз убрались в лес далеконько, да и потеряли друг дружку из виду. Кто побоязливее, те сразу крик подняли и живо сбежались. Одного Васютки нет. Что делать? Хотели сперва домой бежать, да постыдились: как мы своего вожака оставим.

Стоят, значит, у какой-то речки да кричат, сколько голосу есть. Потом насмелились, вверх по речке пошли, а сами, знай, свистят да ухают.

А с Васюткой такой случай вышел. Он по этой же речке вверх далеко зашел. Вдруг слышит — шум какой-то. Васютка хотел поворотиться, да спохватился:

— Так-то меня скорее услышат.

Он и прижался в кустах. Сидит, слушает. Шум близко, а понять не может, кто шумит. Васютка тогда взмостился потихоньку на сосну, огляделся и увидел... Выше-то речка надвое расходится. Островок тут пришелся. Островок высоконький, полой водой его не зальет. Поближе к воде таловый куст, а из него лебедь шею вытянул, да и шипит по-гусиному, вроде как сердится. По речке, прямо к тому месту, медведь шлепает. Мокрехонек весь. Башкой мотает, а сам рычит, огрызается. На него другой лебедь налетает, крыльями бьет, клювом с налету долбит. Лебедь, конечно, птица большая. Крылья распахнет, так шире сажени. Понимай, какая в них сила! И ноготок на носу, хоть красный, а не из клюквы. Долбанет им, так медведь завизжит, завертится, как собака. Ну, все-таки где же лебедю с медведем сладить? Изловчился Мишка, загреб лебедя лапами, и только перья по речке поплыли. Тут другой лебедь с гнезда снялся и тоже на медведя налетел. Только медведь и этому голову свернул и поволок на бережок, а сам ревет, будто жалуется,— вот как меня лебеди отделали! И лапой по глазам трет.

Вытащил убитого лебедя на травку береговую, почавкал маленько, да не до того, видно, ему. Нет-нет и начнет возить лапой под глазами. Потом что-то насторожился, уши поднял и морду вытянул. Постоял так-то, затряс башкой.

— Фу ты, пакость какая!

Забросал лебедя сушняком, прихлопнул ворох лапой, да в лес. Только сучья затрещали.

Как стихло, Васютка слез с дерева и пошел ко гнезду,— что там? Оказались лебединые яйца. Они на гусиные походят, только много больше и позеленее кажутся. Пощупал рукой,— они вовсе теплые, нисколько не остудились. Васютке жалко лебедей-то, он и подумал:

— А что если эти яички под баушкину гусишку подсунуть? Выведутся, поди-ко? Как бы только их в целости донести да не остудить?

Вытряхнул из своего мешка хлеб, надрал сухого моху, набил им мешок да туда и пристроил три яичка. Больше-то взять побоялся, как бы не разбить. И то подумал,— много-то взять, баушка скорее заметит.

Устроил все, да и пошел вниз по реке. Про то и не подумал, что заблудился. Знает, что речка к Чусовой выведет. Подошел маленько, слышит — ребята кричат да свистят! Тут Васютка и догадался, почему медведь убежал.

Известно, зверь и ухом, и носом дальше нашего чует, и человечьего голосу не любит. Услышал, видно, ребят-то, да и убежал.

Откликнулся Васютка на ребячьи голоса. Скоро все сошлись, и Васютка рассказал ребятам, что с ним случилось. Ребята как услышали про медведя, так и заоглядывались,— вдруг выскочит,— поскорей зашагали к дому. В другой раз Васютка настыдил бы за это своих копейщиков, а тут не до того ему. Об одном забота — как бы в сохранности свою ношу донести.

У Васютки матери в живых давно не было. Всем хозяйством правила баушка Ульяна. Старуха строгая, поблажки внучатам не давала, да и на отца частенько поварчивала.

Первым делом на Васютку накинулась: где шатался? Ну, он отговорился:

— За мохом в лес ходил. Угол у конюшенки законопатить. Помнишь, сама тяте говорила, да он все забывает. Я вот и притащил полный мешок. Только мокрый мох-то, подсушить его надо на печке.

И сейчас же на печь залез.

Баушка еще поворчала маленько, спросила — с кем ходил да почему не сказался, потом и наказывает:

— Ты потоньше расстели. По всей печке!

Васютке того и надо. Забился подальше на печь, вытащил лебединые яички, завернул их в тряпки, положил на самое теплое место, а мох по всей печке раструсил.

Как темно стало, шапку зимнюю надел, взял яички и полез к гусишке, которая на гнезде сидела. Та, понятно, беспокоится, клюет Васютку в голову, в руки, а он свое делает. Вытащил из гнезда три гусиных яйца и подложил лебединые.

Гусишка и на другой день беспокоилась, перекатывала лапами яйца, а все ж таки чужие не выбросила. Баушка подходила поглядеть, да тоже не разглядела, подивилась только:

— Какие-то ноне яйца неровные. Которые больше, которые меньше! К чему бы это?

Васютка знай помалкивает, а чтоб улики не было, он вытащенные из гнезда яйца за городской тын выбросил.

Так оно и прошло незаметно. В одном не сошлось: гусиные яйца еще ничем-ничего, а лебедята уж проклюнулись, запопискивали. Баушка Ульяна всполошилась:

— Что за штука? До времени гусята вылупились! Беспременно это к мору либо к войне!

Гусь этих своих новых детей к себе не подпускает, и гусишка, как виноватая, ходит, а все ж таки лебедят не бросила. Зато Васютка больше всех старается. Прямо не отходит, поит их, кормит вовремя. Баушка, на что строгая, и та похвалила Васютку перед старшими братьями.

— Вы, лбы, учились бы у малого, как баушке пособлять! Гляди-ко, вон он и моху притащил и за гусятами ходит, а вы что? Из чашки ложкой — только и есть вашей работы!

Братья знали, в чем штука, посмеиваются:

— Осенью, баушка, по-другому не заговори!

Баушка пуще того сердится, ухватом грозится,— уходи, значит, а не то попадет.

К осени, и верно, обозначилось, что у Алениных лебеди растут. Соседки подсмеиваются над баушкой Ульяной: не доглядела, вырастила лебедей, а куда их, коли колоть за грех считалось. Баушка — старуха нравная, ей неохота свою оплошку на людях показать, она и говорит:

— Нарочно так сделала. Принес внучонок лебединые яйца, вот и захотела узнать, улетят лебеди али нет, если гусишка их выведет.

На Васютку все ж таки косо запоглядывала:

— Вон ты какой! Еще от земли невысоко поднялся, а какие штуки вытворять придумал!

У Васютки свое горе. Два-то лебеденка стали каждый день драться. Прямо насмерть бьются, и не подходи — сшибут, не заметят. А третий лебеденок в драку никогда не ввязывается, в сторонке ходит.

Кто-то из больших и объяснил Васютке:

— Это, беспременно, лебедка, а те, видно, лебеди. Пока один другого совсем не отгонит, всегда у них драка будет. Как бы насмерть друг дружку не забили!

Баушка, на эту драку глядючи, вовсе взъедаться на Васютку стала, а он и так сам не свой, не придумает, как быть? Кончилось все-таки тем, что один лебеденок с реки не вернулся. Остались двое,— и драки не стало.

Утихомирилось ровно дело, а баушка Ульяна пуще того взъедаться стала. Видит, дело к зиме пошло, она и думает, сколько корму этой птице понадобится, а толку от нее никакого, если колоть нельзя. Ну, баушка и давай лебедей отгонять. С метлой да палками за ними бегает. Лебеди тоже ее невзлюбили: не тот так другой налетит, с ног собьет да еще клювом стукнет.

Тут старуха и говорит сыну решительно:

— Что хочешь, Тимофей, делай, а убирай эту птицу со двора, не то сама уйду,— правься, как знаешь, с хозяйством!

Васютка видит — вовсе плохое дело выходит, приуныл. Дай, думает, хоть заметочку какую-нибудь сделаю: может, когда и увижу своих лебедей. Взял и привязал на крепкой ниточке каждому на шею по бусинке: лебедю — красненькую, лебедушке — синенькую. Те будто тоже разлуку чуют,— так и льнут к Васютке, а он со слезами на глазах ходит. Ватажка — копейщики-то — подсмеиваться даже стала:

— Завял наш вожачок!

Только Васютка вовсе и не стыдится.

— До слез,— говорит,— жалко с лебедями расставаться. Улетят ведь и забудут про меня!

Лебеди ровно понимают этот разговор. Подбегут к Васютке, шеи свои ему под руку подсунут, будто поднять собираются, головами прижимаются да потихоньку и переговариваются.

— Клип-анг, клип-анг!

Дескать, будь спокоен — не забудем, не забудем!

Как вовсе холодно стало да потянулась вольная птица в полуденную сторону, так и эти лебеди улетели. Всю зиму их было не видно, а весной опять в этих местах появились. Только к Тимофею на двор больше не заходили, а где увидят Васютку, тут к нему и подлетят, поласкаются.

Да еще баушку Ульяну подшибли, как она на гору с ведрами шла. Не сильно все ж таки, а так только попугали да водой оплеснули, вроде пошутили. Помним, дескать, васюткину ласку и твою палку не забыли. Такой тебе от нас и ответ!

Дальше так и повелось. Как зима — лебедей не видно, а весной и летом хоть раз да к Васютке подлетят. Потом он сам научился их подманивать. Выйдет на открытое место да крикнет, как они:

— Клип-анг, клип-анг!

Вскорости который-нибудь, а то и оба прилетят, только крылья свистят, будто тревожатся,— не обидел ли кто Васютку. Если близко человек случится, его так с налету шарахнут, что сразу на землю кувыркнется. А к Васютке заковыляют, шеи чуть не по земле вытянут, крыльями взмахивают, шипят да подпрыгивают, как домашние гуси, когда к корму идут,— радуются.

Ну, вот... за летом зима, за зимой лето... Сколько их прошло, не считал, а только из Васютки такой парень выправился, что заглядеться впору. И речист, и плечист, умом и ухваткой взял и лицом не подгадил: бровь широкая, волос мягкий, глаз веселый да пронзительный.

Из тысячи один, а то и реже такой парень выходит, и должность себе хорошую доступил. Парень приметливый да памятливый и новые места поглядеть охотник. Хлебом его не корми, только дай сплавать, где еще не бывал. Вот он и узнал лучше всех речные дороги. Всех стариков, которые при этом деле стояли, обогнал.

Строгановы, понятно, приметили такого парня, кормщиком его поставили и похваливать стали:

— Хоть молодой, а с ним отправить любой груз надежно.

Скоро Тимофеича по всем строгановским пристаням узнали. Удачливее его кормщика не было. Как дорогой груз да дорога мало ведома, так его и наряжают.

И с народом у Василья обхождение лучше нельзя.

Любили парня за это. С ребячьих лет кличка ему ласковая осталась — наш Лебедь.

С женитьбой у Василия заминка вышла. Все его товарищи давно семьями обзавелись, а он в холостых ходил, и отец его не неволил: как сам знаешь. Ну, вот видит Василий — пора, и стал себе лебедушку подсматривать.

Такому парню невесту найти какая хитрость! Любая бы девка из своей ровни за него с радостью пошла, да он, видно, занесся маленько. Тут у него оплошка и случилась.

В Чусовском городке, конечно, начальник был. Воеводой ли — как его звали. А у этого воеводы дочь в самой невестиной поре. Василий и стал на ту деваху заглядываться.

Родня да приятели не раз Василью говаривали:

— Ты бы на эти окошки вовсе не глядел. Не по пути ведь! А то, гляди, еще бока намнут.

Только в таком деле разве сговоришь с кем, коли к сердцу припало. Не зря сказано — полюбится сова, не надо райской пташки. Зубами скрипнет Василий:

— Не ваше дело! — А сам думает:

«Кто мне бока намнет, коли у самого плечо две четверти и кулак полпуда».

Деваха та, воеводина-то дочь, по всему видать, из обманных девок пришлась. Бывает ведь,— лицом цветок, а нутром — головешка черная. Эта деваха хоть ласково на Василья поглядывала, а на уме свое держала. Раз и говорит ему из окошка тихонько, будто сторожится, чтоб другие не услышали:

— Приходи утром пораньше в наш сад. Перемолвиться с тобой надо.

Василий, понятно, обрадовался. На заре, чуть свет, забрался в воеводский сад, а тут его пятеро воеводских слуг давно ждали, и мужики здоровенные наподбор. Сам воевода тут же объявился, распорядок ведет:

— Вяжи холопа! Волоки на расправу!

Тимофеичу что делать? Он развернулся и давай гостинцы сыпать: кому — в ухо, кому — в брюхо. Всех разметал, как котят, а сам через загородку перемахнул. Шум, понятно, вышел. Еще люди набежали, а воевода, знай, кричит:

— Хватай живьем!

Василий видит — туго приходится, к Чусовой кинулся. Ворота городские по ранней поре еще заперты, да ему что! Сорвал с себя пояс, на бегу петлю сделал, захлестнул за стояк да старым обычаем и перекинулся за городской тын. Выбежал на берег, выбрал лодочку полегче да шест покрепче и пошел по Чусовой кверху.

Время, видишь, вешнее. Чусовая в полную силу шумела. На веслах вверх не выгребешь и с шестом умеючи надо, чтоб, значит, все гривки-опупышки на дне хорошо знать. Василий и понадеялся на свою силу да сноровку.

— Ну, кому, дескать, по такой воде меня догнать. Только не так вышло.

Сколь ведь силы ни будь у человека и хоть как он реку ни знай, а не уйти ему против воды от погони, коли там шесту веслами помогают и смена есть. Как на грех, в одном месте промахнулся — ткнул шестом, а не маячит: дна не достает. Лодку и закружило. Пока Василий справлялся, погоня — тут она. На трех лодках человек, может, сорок, а то и больше. Одно Василью осталось — в воду и на берег, а там что будет. Только тоже дело ненадежное: чует, что из сил выбился, да и весной в лесу мудрено прятаться,— потому след сдалека видно.

Воевода на задней лодке на корму взмостился, будто сам правит. Увидел васильеву неустойку — радуется:

— А, попался, холопья душа!

Василий оглянулся, хотел ответным словцом воеводу стегнуть и видит — высоко в небе над рекой два лебедя летят. И от солнышка видно, что на шеях у них как искорки посверкивают.

Обрадовался Василий, куда и усталость ушла, во весь голос закричал по-лебединому:

— Клип-анг, клип-анг!

А лебеди знают свое дело. Сверху-то, видно, все разглядели.

Налетел один на заднюю лодку и так крылом воеводу шибанул, что тот вниз головой в воду бултыхнул. Другой лебедь на передней лодке двух шестовых опрокинул, да и весловых успел погладить: у кого нос в крови, у кого на лбу шишка.

Большая у погони заминка вышла: воеводу из воды добывать пришлось. Мужик сырой да тяжелый, а вешняя вода, известно: легкая да игривая. Любо ей со всякой колодиной побаловаться. Подхватила она воеводу и

давай крутить — вот-вот пузыри пустит. Поймали все-таки, выволокли. Чуть живой с перепугу, зуб на зуб не попадает, а свое не забыл:

— Живьем хватайте! Не уйти ему.

А чего не уйти, коли Василья давно не видно. Лебеди сполоху погоне наделали, сели на воду, подплыли к васильевой лодочке, один справа, другой слева кормы как зажали лодку-то, да и повели так, что лес на берегу бегом побежал. Известно, против лебедя на воде птицы нет. Сдаля поглядеть — будто не шевельнется, а попробуй — поровняйся с ним!

Так и потерялся Василий. Сколько воевода ни гонял людей, даже следа не видали. И то сказать, побаивались воеводские посланцы далеко по реке заходить, а Василий с лебедями всю Чусовую до краю прошел. Все речки-старицы изведал, да и в окружности поглядел. Любопытствовал к этому.

Вот тогда ему, может, первому из наших и довелось сибирской водицы из Тагила-реки испить. Дошел, видишь, до какой-то неведомой речки и по уклону понял, что она на восход солнца пошла. Василия и потянуло,— что там, дальше-то, да лебеди заартачились, крыльями замахали: не выдумывай! Василий их и послушался, не пошел по Тагилу.

Эти лебеди в то лето и гнезда себе не вили, все около Василия старались. Мало что от воеводы ухранили да речные дороги показали, они еще открыли ему все здешнее богатство.

Поднимет лебедь правое крыло, как покажет на горку какую, либо на ложок, поглядит Василий на то место и увидит насквозь: где какая руда лежит, где золото да каменья. Поднимет лебедь левое крыло, и Василию весь лес на берегу на многие версты откроется: где какой зверь живет, какая птица гнездится. Ну, как есть все.

При таких лебедях, понятно, об еде да питье Василью и заботы не было. Подведут лебеди лодочку к какому-нибудь крутику, похлопают крыльями, и откроется в том крутике ходок, как проточка малая. Заведут лебеди лодку в эту проточку, а там как пещера выкопана, и в ней поесть и попить приготовлено.

Все бы ладно, да без людей тоскливо. И то Василью покою не дает — воеводина дочь из мыслей не выходит.

Думает, что она не по своей воле его подвела, а кто-нибудь разговор подслушал. Ну, Василий и жалел эту деваху.

— Теперь, поди, взаперти сидит да слезы льет, моя горюшенька!

Тосковал-тосковал и надумал:

— Жив не буду, а вызволю ее!

Лебеди видят — к дому Василья потянуло, головами покачивают:

— Ни к чему придумал! Ой, ни к чему!

Дорогу все-таки не загораживают:

— Воли, дескать, с тебя не снимаем,— как хочешь!

Когда Василий лодку в домашнюю сторону повернул, лебеди даже пособили ему. В один день лодку с самого верху до Чусовского городка довели. Посчитай, сколько на час придется!

Довели Василья до знакомых ему мест, поласкались маленько, как простились, а сами одно наговаривают:

— Клип-анг, клип-анг!

Вроде наказ дают: когда тебе надо, кричи нам!

Поднялись лебеди, улетели. Остался Василий один. Гребтится ему поскорее в город пробраться. Еле-еле потемок дождался, даром что время к осени и темнеть рано стало.

В городок попасть, чтобы караульные не видели, Василью привычно. Переметнулся через тын, где сподручнее, и пошел по городку. Идет спокойно, ни одна собачонка не гавкает. Недаром, видно, говорится — на смелого и собаки не лают.

Хотел сперва Василий понаведаться к кому-нибудь из старых своих ватажников-приятелей, разузнать про здешние дела, да мимо родного дома как пройдешь. Любопытно Василью хоть через прясло поглядеть. Остановился он, постоял и чует — не так будто стало, не по-старому, а в чем перемена — понять не может.

«Дай,— думает,— погляжу поближе».

Перелез тихонько в ограду, походил в потемках-то — живым вовсе не пахнет. Сунулся к дверям в сенки, там крестовина набита — никто, значит, не живет.

— Что за беда стряслась? Куда все подевались?

Сел Василий на крылечко, задумался. В городке вовсе тихо. Только все ж таки еще копошатся люди. То двери скрипнут, то кашлянет кто, слово какое долетит.

И вот слышит Василий — близенько кто-то не то поет, не то причитает:

Лебедь ты мой Васенька!
Где летаешь ты, где плаваешь?
Поглядеть одним бы глазоньком,
Перемолвиться словечушком!

Поет эдак, собирает разные девичьи жалостливые слова про кручину свою лютую да про злу-разлучницу, как она насмеялася, угнала лебедя милого, загубила его батюшку родимого, милых братцев в беду завела.

Слушает Василий — про него песня сложена, голос густой да ласковый, а кто поет — домекнуть не может. Тут другой голос слышно стало. Вроде как мать заворчала:

— Опять ты за свое! Добры люди спать легли, а ей все угомону нет! Про лебедя своего воет! Возьму вот за косу! Не погляжу, что в сажень вымахала. Бесстыдница!

Тут только Василий понял, кто песню пел. В близком соседстве росла долгоногая да глазастая девчушка-хохотушка, Аленкой звали. Года на четыре, а то и на пять помоложе Василья. Он и считал ее маленькой, а того не приметил, как из нее выровнялась девица — голову отдай, и то мало! Да еще вон какие песни складывает!

Затихли голоса, и песни не стало, а все ж таки Василий чует — не ушла Аленка из ограды, на крылечке сидит.

Василья и потянуло на ласковый девичий голос. Выбрался из своей ограды, подошел к соседней избушке и окликнул потихоньку:

— Аленушка!

Та ровно давно этого ждала, сейчас же отозвалась:

— Что скажешь, Василий Тимофеевич?

Удивился Василий:

— Как ты в потемках меня разглядела?

Она усмехнулась:

— Глаз у меня кошачий. Тебя вижу ночью, как днем, а то и лучше.

Потом без шутки сказала:

— С вечера твоих лебедей углядела и подумала — скоро ты должен в городке объявиться. Вот и сидела, караулила да голос подавала, чтоб упредить тебя.

Тут Алена и рассказала все по порядку.

Баушка Ульяна с весны померла. Воевода хоть лютовал, а семейных у Василья сперва не задевал. Да на беду сам Строганов приехал. Как узнал про побег, так принародно на воеводу медведем заревел:

— Бревно ты еловое, а не воевода! Гоняешь людей бестолку, будто им другого дела найти нельзя. Ты мне так сделай, чтобы утеклец сам повинную принес и чтоб другим неповадно было в бега кинуться! Поленом тут кормить надо, а не калачами.

И сейчас же велел привести Тимофея с сыновьями, под батоги их поставил. Пусть, дескать, другие казнятся, что их семьям будет, ежели кто бежать удумает. Потом велел Тимофея и всю семью, от старого до малого, отправить на самую тяжелую работу — соль в кулях перетаскивать к пристаням, а дом и все добро на себя перевел.

Дознался тоже Строганов, какие люди в карауле стояли, когда Василий ушел, и велел их батожьем бить и на солетаску нарядить с той только разницей, что семейных у этих людей в своих избах оставил.

Как поехать из города, велел Строганов народ собрать и погрозился:

— Кто увидит утеклеца Ваську да не доведет мне, тому это же будет!

Сказывали потом, что Тимофей после батогов-то недолго проработал, а братья живы. Ну, а воеводина дочь вскорости за строгановского приказчика замуж вышла. На свадьбе перед подружками своими, сказывают, похвалялась — вот-де я какая, глазом мигну, так любого парня вокруг пальца оберну! Головы не пожалеет, прибежит по моему зову. Вон по весне позвала в сад кормщика Василья, а сама батюшке сказала, чтоб хорошенько этого холопа проучил. Пусть свое место помнит!

Выслушал все это Василий, да и говорит:

— Спасибо тебе, Аленушка, осветила мне дорогу. Теперь знаю, что делать. Коли Строганов придумал кормить моих поленом, так и от меня ему мягких не будет! А ту змею ногой раздавлю! — Потом вздохнул: — Эх, не знал, не ведал, что моя лебедушка верная через двор живет.

Алена и отвечает:

— Слово скажи — за тобой пойду.

Василий подумал-подумал и говорит:

— Нет, Аленушка, не подходит это. Вижу, вовсе трудная у меня дорога пойдет. Семейно по ней не пройдешь.

— Коли,— отвечает,— так тебе сподручнее, вязать не стану. Иди один!

Василий притуманился:

— Ты, Аленушка, все ж таки подожди меня годок-другой!

Алена так и вскинулась:

— Об этом не говори, Василий Тимофеич! Один ты у меня. Другого лебедя в моих мыслях весь век не будет.

Тут наслезилась она девичьим делом и подает ему узелок.

— Возьми-ко, лебедь мой Васенька! Не погнушайся хлебушком с родной стороны да малым моим гостинчиком. Рубахи тут да поясок браный. Носи — не забывай!

Подивился Василий вещему девичьему сердцу, как она вперед угадала, что придет, сам чуть не прослезился и говорит:

— Не осуди, моя лебедушка, коли худо про меня сказывать будут.

— Худому про тебя,— отвечает,— не поверю. Сам тот худой для меня станет, кто такое о тебе скажет. Ясным ты мне к сердцу припал, ясным на весь век останешься!

На том они и расстались. Ушел Василий, никому больше не показался. Вскорости слух прошел: появились на строгановских землях вольные люди. В одном месте соленосов увели, в другом приказчика убили, его молодую жену из верхнего окошка выбросили, а дом сожгли. Дальше заговорили,— поселились будто эти вольные люди в береговой пещере пониже Белой реки и строгановским караванам проходу не дают. И вожаком будто у этих вольных людей Василий Кормщик.

Строгановы, понятно, забеспокоились. Чуть не целое войско снарядили. Тем людям, видно, трудно пришлось,— они и ушли, а куда — неизвестно. Слуху о них не стало. О Василье в городке и поминать перестали. Одна Аленушка не забыла:

— Где-то лебедь мой летает? Где он плавает?

Сколь отец с матерью ни бились, не пошла Алена замуж. Да и женихов у ней не много было. Она, видишь,

хоть пригожая и на доброй славе была, а сильно рослая. Редкий из парней подходит ей в пару, а она еще подсмеивалась:

— Какой это мне жених! Ненароком сшибешь его локтем,— на весь городок опозоришь.

Так и осталась Алена одна век вековать. Как обыкновенно рукодельницей стала,— ткальей да пряльей. По всему городу лучше ее по этому делу не было. Да еще любила с ребятишками водиться. Всегда около нее много мелочи бегало. Алена умела всякого обласкать. Кого покормит, кого позабавит, кому песню споет, сказку скажет. Любили ее ребята, а матери прозвали Аленушку — Ребячья Радость и, как могли, ей сноровляли.

Годы, конечно, всякого заденут: малому прибавят, у старого из остатков отберут, не пощадят. Отцвела и наша Аленушка. Присекаться волос стал, черную косу белые ниточки перевили, только глаза ровно еще больше да краше стали.

К этой поре старые хозяева Строгановы все перемерли. На их место сыновья заступили. Народу на Чусовой умножилось. Сибирского хана сын с войском нежданно-негаданно на Чусовской городок набежал. Еле отбились горожане. По этому случаю старики про Василия вспоминали:

— Вот бы был наш Тимофеич дома, не то бы было. Спозаранок бы он разведал про незваных гостей и гостинцев бы им припас не столько. Напредки забыли бы дорогу к нашему городу! Дорогой человек по этому делу был. Зря его загубили!

Вскорости после этого слух прошел — к Строгановым поволжские вольные казаки плывут, а ведет их атаман Ермак Тимофеич.

— По всей Волге на большой славе тот человек. Не то что бухарские и других земель купцы его боятся, и царские слуги сторонкой обходят те места, где атаман объявится. И ватага у того атамана наотбор.

У него, видишь, не было той атаманской повадки, чтоб на свою руку побольше хапнуть. Он и других к тому не допускал. По этому правилу и ватагу составил. Чуть кто неустойку окажет, такого сейчас из ватаги долой.

— Нам,— скажет атаман,— с такой слабиной людей не надо. Как тебе ватага поверит, коли ты о себе одном

стараешься. Иди на все стороны да со мной, гляди, напредки не встречайся, а то худой разговор выйдет!

И крепко то атаманское слово было. Не помилует и того, кто надумает поблажку в таком деле дать да и отговаривается,— не доглядел экого пустяка.

— Это,— отвечает атаман,— не пустяк, потому — может раздор в артели сделать. В первую голову всяк за этим гляди, чтоб у нас все шло на артель, в одну казну, в один котел!

За это будто атамана и прозвали Ермаком, как это слово по-татарски, сказывают, котел обозначает на всю артель. А Тимофеичем, видно, по отцу величают, как обыкновенно у нас ведется. И еще сказывали, не любит атаман Ермак, чтоб ватажники себя семьями вязали. Сам одиночкой живет и других к тому склоняет:

— Трудная наша дорога. Не по такой дороге семейно ходить да детей ростить.

Слушает эти разговоры Алена и дивится:

— Его слова! И Тимофеичем величают. Не он ли? Лебедь мой, Васенька?

К осени опять слух донесся:

— К Строгановым на Каму приплыл атаман Ермак с войском. По осенней воде пойдут на стругах вверх по Чусовой сибирского хана воевать. Скоро атаман с казаками в Чусовском городке будет.

Все, понятно, ждут. Как пришла весточка, в какой день будут, весь народ из городка на берег высыпал, и Аленушка туда же прибежала.

Завиднелись струги. Легко против осенней воды на веслах идут. Песни казаки поют. Поближе подходить стали, в народе говорок пошел, как диво какое увидели.

Глядит Алена, а у переднего струга два лебедя плывут и на шеях у них как искорки посверкивают: у одного красненькая, у другого синенькая.

Как стали струги к берегу подваливать, лебеди поднялись с воды, покружились над городком и на восход солнца улетели.

Первым на берег атаман вышел. Годов за полсотни ему. По кучерявой бороде серебряные струйки пробежали, а поглядеть любо. Высок да статен, в плечах широк, бровь густая, глаз веселый да пронзительный.

Одет ровно попросту,— не лучше других казаков. Только сабля в серебре да дорогих каменьях.

Глядит Алена — он ведь! Он самый! — а все признать не насмелится. Да тут и углядела — рубаха-то у атамана пояском ее работы опоясана. Чуть не сомлела Аленушка, все ж таки на ногах устояла и слова не выронила. Стоит белехонька да с атамана глаз не сводит.

А он своим зорким глазом еще со струга Аленушку приметил и по девичьему убору догадался, что незамужницей осталась.

Поздоровался атаман с народом, потом подошел к Аленушке, поклонился ей, рукой до земли, да и говорит:

— Поклон тебе низкий от вольного казацкого атамана Ермака, а как его по-другому звать — сама ведаешь. Не обессудь, моя лебедушка, что в пути запоздnился. Не своей волей по низу до седых волос плавал, когда смолоду охота была против верховой воды плыть. И на том в обиде не будь: не забывал тебя и поясок твой ни в бою, ни в пиру с себя не снимал.

Поговорили они тут. Понял тогда народ, кто есть донской казак атаман Ермак, какого он роду-племени, в каком месте его лебедушка ко гнезду ждала.

Два дня, а то и три простоял Ермак с своим войском в Чусовском городке. Не один раз за те дни с Аленушкой побеседовал. Всю свою жизнь ей рассказал. Как он братьев да друзей своих из неволи вызволил, как с ними строгановские караваны топил, как потом на Дону казачил да по Волге гулял. Ну, все как есть. И про то объяснил, почему на Чусовую пришел.

— Много,— говорит,— в нашу казну богатства добывали, а нет против того, какое мне лебеди по нашей реке в горах показывали.

Вот и надумал тем богатством себе и всей ватаге — головы откупить, а кому не случится голову свою вынести — тому добрую память в людях оставить. Лебеди как подслушали мою думу... Давно их не видал, а тут оба появились и будто манят плыть, куда надумал. Всю дорогу с нами плывут, а где остановка — улетают, и всегда в ту сторону, куда дальше путь идет...

В осенний праздник, в семенов день, собрался атаман дальше плыть. Из Чусовского городка народу в войско прибыло. Ну, и проводы вышли вроде как семейные, потому — с заезжими казаками своих отправляли. На берег многие так семьями и шли,— кто брата, кто сына провожал.

Аленушка рядом с атаманом шла. Она, конечно, годами на другую половину жизни клонилась, а красоту свою не вовсе потеряла. Принарядится праздничным делом, так еще заглядишься.

Атаман тоже для такого случая приоделся. Верховик на шапке малиновый, кафтан цветной парчи, рубаха дорогого шелку, а сабля и протчая орудия — глаза зажмурь. И то углядели люди — новый у атамана поясок. Широкий такой, небывалого узору: по голубой воде белые лебеди плывут. Это, видно, Аленушка опоясала своего лебедя на незнамую дальнюю дорогу.

И вот идут они, как лебедин да лебедушка. Оба высокие да статные, красивые да приветные, как погожий день в осени. Далеко их в народе видно. А кругом ребятишки-мелочь вьются. Это аленушкины прикормленники да приспешники со всего города сбежались. Известно, большому лестно, а малому и подавно охота близко такого атамана поглядеть, рядом по улице пройти.

Как атаман на берег, так лебеди — на воду, сразу кверху поплыли, оглядываются да покрикивают:

— Клип-анг! Клип-анг!

Вроде поторапливают:

— Пора, атаман! Пора, атаман!

Тут атаман простился с народом, с Аленушкой наособицу, сам на струг — и велел отваливать.

Отплыл — и концы в воду.

Сперва добрые вести доходили, как Ермак с войском сибирского хана покорил и все города побрал, как Грозный царь за это всем казакам старые вины простил и подаренье свое царское отправил. И про то сказывали, будто велел Грозный царь сковать атаману для бою кольчатую рубаху серебряную с золотыми орлами. Дивились царевы бронники, как ермаковы посланцы стали про атаманов рост сказывать. Сильно сомневались в том бронники, а все-таки сковали рубаху, как было указано, от вороту до подолу два аршина, а в плечах — аршин с четвертью, и золотых орлов посадили.

Прикинь-ко, какой силы и росту человек был, коли мог эку тягость на себе в бою носить!

Радовалась Аленушка этим вестям. Всем ребятишкам, какие около нее вились, рассказывала — вот, дескать, какой атаман удачливый да смелый.

Года два такими вестями Аленушка тешилась, потом перемена вышла: вовсе не слышно стало о казацком войске, как снегом путь замело. Долго ждала Аленушка, да и дождалась: в осенях приползла в городок черная молва.

— Мало в живых казаков осталось, и сам атаман загиб. Изменой заманили его с малым войском да ночью, как все казаки спали в лодках, и навалились многолюдством. Атаману, видно, надо было с одной лодки на другую перескочить, да опрометился он и попал в воду на глубокое место. В кольчатой-то рубахе царского подарения и не смог выплыть. И лебеди не могли атамана ухранить, потому — ночью дело вышло, а эта птица, известно, ночью не видит.

Выслушала все это Аленушка, слова не выронила и ушла в свою избу, а вскоре ребятишки по всему городу заревели — умерла Аленушка.

Отцы-матери побежали поглядеть. Верно — умерла Аленушка, Ребячья Радость. Лежит на скамейке у окошечка, и руки на смерть сложены, а сарафан и весь убор на ней тот самый, в каком она атамана в поход провожала. Поплакали тут которые, вспоминаючи тот день, пожалели:

— Вот пара была, да гнезда не свила.

От какой причины нежданная смерть Аленушке пришла, так никто и не узнал. На том решили:

— По-лебединому умерла наша Аленушка. У них ведь известно, как ведется: один загиб — другому не жить.

Так вот оно как дело-то было! Приплыл донской казак на родиму сторонку — на реку Чусовую. Это присловье про Ермака и сложено. В прежни-то годы, сказывают, такое часто случалось. Набродно на Дону было,— со всех сторон туда люди сбегались, кому дома невмоготу пришлось. Ну, а этот из Чусовского городка был, Васильем Тимофеичем Алениным звали, а на Дону да по Волге он стал Ермак Тимофеич.

Здешние-то реки он с молодых годов знал. Ему, брат, вожака не надо было! Сам первый вожак по речным дорогам был! И то ни в жизнь бы ему в сибирскую воду проход не найти, кабы лебеди не пособили.

Куда потом эти лебеди улетели — сказать не умею.

По нашим местам эту птицу сильно уважают. Кто ненароком лебедя подшибет, добра себе не жди: беспременно нежданное горе тому человеку случится. А хуже того, коли оплошает охотник из старателей. Такому и совсе свое земельное ремесло бросать надо, потому удачи на золото после того не станет. Что хочешь делай, а даже золотины в ковшике не увидишь. Испытанное дело. Да вот еще штука какая у стариков велась — ставили деревянных лебедей на воротах.

А это в ту честь, что лебеди первые нашему русскому человеку земельное богатство в здешних краях показали. За это им и почет, и Василью Тимофеичу с Аленушкой память. Это — что парой-то!

Вот в чем тут загвоздка.

ЗОЛОТОЙ ВОЛОС

Было это в давних годах. Наших русских в здешних местах тогда и в помине не было. Башкиры тоже не близко жили. Им, видишь, для скота приволье требуется, где еланки да степо́чки. На Нязях там, по Ураиму, а тут где же? Теперь лес — в небо дыра, а в ту пору — и вовсе ни пройти, ни проехать. В лес только те и ходили, кто зверя промышлял.

И был, сказывают, в башкирах охотник один, Айлыпом прозывался. Удалее его не было. Медведя с одной стрелы бил, сохатого за рога схватит да через себя бросит — тут зверю и конец. Про волков и протча говорить не осталось. Ни один не уйдет, лишь бы Айлып его увидел.

Вот раз едет этот Айлып на своем коне по открытому месту и видит — лисичка бежит. Для такого охотника лиса — добыча малая. Ну, все ж таки, думает: «Дай позабавлюсь, плеткой пришибу». Пустил Айлып коня, а лисичку догнать не может. Приловчился стрелу пустить, а лисички — быть-бывало. Ну что? Ушла, так ушла,— ее счастье. Только подумал, а лисичка, вон она за пенечком сидит да еще потявкивает, будто смеется: «Где тебе!»

Приловчился Айлып стрелу пустить — опять не стало лисички. Опустил стрелу — лисичка на глазах да потявкивает: «Где тебе!»

Вошел в задор Айлып: «Погоди, рыжая!»

Еланки кончились, пошел густой-прегустой лес. Только это Айлыпа не остановило. Слез он с коня да за лисичкой пешком, а удачи все нет. Тут она, близко, а стрелу пустить не может. Отступиться тоже неохота. Ну,

как — этакий охотник, а лису забить не сумел! Так-то и зашел Айлып вовсе в неведомое место. И лисички не стало. Искал, искал — нет.

«Дай,— думает,— огляжусь, где хоть я».

Выбрал листвянку повыше, да и залез на самый шатер. Глядит — недалечко от той листвянки речка с горы бежит. Небольшая речка, веселая, с камешками разговаривает и в одном месте так блестит, что глаза не терпят. «Что,— думает,— такое?» Глядит, а за кустом, на белом камешке девица сидит красоты невиданной, неслыханной, косу через плечо перекинула и по воде конец пустила. А коса-то у ней золотая и длиной десять сажен. Речка от той косы так горит, что глаза не терпят.

Загляделся Айлып на девицу, а она подняла голову, да и говорит:

— Здравствуй, Айлып! Давно я от своей нянюшки-лисички про тебя наслышана. Будто ты всех больше да краше, всех сильнее да удачливее. Не возьмешь ли меня замуж?

— А какой,— спрашивает,— за тебя калым платить?

— Какой,— отвечает, — калым, коли мой тятенька всему золоту хозяин. Да и не отдаст он меня добром. Убегом надо, коли смелости да ума хватит.

Айлып рад-радехонек. Соскочил с листвянки, подбежал к тому месту, где девица сидела, да и говорит:

— Коли твое желанье такое, так про меня и слов нет. На руках унесу, никому отбить не дам.

В это время лисичка у самого камня тявкнула, ткнулась носом в землю, поднялась старушонкой сухонькой, да и говорит:

— Эх, Айлып, Айлып, пустые слова говоришь! Силой да удачей похваляешься. А не мог вот в меня стрелу пустить.

— Правда твоя,— отвечает.— В первый раз со мной такая оплошка случилась.

— То-то и есть! А тут дело похитрее будет. Эта девица — полозова дочь, прозывается Золотой Волос. Волосы у нее из чистого золота. Ими она к месту и прикована. Сидит да косу полощет, а весу не убывает. Попытай вот, подыми ее косыньку,— узнаешь, впору ли тебе ее снести.

Айлып — ну, он из людей на отличку — вытащил косу и давай ее на себя наматывать. Намотал сколько-то рядов, да и говорит той девице:

— Теперь, милая моя невестушка Золотой Волос, мы накрепко твоей косой связаны. Никому нас не разлучить!

С этими словами подхватил девицу на руки, да и пошел. Старушонка ему ножницы в руку сует.

— Возьми-ко ты, скороумный, хоть это.

— На что мне? Разве у меня ножа нет?

Так бы и не взял Айлып, да невеста его Золотой Волос говорит:

— Возьми — пригодятся, не тебе, так мне.

Вот пошел Айлып лесом. С листвянки-то он понял маленько, куда правиться. Сперва бойко шел, только и ему тяжело, даром что сила была — с людьми не сравнишь. Невеста видит — Айлып притомился,— и говорит:

— Давай, я сама пойду, а ты косу понесешь. Легче все ж таки будет. Дальше уйдем, а то хватится меня тятенька, живо притянет.

— Как,— спрашивает,— притянет?

— Сила,— отвечает,— ему такая дана: золото какое он пожелает к себе в землю притягивать. Пожелает вот взять мои волосы, и уж тут никому против не устоять.

— Это еще поглядим! — отвечает Айлып, а невеста его Золотой Волос только усмехнулась.

Разговаривают так-то, а сами идут да идут. Золотой Волос еще и поторапливает:

— Подальше бы нам выбраться. Может, тогда тятенькиной силы не хватит.

Шли-шли, невмоготу стало.

— Отдохнем маленько,— говорит Айлып. И только они сели на траву, так их в землю и потянуло. Золотой Волос успела-таки, ухватила ножницы, да и перестригла волосы, какие Айлып на себя намотал. Тем только он и ухранился. Волосы в землю ушли, а он поверх остался. Вдавило все ж таки его, а невесты не стало. Не стало и не стало, будто вовсе не было. Выбился Айлып из ямины и думает: «Это что же? Невесту из рук отняли и неведомо кто! Ведь это стыд моей голове! Никогда тому не бывать! Живой не буду, а найду ее».

И давай он в том месте, где девица та сидела, землю копать. День копает, два копает, а толку мало. Силы,

вишь, у Айлыпа много, а струменту — нож да шапка. Много ли ими сделаешь.

«Надо,— думает,— заметку положить да домой сходить лопату и протча притащить».

Только подумал, а лисичка, которая его в те места завела, тут как тут. Сунулась носом в землю, старушонкой сухонькой поднялась, да и говорит:

— Эх ты, скороум, скороум! Ты золото добывать собрался али что?

— Нет,— отвечает,— невесту свою отыскать хочу.

— Невеста твоя,— говорит,— давным-давно на старом месте сидит, слезы точит да косу в речке мочит. А коса у ней стала двадцать сажен. Теперь и тебе не в силу будет ту косу поднять.

— Как же быть, тетушка? — спросил Айлып.

— Давно бы,— говорит,— так. Сперва спроси да узнай, потом за дело берись. А дело твое будет такое. Ступай ты домой, да и живи так, как до этого жил. Если в три года невесту свою Золотой Волос не забудешь, опять за тобой приду. Один побежишь искать, тогда вовсе ее больше не увидишь.

Не привык Айлып так-то ждать, ему бы схвату да сразу, а ничего не поделаешь — надо. Пригорюнился и пошел домой.

Ох, только и потянулись эти три годочка! Весна придет, и той не рад,— скорее бы она проходила. Люди примечать стали — что-то подеялось с нашим Айлыпом. На себя не походит. Родня, та прямо приступает:

— Ты здоров ли?

Айлып ухватит человек пять подюжее на одну руку, поднимет кверху, покрутит да скажет:

— Еще про здоровье спроси — вон за ту горку всех побросаю.

Свою невесту Золотой Волос из головы не выпускает. Так и сидит она у него перед глазами. Охота хоть сдалека поглядеть на нее, да наказ той старушонки помнит, не смеет.

Только вот когда третий год пошел, увидел Айлып девчонку одну. Молоденькая девчоночка, из себя черновенькая и веселая, вот как птичка-синичка. Все бы ей подскакивать да хвостиком помахивать. Эта девчоночка мысли у Айлыпа и перешибла. Заподумывал он:

«Все, дескать, люди в моих-то годах давным-давно семьями обзавелись, а я нашел невесту, да и ту из рук упустил. Хорошо, что никто об этом не знает: засмеяли бы! Не жениться ли мне на этой черняевенькой? Там-то еще выйдет либо нет, а тут калым заплатил и бери жену. Отец с матерью рады будут ее отдать, да и она, по всему видать, плакать не станет».

Подумает так, потом опять свою невесту Золотой Волос вспомнит, только уж не по-старому. Не столь ее жалко, сколь обидно — из рук вырвали. Нельзя тому попускаться!

Как кончился третий год, увидел Айлып ту лисичку. Стрелу про нее не готовил, а пошел, куда та лисичка повела, только дорогу примечать стал: где лесину затешет, где на камне свою тамгу выбьет, где еще какой знак поставит. Пришли к той же речке. Сидит тут девица, а коса у нее вдвое больше стала. Подошел Айлып, поклонился:

— Здравствуй, невеста моя любезная Золотой Волос!

— Здравствуй,— отвечает,— Айлып! Не кручинься, что коса у меня больше стала. Она много полегчала. Видно, крепко обо мне помнил. Каждый день чуяла — легче да легче стает. Напоследок только заминка вышла. Не забывать ли стал? А то, может, кто другой помешал?

Спрашивает, а сама усмехается, вроде как знает. Айлыпу стыдно сперва сказать-то было, потом решился, начистоту все выложил — на девчонку-де черняевенькую заглядываться стал, жениться подумывал.

Золотой Волос на это и говорит:

— Это хорошо, что ты по совести все сказал. Верю тебе. Пойдем поскорее. Может, удастся нам на этот раз убежать, где тятенькина сила не возьмет.

Вытащил Айлып косу из речки, намотал на себя, взял у няни-лисички ножницы, и пошли они лесом домой. Дорожка-то у Айлыпа меченая. Ходко идут. До ночи шли. Как вовсе темно стало, Айлып и говорит:

— Давай полезем на дерево. Может, сила твоего отца не достанет нас с дерева-то.

— И то правда,— отвечает Золотой Волос.

Ну, а как двоим на дерево залезать, коли они косой-то, как веревкой, связаны. Золотой Волос и говорит:

— Отстригнуть надо. Зря эку тягость на себе таскаем. Хватит если до пят хоть оставить.

Ну, Айлыпу жалко.

— Нет,— говорит,— лучше так сохранить. Волосы-то, вишь, какие мягкие да тонкие! Рукой погладить любо.

Вот размотал с себя Айлып косу. Полезла сперва на дерево Золотой Волос. Ну, женщина — непривычно дело — не может. Айлып ей так-сяк подсобляет — взлепилась-таки до сучков. Айлып за ней живехонько и косу ее всю с земли поднял. По сучкам еще взмостились сколько да в самом том месте, где вовсе густой плетень, останов и сделали.

— Тут и переждем до свету,— говорит Айлып, а сам давай свою невесту косой-то к сучкам припутывать — не свалилась бы, коли задремать случится. Привязал хорошо да еще похвалился:— Ай-яй крепко! Теперь сосни маленько, а я покараулю. Как свет, так и разбужу.

Золотой Волос, и верно, скорехонько уснула, да и сам Айлып заподремывал. Такой, слышь-ко, сон навалился, никак отогнать не может. Глаза протрет, головой повертит, так-сяк поворочается — нет, не может тот сон одолеть. Так вот голову-то и клонит. Птица-филин у самого дерева вьется, беспокойно кричит — фубу! фубу! — ровно упреждает: берегитесь, дескать. Только Айлыпу хоть бы что — спит себе, похрапывает и сон видит, будто подъезжает он к своему кошу, а из коша его жена Золотой Волос навстречу выходит. И всех-то она краше да милее, а коса у ней так золотой змеей и бежит, будто живая.

В самую полночь вдруг сучья затрещали — загорелись. Айлыпа обожгло и на землю сбросило. Видел только, что из земли большое огненное кольцо засверкало и невеста его Золотой Волос стала как облачко из мелких-мелких золотых искорок. Подлетели искорки к тому кольцу и потухли. Подбежал Айлып — ничем-ничего, и потемки опять, хоть глаз выколи. Шарит руками по земле... Ну, трава да камешки, да сор лесной. В одном месте нашарил-таки конец косы. Сажени две, а то и больше. Повеселел маленько Айлып:

«Памятку оставила и знак подала. Можно, видно, добиться, что не возьмет отцова сила ее косу».

Подумал так, а лисичка уж под ногами потявкивает. Сунулась носом в землю, поднялась старушонкой сухонькой, да и говорит:

— Эх ты, Айлып скороумный! Тебе что надо: косу али невесту?

— Мне,— отвечает,— невесту мою надо с золотой косой на двадцать сажен.

— Опоздал,— говорит,— коса-то теперь стала тридцать сажен.

— Это,— отвечает Айлып,— дело второе. Мне бы невесту мою любезную достать.

— Так бы и говорил. Вот тебе мой последний сказ. Ступай домой и жди три года. За тобой больше не приду, сам дорогу ищи. Приходи, смотри, час в час, не раньше и не позже. Покланяйся еще дедку Филину, не прибавит ли тебе ума.

Сказала — и нет ее. Как светло стало, пошел Айлып домой, а сам думает:

«Про какого это она филина сказывала? Мало ли их в лесу. Которому кланяться?»

Думал-думал, да и вспомнил,— как на дереве сидел, так вился один у самого носу и все кричал — фубу! фубу! — будто упреждал: берегись, дескать.

«Беспременно про этого говорила»,— решил Айлып и воротился к тому месту. Просидел до вечера и давай кричать:

— Дедко Филин! Научи уму-разуму! Укажи дорогу.

Кричал-кричал — никто не отозвался. Только Айлып терпеливый стал. Еще день пережидал и опять кричит. И на этот раз никто не отозвался. Айлып третий день пережидал.

Вечером только крикнул:

— Дедко Филин! — А с дерева-то сейчас:

— Фубу! Тут я. Кому надо?

Рассказал Айлып про свою незадачу, просит пособить, коли можно, а Филин и говорит:

— Фубу! Трудно, сынок, трудно!

— Это,— отвечает Айлып,— не горе, что трудно. Сколь силы да терпенья хватит, все положу, только бы мне невесту мою добыть.

— Фубу! Дорогу скажу! Слушай!

И тут Филин рассказал по порядку:

— Полозу в здешних местах большая сила дана. Он тут всему золоту полный хозяин: у кого хочешь отберет. И может Полоз все место, где золото родится, в свое кольцо взять. Три дня на коне скачи, и то из этого кольца не уйдешь. Только есть все ж таки в наших краях одно место, где полозова сила не берет. Ежели со сноровкой, так можно и с золотом от Полоза уйти. Ну, недешево это стоит,— обратного ходу не будет.

Айлып и давай просить:

— Сделай милость, покажи это место.

— Показать-то,— отвечает,— не смогу, потому глазами с тобой разошлись: днем я не вижу, а ночью тебе не углядеть, куда полечу.

— Как же,— спрашивает,— быть?

Дедко Филин тогда и говорит:

— Приметку надежную скажу. Побегай, погляди по озерам и увидишь,— в одном посередке камень тычком стоит вроде горки. С одной стороны сосны есть, а с трех — голым-голо, как стены выложены. Вот это место и есть. Кто с золотом доберется до этого камня, тому ход откроется вниз, под озеро. Тут уж Полозу не взять.

Айлып перевел все это в голове,— и смекнул,— на озеро Иткуль приходится. Обрадовался, кричит:

— Знаю это место.

Филин свое толмит:

— А ты побегай, все-таки, погляди, чтоб оплошки не случилось.

— Ладно,— говорит,— погляжу.

А Филин напоследок еще добавил:

— Фубу! Про то не забудь: от Полоза уйдешь, обратного ходу не будет.

Поблагодарил Айлып дедку Филина и пошел домой. Вскорости нашел он то озеро с камнем в середине и сразу смекнул: «В день до этого места не добежать, беспременно надо конскую дорогу наладить».

Вот и принялся Айлып дорогу прорубать. Легкое ли дело одному-то да по густому лесу на сотню верст с лишком! Когда и вовсе из сил выбьется. Вытащит тогда косу — конец-то ему достался,— посмотрит, полюбуется, рукой погладит и ровно силы наберет да опять за работу. Так у него три-то года незаметно и промелькнули, только-только успел все сготовить.

Час в час пришел Айлып за своей невестой. Вытащил ее косу из речки, намотал на себя, и побежали они бегом по лесу. Добежали до прорубленной дорожки, а там шесть лошадей приготовлено. Сел Айлып на коня, невесту свою посадил на другого, четверку на повода взял, да и припустили, сколько конской силы хватило. Притомится пара — на другую пересядут да опять гнать. а лисичка впереди. Так и стелет, так и стелет, коней задорит — не догнать-де. К вечеру успели-таки до озера добраться. Айлып сразу на челночек, да и перевез невесту свою с лисичкой к озерному камню. Только подплыли — в камне ход открылся; они туда, а в это время как раз и солнышко закатилось.

Ох, что только тут, сказывают, было! Что только было!

Как солнышко село, Полоз все то озеро в три ряда огненными кольцами опоясал. По воде-то во все стороны золотые искры так и побежали. Дочь свою все ж таки вытащить не мог. Филин Полозу вредил. Сел на озерный камень, да и заладил одно:

— Фубу! фубу! фубу!

Прокричит этак три раза, огненные кольца и потускнеют маленько,— вроде остывать станут. А как разгорятся снова да золотые искры шибко по воде побегут, Филин опять закричит.

Не одну ночь Полоз тут старался. Ну, не мог. Сила не взяла.

С той поры на заплесках озера золото и появилось. Где речек старых и следа нет, а золото есть. И все, слышь-ко, чешуйкой да ниточкой, а жужелкой либо крупным самородком вовсе нет. Откуда ему тут, золоту, быть? Вот и сказывают, что из золотой косы полозовой дочки натянуло. И много ведь золота. Потом, уж на моих памятях, сколько за эти заплески ссоры было у башкир с каслинскими заводчиками.

А тот Айлып со своей женой Золотой Волос так под озером и остался. Луга у них там, табуны конские, овечьи. Однем словом, приволье.

Выходит, сказывают, Золотой Волос на камень. Видали люди. На заре будто выйдет и сидит, а коса у ней золотой змеей по камню вьется. Красота будто! Ох, и красота!

Ну, я не видал. Не случалось. Лгать не стану.

ДОРОГОЕ ИМЯЧКО

Это еще в те годы было, когда тут стары люди жили. На том, значит, пласту, где поддерново золото теперь находят.

Золота этого... кразелитов... меди... полно было. Бери сколько хочешь. Ну, только стары люди к этому не свычны были. На что им? Кразелитами хоть ребятишки играли, а в золоте никто и вовсе толку не знал. Крупинки желтеньки да песок, а куда их? Самородок фунтов несколько, а то и полпуда лежит, примерно, на тропке, и никто его не подберет. А кому помешал, так тот его сопнет в сторону — только и заботы. А то еще такая, слышь-ко, мода была. Собираются на охоту и наберут с собой этих самородков. Они, видишь, маленькие, а увесистые. В руках держать ловко и бьют емко. Присадит таким, так большого зверя собьет. Очень просто. Оттого нынче и находят самородки в таких местах, где бы вовсе ровно золоту быть не должно. А это стары люди разбросали, где пришлось.

Медь самородну, ту добывали маленько. Топоры, слышь-ко, из нее делали, орудию разную. Ложки-поварешки, всякую домашность тоже.

Гумешки-то нам от старых людей достались. Только, конечно, шахты никакой не били, сверху брали, не как в нонешнее время.

Зверя добывали, птицу-рыбу ловили, тем и питались. Пчелы дикой множина была. Меду — сколько добудешь. А хлеба и званья не было. Скотину: лошадей, напримерно, коров, овцу — не водили. Понятия такого у них не было.

Были они не русськи и не татара, а какой веры-обычая и как прозывались, про то никто не знает. По лесам жили. Однем словом, стары люди.

Домишек у них либо обзаведенья какого — банешек там, погребушек — ничего такого и в заводе не было. В горах жили. В Думной горе пещера есть. С реки ход-от был. Теперь его не видно,— соком завалили. Поди, сажен уж на десять. А самоглавная пещера в Азов-горе была. Огромаднейшая — под всюё гору шла. Теперь ход-от есть, только обвалился будто маленько. Ну, там дело тайное. Об этом и сказ будет.

Вот живут себе стары люди, никого не задевают, себя сильно не оказывают. Только стали по этим местам другие народы проявляться. Сперва татара мимо заездили: по подгорью от Думной горы к Азов-горе тропу протоптали. С полдня на полночь, как из оружья стрелено. Теперь этой тропы не знатко, а старики от дедов своих слыхали, будто ране-то видно было. Широкая, слышь-ко, тропа была, чисто трахт какой, без канав только.

Ну, ездят и ездят татара. В одну сторону одни товары везут,— в другу — други, а насчет золота ничего. Видно, сами не толкуют, либо случая такого не подошло. Стары люди сперва прихоронились. Потом видят,— никто их не задеват—стали жить потихоньку. Птицу-рыбу полавливают, золотыми камнями зверя глушат, медными топорами добивают.

Вдруг татара что-то сильно закопошились. Целыми утугами на полночь пошли, и все с копьями, с саблями, как на войну. Мало спустя обратно побежали. Гонят, свету не видят. А это Ермак с казаками на Сибирь пришел и всех тамошних татар побил. Которые пособлять своим приходили, и тех до смерти перепугал. Как дело тогда внове было — из оружья стрелять, татара этой стрельбы и забоялись.

Казаки, слышь-ко, ране вольные были, и на Сибирь они уж проданные пришли. Купцам продалися, а царь их вовсе задарил. Набольшему — Ермаку-то — свою серебряную рубаху царь послал. Так Ермак той рубахи с себя не сымал. Гордился, значит. Так и утоп в ей — в царском-то подаренье.

Как умер Ермак, тут баловство и развелось. Ну, мало ли худых людишек к казакам налипло. Они и давай хозяевать, как кому любо. Возьмут, кого им надо, за

горло. Подавай того-другого. Баб хватают, девчонок, вовсе подлетков и протча. Однем словом, баловство развели хуже некуда.

Одна такая ватажка и объявилась в здешних местах. Небольшая ватажка,— пеши пришли; а вожак, видать, грабастенькой попался. Эти сразу золото сметили. Хватовщина пошла, чуть до смертоубойства не дошло. Потом образумились, видят — золота много, с собой не унесешь. Что делать? Туда-сюда зачали соваться, нет ли где жила близко, лошадей добыть. И набежали так-то на старых людей. Сейчас спрашивать, конечно:

— Что за народ? Какой веры-племени? Какому царю ясак даешь?

Стали так-то наступать на старых людей. Те им свое маячат,— дескать, ваша нам не нужна, наша вам не мешает, проходите мимо. Казачишки опять на испуг берут. Из оружья пальнули. Стары люди испужались, в гору побежали. Казачишки за ими, думают так и есть — победили, а не тут-то было. Стары люди смелые были. Это они сперва только испужались. Думали, огонь, напримерно, с неба. Ну, потом отошли. И здоровые были. Добежали, значит, до пещеры своей, да как начали казачишек золотыми камнями пушить, знай, держись. Чуть не всех заколотили, казаков-то. Двое либо трое все ж таки убежали. А стары люди и гнаться за ими не думали. Утурили — и ладно. Пущай-де идут, куда им надо. Лишь бы к нам больше не лезли. Подивились на убитых, что у них нахватано у каждого желтых камешков через число, как только тащили экую тягость, а того не смекнули, на что им эти камни. По-своему думали, что тоже для бою набрали. Осмотрели оружья убитых, а одно было заряжено. Вот один из старых людей вертел, вертел оружье-то, копался, копался, оно и пальнуло. Сполоху наделало, самого маленько ушибло, а никого не убило. Тут стары люди и домекнули, что это не с неба огонь. Стали доходить, как бы еще пальнуть. Оснимали мертвых, все перещупали, осмотрели, обнюхали. Порох нашли, свинец рубленый, а что к чему, так и не добрались.

А те трое-то, которые убежали, вышли-таки к своим. Обсказали своему начальнику — напали, дескать, на нас незнамые люди и чуть не всех побили; трое вот только и выбежали.

Начальник,— может, он пьяный был,— «ладно»,— говорит. Время, конечно, военное — Сибирь-покоренье-то. Мало ли всяких случаев было. Побили и побили. На том дело и заглохло. А про золото те не сказали. Думают, так и есть — погулям, потешимся. Только золото, оно и золото. Хоть веско, а само кверху лезет. Его, видишь, первым делом разменять требуется. Тут они оха и поймали. Хватали самородки покрупнее, а как с таким объявишься? Сейчас спросы-расспросы, где взял... Догадались все-таки. Раскрошили самородки на мелочь, да и понесли купцам продавать. А уж таиться стали один от другого. Известно, золото. Один к одному купцу пришел, другой к этому же и третий тоже. Да так всех купцов и обошли. Купцы, конечно,— с полным нашим удовольствием. Деньги, значит, дают, а сами примечают. Денег наменяли — куда их? Оделись перво-наперво, как только кто удумал, и занялись пьянством да гулянкой. Из кабака, напримерно, не выходят и кого доходя поят. Ну, другим казакам и стало подозрительно,— откуда у людей такие деньги? Стали дознаваться, а у пьяных долго ли... Выведали все до тонкости и тоже ватажку сбивать стали: за золотом, значит, сходить.

Не все, конечно, казаки одинаковы были. Один,— не знаю, как его звать-величать,— из Соликамска к ним пристал. Пошел за хорошей жизней, а видит, тут грабеж да пьянство, и отшатился от казаков.

Услышал, что опять собираются грабить, и стал их совестить:

— Как, дескать, вам не стыдно. Раньше купцов да бояр оглаживали, а теперь что? У здешнего народу с кровью рвать да купцам барыш давать? Так, что ли?

Тем, конечно, не по носу табак, а как все оборуженные, то сейчас у них свалка пошла, с саблями и другой орудией. Ну, соликамской-от этот парень проворный был, удалой. Ото всех отбился, только сильно его изранили. Он в лес и убрался, чтобы его не нашли. Леса страшные были — где найдешь! Побегали-побегали казачишки, пошумели и разошлись, а тот, раненый-то, думает, как дальше быть? Показаться в жиле — наверняка убьют, а то и под палача подведут — за разговор-от. Вот и придумал:

— Пойду к тем людям, которых грабить собираются. Упрежу их.

Дорогу он понял, куда то есть идти собирались. Путь все ж таки не ближняя, а запасу у него, например, никакого. Отощал в дороге, да еще и раны донимают. Еле идет. Полежит-полежит и опять плетется. У самой Азов-горы — вот у того места — совсем свалился.

Увидали стары люди — чужестранный человек лежит, весь кровью измазанный, и оружье с им. А бабы набежали первые-то. Баба, известно, у всякого народа жалостливее и за ранеными ходить любит. Тут еще девка случилась, ихнего старшины дочь. Смелая такая, расторопная, хоть штаны на такую надевай. И красивая — страсть. Глаза, как угольки, щеки, как розан расцвел, коса до пяток и вся протча в полном аккурате. Лучше нельзя. Плясать первая мастерица, а ежели песню заведет с переливами, ну... Однем словом, любота. Одно плохо,— сильно большая была. Прямо сказать, великанша. И как раз девка на выданье. Восемнадцатый год доходил. Самая, значит, пора. Ну, ей и приглянулся, видно, пришлый-то. А он тоже, по-нашему, мужик рослый был. Из себя чистый, волосом кудрявый, глаза открытые. Ей и любопытно стало. Пока другие бабы охали да ахали, эта девка сгребла раненого в охапку, притащила в пещеру и давай за им ходить — водой там смачивать, раны перевязывать. Отец, мать ничего, будто так и надо. Соседи тоже помалкивают и помогают, подают то — другое. Бабам, вишь, жалко, а у мужиков свое на уме. не научит ли, как огонь пущать.

Раненый мало-помалу оклемался. Видит, какие-то вовсе незнамые люди. Рослые против наших и по-татарски бельмень. Сам-то он марковал маленько по-татарски. На то и надеялся, когда шел в эти места. Ну, делать нечего, стал маяками дознаваться, как и что они прозывают. Учиться, значит, стал по-ихнему. А девка от его не отходит, прямо прилипла. И он тоже человек молодой, к ей тянется. Поправа, однако, плохо идет. Главная причина — хлебушка у их не было. Притащит это ему девка пищи самолучшей. Рыбы, мяса наставит, меду чашку вскрай полнехоньку, а его с души воротит. Ему бы хоть яшничка ломоток. Просит у ей, а она не понимает, какой есть хлеб. Заплачет даже. Это она-то. Известно, русському человеку без хлебушка невозможно. Какая уж

тут поправа. Ну, все ж таки ходить стал и к разговору мало-мало обык, а девка обратно от его русський разговор переняла, да так скоро, что просто удивленье. Такая уж удачливая была и, видать, непростая. Тайная сила в ей, видно, гнездовала.

Стал это он — соликамской-от — ходить. Оглядел всю местность, показал, как с оружьем поступать, и весь установ объяснил, что и как.

— Эти,— говорит,— камни желтые, крупа, песок и зелененькие стеклышки — это есть вредное для вас. Купцы раз унюхали, они уж спокою не дадут. А до царя дойдет — и вовсе житья не станет. Вы,— говорит,— вот что сделайте. Камни эти, самородки-то, значит, куда с глаз уберите. Хоть вон в Азов-гору стаскайте. И кразелиты туда же сгребите. А крупу и песок зарыть надо. Снизу черной земли выворотить, чтобы травой заросло. А пока все это не угоите, никаких чужестранных близко не подпускайте... Чтобы нечаянно не пришли, поставьте,— говорит,— на Думной горе и на Азов-горе караулы надежные. Пущай досматривают по дороге, не идет ли кто, а как заметят чужестранного, пущай знак подают — костерок запалят...

Девка все это растолмачила своим. Они видят, человек для их старается — послушались. Караулы поставили, как он сказал, а сами занялись самородное золото да кразелиты подбирать да в Азов-гору стаскивать. Штабеля наворотили — глядеть страшно, и кразелитов насыпали, как угольну кучу. Потом оставшую крупу и песок зарыли, а чужих на то время близко не подпускали. Увидят с Азов-горы либо с Думной, кто идет, едет ли,— сейчас знак подадут, огнем, значит. Все и бегут, в которую сторону надо. Навалятся и в одночасье прикончат. Прикончат и в землю зароют. Оружьев они уж тогда не боялись.

Только ведь золото-то человеку, как мухе патока. Сколь ни гинут, а пуще лезут. Так и тут. Много людей сгинуло, а другие идут да идут. Это, значит, слушок про золото дальше да дальше идет. Кто-то, видно, до царя дотолкал. Тут вовсе худо стало — с пушками полезли. Со всех сторон напирают. Даром, что лес страшенный, нашли пути-дороги.

Видят стары люди — дело неминучее, сила не берет. Пошли к раненому-то посоветоваться, как дальше быть-

поступать. А он на то время на Думной горе был. Для воздуху его девка-то туда притащила, как он вовсе слабый стал. Азов-гора, она сроду в лесу, а на Думной-то на камнях ветерком обдувает. Девка и таскала его. Отходить его все охота было.

Думали они тут целых три дня. Оттого и гора Думной зовется. Раньше по-другому как-то у ей имя было. Обмозговали все по порядку и придумали переселиться на новые места, где золота совсем нет, а зверя, птицы и рыбы вдосталь. Он же надоумил — соликамской-от — и рассказал, в котору сторону податься. На этом дело решили и в путь-дорогу сряжаться стали. Хотели стары люди этого своего радельца с собой унести, да он не пожелал.

— Смерть,— говорит,— чую близкую, да и нельзя мне.— Почему нельзя, этого не сказал. А девка объявила:

— Никуда не пойду.

Мать, сестры в рев, отец пригрожать стал, братья уговаривают:

— Что ты, что ты, сестра! Вся жизнь у тебя впереди.

Ну, она на своем стоит:

— Такая моя судьба-доля. Никуда от своего милого не отойду.

Сказала, как отрезала. Кремень-девка. По всем статьям вышла. Родные видят — ничего не поделаешь. Простились с ней честно-благородно, а сами думают — все равно она порченая. У которой ведь девушки жених умирает, так та хуже вдовы. На всю жизнь у ей это горе останется.

Вот ушли все, а эти вдвоем в Азов-горе остались. Людишки уж со всех сторон набились в те места. Лопатами роют, друг дружку бьют.

Раненый-от вовсе ослаб. Вот и говорит своей нареченной:

— Прощай, милая моя невестушка! Не судьба, знать, нам пожить, помиловаться, деток взростить.

Она, конечно, всплакнула женским делом и всяко его уговаривает:

— Не беспокой себя, любезный друг. Выхожу тебя, поживем сколь-нибудь.

А он опять ей:

— Нет уж, моя хорошая, не жилец я на этом свете. Теперь и хлебушком меня не поправить. Свой час чую. Да и не пара мы с тобой. Ты вон какая выросла, а я супротив тебя ровно малолеток какой. По нашему закону-обычаю так-то не годится, чтобы жена мужа, как ребенка, на руках таскала. Подождать, видно, тебе причтется — и не малое время подождать, когда в пару тебе в нашей земле мужики вырастут.

Она это совестит его:

— Что ты, что ты! Про такое и думать не моги. Да чтоб я, окроме тебя...

А он опять свое:

— Не в обиду,— говорит,— тебе, моя милая невестушка, речь веду, а так оно быть должно. Открылось мне это, когда я поглядел, как вы тут по золоту без купцов ходите. Будет и в нашей стороне такое времячко, когда ни купцов, ни царя даже званья не останется. Вот тогда и в нашей стороне люди большие да здоровые расти станут. Один такой подойдет к Азов-горе и громко так скажет твое дорогое имячко. И тогда зарой меня в землю и смело и весело иди к нему. Это и будет твой суженый. Пущай тогда все золото берут, если оно тем людям на что-нибудь сгодится. А пока прощай, моя ласковая.— Вздохнул в остатный раз и умер, как уснул. И в туё ж минуту Азов-гора замкнулась.

Он, видать, неспроста это говорил. Мудреный человек был, не иначе, с тайной силой знался. Соликамскито, они дошлые на эти дела.

Так с той поры в нутро Азов-горы никто попасть и не может. Ход-от в пещеру и теперь знатко, только он будто осыпался. Пойдет кто, осыпь зашумит, и страшно станет. Так впусте гора и стоит. Лесом заросла. Кто не знает, так и не подумает, что там, в нутре-то.

А там, слышь-ко, пещера огромадная. И все хорошо облажено. Пол, напримерно, гладкий-прегладкий, из самого лучшего мрамору, а посредине ключ, и вода, как слеза. А кругом золотые штабеля понаторканы как вот на площади дрова, и тут же, не мене угольной кучи, кразелитов насыпано.

И как-то устроено, что светло в пещере. И лежит в той пещере умерший человек, а рядом девица неописанной красоты сидит и неутихаючи плачет, а совсем не

старится. Как был ей восемнадцатый годок в доходе, так и остался.

Охотников в ту пещеру пробраться много было. Всяко старались. Штольни били — не вышло толку. Даже диомит, слышь-ко, не берет. Хотели обманом богатство добыть. Придут это к горе, да и кричат слова разные, как почуднее. Думают, не угадаю ли, дескать, дорогое имячко, которое само пещеру откроет. Известно, дураки. Сами потом как без ума станут. Болбочут, а что — разобрать нельзя. Имена, слышь-ко, все выдумывают.

Нет, видно, крепкое заклятие на то дело положено. Пока час не придет, не откроется Азов-гора.

Одинова только знак был. Это когда еще батюшка Омельян Иваныч объявился и рабочие на Думной горе собираться стали. Так вот старики наши сказывали, будто на то время из Азов-горы как песня слышалась. Ровно мать с ребенком играет и веселую байку поет.

С той поры не было. Все стонет да плачет. Когда крепость сымали, нарочно многие ходили к Азов-горе послушать, как там. Нет, все стонет. Еще ровно жалобнее.

Оно и верно. Денежка похуже барской плетки народ гонит. И чем дальше, тем ровно больше силу берет. Наши вон отцы-деды в мои годы по печкам сидели, а я на Думной горе караул держу. Потому каждому до самой смерти пить-есть охота.

Да, не дождаться мне, вижу, когда Азов-гора откроется... Не дождаться! Хоть бы песенку повеселее оттуда услышать довелось.

Ваше дело другое. Вы молоденькие. Может, вам и посчастливит — доживете до той поры.

Отнимут, поди-ка, люди у золота его силу. Помяни мое слово, отнимут! Соликамской-от с умом говорил.

Кто вот из вас доживет, тот и увидит клад Азов-горы. Узнает и дорогое имячко, коим богатства открываются.

— Так-то... Не простой это сказ. Шевелить надо умишком-то,— что к чему.

ПРИМЕЧАНИЯ

В первый том настоящего издания сочинений П. П. Бажова вошли сказы, написанные и опубликованные автором в основном в предвоенные годы и частично во время Великой Отечественной войны. Сюда относятся циклы сказов: о Хозяйке Медной горы и чудесных мастерах; старательские — о Полозе — хранителе золота, его дочерях Змеевках, о «первых добытчиках»; легенды о старом Урале.

Второй том содержит сказы, опубликованные П. Бажовым в конце войны и в послевоенные годы. Написаны они в более строгой реалистической манере. Тематически повествование в этих сказах доходит до наших дней.

В третий том входят очерковые и автобиографические произведения писателя.

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

Книга первая

МЕДНОЙ ГОРЫ ХОЗЯЙКА

Впервые — журн. «Красная новь», 1936, № 11, вместе с другими — «Про Великого Полоза», «Дорогое имячко» и «Приказчиковы подошвы»; затем в сб. «Дореволюционный фольклор на Урале», Свердловск, 1936.

Эти сказы наиболее близки к уральскому горнорабочему фольклору. Географически они связаны со старинным Сысертским горнозаводским округом, «в состав которого,— указывал П. Бажов,— входили пять заводов: Сысертский или Сысерть — главный завод округа, Полевской (он же Полевая или Полева́) — самый старый завод округа, Северский (Северна), Верхний (Верх-Сысертский), Ильинский (Нижне-Сысертский)... Вблизи Полевского завода бы-

ло и знаменитейшее медное месторождение крепостной поры Урала — рудник Гумёшки, иначе Медная гора, или просто Гора. С этими Гумёшками, которые в течение столетия были жуткой подземной каторгой не одного поколения рабочих, связана большая часть сказов Полевского района» (П. Бажов. Предисловие к сказам, печатавшимся в журнале «Октябрь», №№ 5—6, 1939, стр. 158).

Образ Хозяйки Медной горы, или Малахитницы, в горнорабочем фольклоре имеет различные варианты: Горная матка, Каменная девка, Золотая баба, девка Азовка, Горный дух, Горный старец, Горный хозяин (см. П. П. Ермаков. Воспоминания горнорабочего. Свердлгиз, 1947; Л. Потапов. Культ гор на Алтае. Журнал «Советская этнография» № 2, 1946, и др.). Все эти фольклорные персонажи являются хранителями богатств горных недр. Образ Малахитницы у П. Бажова значительно сложнее. Писатель воплотил в ней красоту самой природы, вдохновляющую человека на творческие искания.

Сказ «Медной горы Хозяйка» положил начало целой группе произведений П. Бажова, объединяемых образом Малахитницы. В эту группу, кроме указанного сказа, входят еще девять произведений, в том числе «Приказчиковы подошвы» (1936), «Сочневы камешки» (1937), «Малахитовая шкатулка» (1938), «Каменный цветок» (1938), «Горный мастер» (1939), «Две ящерки» (1939), «Хрупкая веточка» (1940), «Травяная западенка» (1940) «Таюткино зеркальце» (1941).

Образ Малахитницы из сказов П. Бажова широко вошел в советское искусство. Он воссоздан в живописи и в скульптуре, в росписи зданий: Дома пионеров в г. Серове, Дворца молодежи и спорта, построенного в Свердловске в 1974 г. Сказы Бажова вдохновили художников-палешан: в большом белокаменном Дворце пионеров г. Свердловска есть разрисованная ими комната бажовских сказов.

В 1953 г. по проекту архитектора К. Топуридзе в Москве на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке на площади Колхозов был сооружен фонтан «Каменный цветок». Его бассейн окаймлен красным гранитом. Сам фонтан сделан из самоцветов, представляет собой сказочный каменный цветок, из которого бьет множество водяных струй.

В 1970 г. Министерством связи СССР была выпущена почтовая марка к открытию Всемирной выставки «ЭКСПО-70» в японском городе Осака. В центре почтовой миниатюры художник Николай Шевцов поместил изображение героя уральских сказов Бажова Данилы-мастера.

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА

Впервые — газ. «На смену», Свердловск, 1938, с 18 сентября по 14 ноября, и в альманахе «Уральский современник», кн. 1-я, за тот же год.

Первоначально сказ назывался «Тятино подаренье», при подготовке к печати автор заменил это название другим — «Малахитовая шкатулка». Замена оказалась удачной, название стало общим для всей книги сказов, отмеченной в 1943 г. Государственной премией второй степени. В передовой статье газеты «Правда» (20 марта 1943 г.) говорится: «Народу нашему полюбился старый уральский сказочник П. Бажов. Его «Малахитовая шкатулка» содержит в себе самоцветы народной поэзии».

Книга «Малахитовая шкатулка» неоднократно переиздавалась в нашей стране и за рубежом.

Сказ «Малахитовая шкатулка» был несколько раз инсценирован (еще с участием самого автора) и неоднократно ставился на сцене детских театров.

В Москве, в Ростокине, одна из улиц столицы получила весной 1967 г. название «Малахитовая»; неподалеку от нее находится улица имени Павла Бажова, автора «Малахитовой шкатулки».

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК

Впервые — «Литературная газета», 1938, 10 мая, и в «Уральском современнике», 1938, кн. 1.

К этому сказу примыкают два других: «Горный мастер», повествующий о невесте главного героя первого сказа — Катерине, и «Хрупкая веточка» — о сыне Катерины и Данилы-камнереза. П. Бажов задумывал и четвертый сказ, завершающий историю семьи камнерезов. Писатель говорил: «Собираюсь закончить сказ о «Каменном цветке». Мне хочется показать в нем преемников его героя, Данилы, написать об их замечательном мастерстве, устремлении в будущее. Действие сказа думаю довести до наших дней» («Вечерняя Москва», 31 января 1948 г. Беседа П. Бажова с корреспондентом газеты). Замысел этот остался неосуществленным.

Сказ был экранизирован в 1946 г. В основу сценария П. Бажовым положены сюжеты двух сказов — «Каменный цветок» и «Горный мастер». Сценарий написан в соавторстве с И. Келлером. Ставил фильм известный советский режиссер-сказочник А. Птушко. Фильм имел успех и на родине и за границей.

Сказы П. Бажова неизменно вдохновляли советских композиторов, пробуждая их творческий интерес причудливой сказочностью и философской глубиной. Свердловский композитор А. Фридлендер еще до войны начинает работу над балетом «Ка-

менный цветок» («Уральский рабочий», 15 июня 1941 г.). Премьера состоялась 5 августа 1944 г. на сцене Свердловского театра оперы и балета имени А. Луначарского.

Композитором К. Молчановым была написана опера «Каменный цветок», которая была поставлена в 1950 г. на сцене Московского театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Выдающимся событием музыкальной жизни страны явилось осуществление Сергеем Прокофьевым замысла балета «Сказ о каменном цветке», над которым композитор работал до конца своей жизни.

Премьера балета состоялась в 1954 г. на сцене Большого театра Союза ССР («Правда», 2 июня 1954 г.): постановщики Ю. Файер и Л. Лавровский. Ближе к замыслу композитора оказалась вторая постановка балета, осуществленная Ю. Григоровичем, стремившимся выявить глубоко философскую новаторскую сторону бажовских сказов. Теперь балет назывался «Каменный цветок». 22 апреля 1957 г. состоялась его премьера на сцене театра имени С. М. Кирова в Ленинграде, а затем, в 1959 г., в Большом театре в Москве.

ГОРНЫЙ МАСТЕР

Впервые — газ. «На смену», 1939, №№ 7—10, 12—13; журн. «Октябрь», 1939, №№ 5—6, а также в первом издании книги «Малахитовая шкатулка», Свердловск, 1939.

ХРУПКАЯ ВЕТОЧКА

Впервые — газ. «Уральский рабочий», 1940, 22 сентября, и в журн. «Смена», № 9 за тот же год.

ЖЕЛЕЗКОВЫ ПОКРЫШКИ

Впервые — литературно-художественный сб. «Говорит Урал», Свердлгиз, 1942.

Сборник посвящен героическому советскому тылу, советским людям, превратившим Урал «в становой хребет обороны отечества». Символически звучит концовка опубликованного в сборнике сказа П. Бажова: «Не беспокойтесь — рабочие руки все могут! Кое в порошок сомнут, кое по крупинкам соберут да мяконько прогладят — вот и выйдет цельный камень небывалой радости. Всему миру на диво. И на поученье — тоже».

ДВЕ ЯЩЕРКИ

Впервые — журн. «Октябрь», 1939, №№ 5—6, а также в первом издании книги «Малахитовая шкатулка».

ПРИКАЗЧИКОВЫ ПОДОШВЫ

Впервые — журн. «Красная новь», 1936, № 11.

Сказ «Приказчиковы подошвы» по своему характеру принадлежит к группе вольнолюбивых «тайных сказов», звавших к борьбе с жестокими притеснителями рабочих — рудничным начальством и заводовладельцами.

Вошел составной частью в балет С. Прокофьева «Каменный цветок». Деятели искусства отмечали органичность этого соединения для драматического развития сюжета.

К сказу «Приказчиковы подошвы» тематически примыкают еще «Сочневы камешки», «Травяная западенка», «Таюткино зеркальце».

СОЧНЕВЫ КАМЕШКИ

Впервые — «Литературный альманах», 1937, № 3, Свердловск.

ТРАВЯНАЯ ЗАПАДЕНКА

Впервые — журн. «Индустрия социализма», 1940, № 1. Работа над сказом была завершена 15 октября 1939 г.

ТАЮТКИНО ЗЕРКАЛЬЦЕ

Впервые — газ. «Уральский рабочий», 1941, 30 марта. Работа над сказом была завершена 15 октября того же года.

П. Бажов неоднократно подчеркивал необходимость кропотливой и тщательной работы над языком сказов: «Вот в сказе «Таюткино зеркальце» надо сказать было о надежной крепи. Старый технический словарь и другие словари подсказывают «крепь». Хорошее народное слово. Но это первое слово. Надо искать. Сколько русских слов перебрал! И нашлось — «переклад», надежная крепь — «крепить двойным перекладом». Это сразу почувствуется. С удовольствием поставил — «укрепить двойным перекладом». Горжусь: нашел. Эту простоту, естественность языка, очень трудно найти» (из архива П. Бажова).

КОШАЧЬИ УШИ

Впервые — журн. «Индустрия социализма», 1939, № 2, и журн. «Октябрь», №№ 5—6 за тот же год.

В сказе дан фантастический образ «земляной кошки». Бажов так объяснял его происхождение: «Образ земляной кошки возник в горняцких сказах, опять-таки в связи с природными явлениями. Сернистый огонек появляется там, где выходит сернистый газ. Он походит на болотный огонек. Но тот стоит свечкой, прямой, тон-

кий. А сернистый огонек имеет широкое основание и потому напоминает ушко» (опубликовано в книге Л. Скорино «Павел Петрович Бажов», изд. «Советский писатель», 1947, стр. 62).

ПРО ВЕЛИКОГО ПОЛОЗА

Впервые — журн. «Красная новь», 1936, № 11; сб. «Дореволюционный фольклор на Урале», Свердловск, 1936. Открывает цикл старательских сказов, таких, как «Змеиный след» (1939), «Огневушка-Поскакушка» (1940), «Жабреев ходок» (1942), «Золотые дайки» (1945) и «Голубая змейка» (1945). В этих сказах действуют новые фантастические персонажи: хозяин золота — Великий Полоз, его дочери Змеевки. Огневушка, которая указывает на «верховое золото», и т. д. С помощью этих сказочных образов уральские горняки поясняли загадочные явления природы: «Например, потерялась золотоносная жила — это значит, что Полоз (огромный змей — хозяин всего золота в земле) отвел эту жилу в другое место... Золото внутри такого плотного камня, как кварц, объяснялось тем, что здесь прошла полозова дочь — Змеевка, и т. д.» (П. Бажов. Предисловие к сказам, опубликованным в журнале «Октябрь» №№ 5—6, 1939, стр. 159).

Образ реального героя сказов так же изменяется в старательском цикле: здесь это уже не рудокоп или мастер-камнерез, а золотоискатель, «первый добытчик».

ЗМЕИНЫЙ СЛЕД

Впервые — журн. «Октябрь», 1939, №№ 5—6, а также в первом издании книги «Малахитовая шкатулка».

Работа над сказом была завершена 15 февраля 1938 г. «Змеиный след» является продолжением сказа «Про Великого Полоза», рисует дальнейшее развитие судеб его героев — двух братьев-золотоискателей. Бажов подчеркивает характер семейного предания, присущий горняцкому сказу.

ЖАБРЕЕВ ХОДОК

Впервые — сб. сказов П. Бажова «Ключ-камень», Свердлгиз, 1942.

Работа над сказом была завершена 10 апреля 1941 г.

ЗОЛОТЫЕ ДАЙКИ

Впервые — журн. «Новый мир», 1945, № 8; «Уральский рабочий», 7 октября того же года.

Об этом сказе П. Бажов упоминает в письме к Л. Скорино от 18 сентября 1945 г.: «Могу назвать очень немного вещей, которые были написаны за последнее время: «Круговой фонарь» (пе-

чатался в «Уральском рабочем» и «Краснофлотце»), «Алмазная спичка» («Уральский рабочий» и «Вечерняя Москва»), «Орлиное перо» («Уральский рабочий» и «Октябрь»), «Голубая змейка» и «Золотые дайки» (еще не появились в печати). Последний сказ предполагался началом специального цикла (о Березовском золотом руднике), но думаю, едва ли выйдет: не сумел найти времени, чтобы посидеть в Березовске месяц-два».

Замысел создания цикла сказов о Березовском золотом руднике остался неосуществленным.

ОГНЕВУШКА-ПОСКАКУШКА

Впервые — газ. «Всходы коммуны», 1940, №№ 17—19, Свердловск; литературно-художественный сб. для детей «Морозко», Свердлгиз, 1940.

Работа над сказом была завершена 14 сентября 1939 г. Это произведение принадлежит к группе сказов «детского тона». На это указывал сам П. Бажов: «детского тона» «Серебряное копытце», «Голубая змейка», а «взрослого тона» — «Каменный цветок», кроме того, исторические сказы — «Марков камень» (архив П. Бажова).

Сказ этот вошел составной частью в балет С. Прокофьева «Каменный цветок», был положен и в основу танцевальной картины «Огневушка», созданной по народным мотивам. «Огневушка» исполнялась хореографическим коллективом учащихся учебных заведений трудовых резервов г. Свердловска («Советская культура», 26 марта 1955 г.).

ГОЛУБАЯ ЗМЕЙКА

Впервые — журн. «Мурзилка», 1945, №№ 9—10 и в том же году в виде книжки-малышки в Свердловском областном издательстве.

КЛЮЧ ЗЕМЛИ

Впервые — газ. «Уральский рабочий», 1940, 1 января. Первоначальное название сказа — «Ключ-камень» — изменено писателем на «Ключ земли».

В 1946 г., когда писатель был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР от Красноуфимского избирательного округа, сказ читался на собрании избирателей в деревне Крылово.

СИНЮШКИН КОЛОДЕЦ

Впервые — «Московский альманах», 1939. Работа над сказом была завершена 10 ноября 1938 г. Принадлежит к сказам о «пер-

ных добытчиках», о тех, кто умеет «видеть нутро земли». Об открытиях месторождений самоцветов говорится и в сказах «Ключ земли» (1940), «Серебряное копытце» (1938).

В произведениях этого типа поэтически закреплялись указания опытных горщиков, предполагавших наличие богатых залежей в тех или иных местностях. Так, в одном из горняцких преданий Хозяйка горы приводит горщика на забытый Красногорский рудник и говорит, что после Гумешек это «самое дорогое место». П. Бажов писал: «Это мне казалось несообразностью. Гумешки — богатейшее по разнообразию минералов месторождение — знает весь минералогический мир, а о Красногорском руднике в научной литературе ничего не сказано... Потом уже узнал, что в Красногорском руднике началась разработка золотой жилы. Значит, сказания горняков, несмотря на то, что они часто бывали основаны на приметах случайных, имеют под собою реальную почву» (П. Бажов, статья «Собирание уральского рабочего фольклора», газ. «Звезда», Пермь, 18 июня 1943 г.).

Сказ «Синюшкин колодец» послужил основой для различных постановок кукольных театров. Спектакль Московского кукольного театра (1947 г.) носил название — «Сказы старого Урала» и включал, кроме «Синюшкиного колодца», сказ «Золотой волос».

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ

Впервые — альманах «Уральский современник», 1938, № 2.

П. Бажовым в соавторстве с Евг. Пермяком написана пьеса «Серебряное копытце» для детей младшего возраста. Опубликована она в журн. «Затейник», 1947, № 6.

ЕРМАКОВЫ ЛЕБЕДИ

Впервые — журн. «Техника смене», 1940, №№ 9—11, Свердловск.

В воспоминаниях уральского писателя К. Боголюбова имеется свидетельство о том, что П. Бажов многие годы собирал материалы о подвигах прославленных русских землепроходцев. «Глубокое изучение Урала нашло отражение и в сказах «Малахитовой шкатулки»,— пишет К. Боголюбов и указывает, что Павел Петрович всегда «отстаивал версию об уральском происхождении Ермака» (К. Боголюбов. Наш Бажов, воспоминания. Альманах «Южный Урал» № 5, 1951, стр. 58). На тему этого сказа Евг. Пермяком написана пьеса «Ермаковы лебеди», опубликованная Свердловским областным издательством в 1942 г.

ЗОЛОТОЙ ВОЛОС

Впервые — детский альманах «Золотые зерна», 1939, Свердловск.

Один из немногих сказов «Малахитовой шкатулки», основанный на башкирском фольклоре. П. Бажов всегда интересовался национальным народным творчеством — башкирским, татарским, киргизским и т. д. Однако как взыскательный художник он не разрешал себе пользоваться этими материалами без тщательного изучения реальной жизни, быта народа. «Думаю, что без бытовой детали не выйдет живого ни в реальности, ни в фантастике,— писал П. Бажов.— У меня, например, есть кой-какие запасы по башкирскому фольклору, но я их не пускаю в дело именно потому, что чувствую себя слабым в отношении бытовых деталей для этого рода запасов» (см. письмо П. Бажова от 18 сентября 1945 г. в книге Л. Скорино «Павел Петрович Бажов», М., «Советский писатель», 1947, стр. 63).

ДОРОГОЕ ИМЯЧКО

Впервые — сб. «Дореволюционный фольклор на Урале», Свердлгиз, 1936, затем в «Литературном альманахе», Свердлгиз, 1936, и в журн. «Красная новь», 1936, № 11.

«Дорогое имячко» — один из первых сказов, созданных писателем. Принадлежит к группе сказов-легенд. В эту группу входят также «Золотой волос» и «Ермаковы лебеди».

В 1949 г. композитор А. Муравлев по мотивам этого сказа завершил симфоническую поэму «Азов-гора».

Л. Скорино

СОДЕРЖАНИЕ

Павел Петрович БАЖОВ

Сочинения
в трех томах

Том I

Оформление художника
Р. Р. Вейлерта

Технический редактор
В. Н. Веселовская

ИБ 1233

Сдано в набор 16.07.85. Подписано к печати 26.09.85.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 19,01. Уч.-изд. л. 18,43. Усл. кр.-отт. 21,58.
Тираж 750 000 экз. Изд. № 61. Заказ № 1121.
Цена 1 р. 70 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина издательства
ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

Индекс 70684

